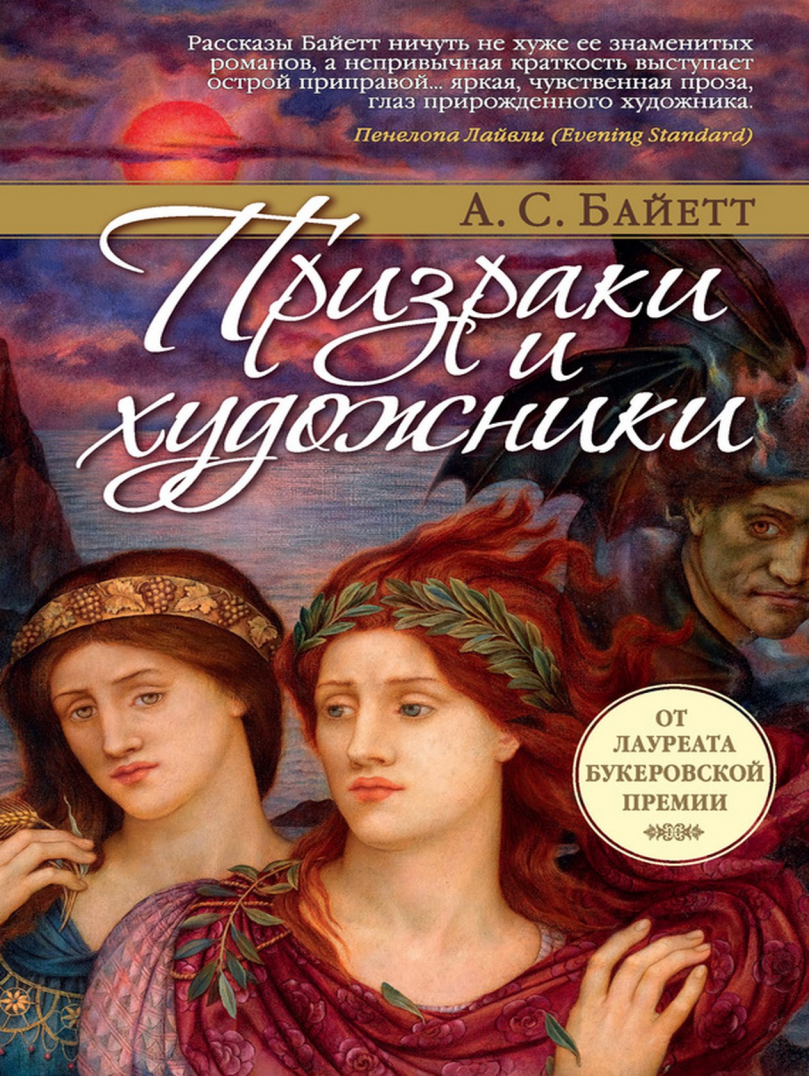
Рассказы Байетт ничуть не хуже ее знаменитых романов, а непривычная краткость выступает острой приправой... яркая, чувственная проза, глаз прирожденного художника.

Пенелопа Лайвли (Evening Standard)

А. С. Байетт

Призраки и художники



ОТ ЛАУРЕАТА БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

Призраки и художники [сборник]

Антония Сьюзен Байетт

Аннотация
Антония Байетт. Призраки и художники (сборник)
Сахарное дело и другие рассказы
  Расин и вышитая скатерть
  Розовые чашки
  Июльский призрак
  Ближняя комната
  Сушеная ведьма
  Потеряла лицо
  В день смерти Э. М. Форстера
  Подменыш
  Разлито в воздухе
  «В оправе пропасти…»
    I
    II
    III
    IV
  Сахарное дело
Истории с Матиссом
  Щиколотки Медузы
  Художники

Китайский омар

Аннотация

От автора удостоенного Букеровской премии романа «Обладать», а также «Детской книги» и «Ангелов и насекомых» — второй том полного собрания короткой прозы, своего рода продолжение «Чудес и фантазий», два авторских сборника под одной обложкой. В этих рассказах — «при всей своей кажущейся простоте удивительно многослойных и даже аллегоричных» (Vogue) — «дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия» (Marie Claire). В «Призраках и художниках» кавалерственная дама ордена Британской империи исследует хрупкие связи между поколениями, бездонную пропасть утраты и те ухищрения, на которые мы готовы пойти, чтобы с этой утратой совладать…

Впервые на русском!

Антония Байетт
Призраки и художники (сборник)

A. S. Byatt
SUGAR AND OTHER STORIES
Copyright © A. S. Byatt 1987
THE MATISSE STORIES
Copyright © A. S. Byatt 1993

© С. В. Бранд, перевод, 2017
© Д. М. Бузаджи, перевод, 2017
© О. А. Варшавер, перевод, 2017
© И. В. Зубанова, перевод, 2017
© О. Н. Исаева, перевод, 2017
© М. А. Межуев, перевод, 2017
© О. В. Петрова, перевод, 2017
© А. Д. Псурцева, перевод, 2017
© Д. В. Псурцев, перевод, 2017
© М. И. Талачёва, перевод, 2017
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Антония Байетт — английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файф-о-клок.

TimeOut

Каждый рассказ у Байетт подобен миниатюрному роману, всякий раз она словно создаст мир заново.

Scotland on Sunday

Эти истории — продукт яркого, характерно безудержного воображения. Стиль Байетт узнается сразу.

Literary Review

Плохо знакомым с творчеством Байетт вполне можно порекомендовать начинать знакомство с этих рассказов — при всей своей кажущейся простоте удивительно многослойных и даже аллегоричных…

Vogue

Выдающиеся истории, смелые и энергичные.

Sunday Times

Пропустить рассказы Байетт было бы преступлением.

Financial Times

Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.

Scotsman

Чтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь ее в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя ее не читать — она открывает иные горизонты… Я пишу ради языка, и еще — ради сюжета.

А. С. Байетт

Сахарное дело и другие рассказы

Посвящается Майклу Уортону

Расин и вышитая скатерть[1]

Когда же ей стало ясно, что Марта Крайтон-Уокер — ее антагонист? Эмили нашла это слово для нее гораздо позже, уже когда стала взрослой. Как может ребенок, маленький и робкий, осознавать, что кто-то другой ему именно антагонист? Представить себе злую мачеху или завистливую сестру она еще могла, но антагонист, то есть кто-то, кто противостоит тебе в принципе, отрицает самую твою суть? Нет, она была слишком мала и еще не имела продуманных убеждений. А ведь именно мисс Крайтон-Уокер была призвана вылепить пока бесформенную личность юной Эмили Брей. Можно даже предположить, что мысли, которые зарождались в голове Эмили Брей, внушались ей Мартой Крайтон-Уокер, и отчасти это было именно так; и от этого признать ее антагонистом оказывалось особенно трудно, во всяком случае для Эмили, а возможно, и для них обеих.

---

[1] Примечания: 1
Перевод И. Зубановой

* * *

В первый раз Эмили пригляделась к мисс Крайтон-Уокер, когда только попала в эту школу, в первый же вечер. Мисс Крайтон-Уокер собрала весь класс в своей личной гостиной, у очага, при свете огня в камине и керосиновых ламп. Эмили была единственная новенькая: она пришла в школу в середине года, по семейным обстоятельствам (болезнь родственника). Девочкам в классе было по тринадцать лет. Девочек было двадцать восемь, а вместе с Эмили двадцать девять, только Эмили не сразу поняла, почему это важно. Этот вечер у камина мисс Крайтон-Уокер устроила из-за смерти одной из девочек. Та училась в этом классе до прошлого семестра, а потом у нее случился гнойный аппендицит, и она умерла от перитонита во время операции. Умершую девочку звали Джен, но все называли ее Ходжи. «Слышали про Ходжи?» — говорили девочки, подбегая друг к другу поделиться новостью, и в голосе у них звучал одновременно и страх, и какая-то радость, непоколебимая уверенность в собственном бессмертии. Эмили не повезло: она чувствовала, будто она пришла на замену Ходжи, хотя это было совсем не так.

Мисс Крайтон-Уокер раздала всем девочкам по кружке бледного какао и по булочке с сахарной глазурью и велела усесться на ковре вокруг себя. Она тихо заговорила об их общей подруге Ходжи, о том, что они все должны запомнить ее такой, какая та была: полная жизни, готовая поделиться всем с друзьями, веселая. Она понимает: они все потрясены этой потерей, но если когда-нибудь потом им захочется делиться с ней своими тревогами или сожалениями, то она охотно их выслушает. Странное слово «сожаления», кажется, подумала Эмили. Хотя она, пожалуй, уже была согласна с заведомой уверенностью мисс Марты Крайтон-Уокер, что у девочек непременно обнаружатся сожаления. Тринадцатилетние девочки добротой не отличаются, а когда их много, они бывают и жестокими. Так что, какой бы веселостью и жизнерадостностью ни отличалась покойная Ходжи, без сожалений не обойдется.

Мисс Крайтон-Уокер решила рассказать девочкам сказку. Получилась такая мирная сцена: рассказчица в кругу юных лиц, обращенных на нее или опущенных к полу. Эмили Брей сидела и разглядывала мисс Крайтон-Уокер. Безупречно доброжелательная, безгрудая. Туго закрученные серебристые локоны, больше всего похожие

на парик адвоката, обрамляют приятное лицо; кожа на лице мягкая, но нигде не обвисшая; выражение неизменно ласковое. Глаза большие и голубые-голубые, уголки губ не опущенные, а совершенно прямые и ровные. К ним сбегаются тонкие морщинки, но без бороздок или вмятин, а легко и почти незаметно, как наброшенная сеточка для волос. Одета в тот вечер мисс Крайтон-Уокер была в свое обычное платье из гладкой тонкой шерсти с длинными узкими рукавами, с кокеткой в мелкую складочку и круглым отложным белым воротничком, заколотым простой овальной серебряной брошкой. Лицом и фигурой она была неуловимо похожа на девушку — не кокетливую, не насупленную, не грациозную, а просто девушку — и одновременно на опрятную старушку.

Сказка была аллегорическая. Про личинку ручейника, которая обитала на дне пруда и старательно собирала материал для постройки своего нехитрого домика-трубочки: камешки, веточки, травинки — что попало, лишь бы прикрыть свое мягкое безобразное личиночье тельце. Движения ее были нескладные и мучительные, мир вокруг — темный и промозглый. И вот однажды она почувствовала непреодолимое желание

вылезти из воды наружу. С болью и усилием длинная, мягкая, бесформенная личинка выкарабкалась из ненужного уже домика и, трепеща и колыхаясь, поползла вверх по высокому стеблю камыша. Когда она выползла на свет и воздух, ее кожица высохла и затвердела, а потом вдруг лопнула — это было очень больно! — и оттуда вылезло существо, рожденное для света и полета, с радужными крылышками и молниеносными движениями.

Мисс Крайтон-Уокер явно наслаждалась своей сказкой, построенной на контрастах. Эмили Брей никак не могла понять — она вообще была в этом смысле непонятливая, это было ее недостатком, — что думают и чувствуют другие девочки. Сама она потом всегда, если думала об умершей Ходжи, воображала ее бесформенной личинкой. Слушая сказку, Эмили представляла себе других девочек маленькими, хотя на самом деле это она была среди них самая маленькая, хилая и худая как спичка. Девочки сидели на полу в пижамах и халатиках, умытые на ночь и мешковатые. Потом, в дортуаре, они будут возбужденно переговариваться, делиться своими мнениями и чувствами, тыкать друг в друга пальцами, упрямо закидывать головы. А здесь они казались притих-

шими и кроткими. «Мы с вами провели вместе такой уютный вечер, — сказала мисс Крайтон-Уокер. — Это очень хорошо». Эмили Брей поняла, что в комнате среди девочек двое — посторонние. Одна — она сама, не разделяющая настроение остальных. Другая — мисс Крайтон-Уокер, которая так хочет, чтобы их всех объединило это событие.

* * *

По средам и воскресеньям все ученицы школы ходили пешком в центр города на службу в соборе. По средам служба была только для них и для мальчиков из такой же мужской школы: причастие и заутреня. По воскресеньям они становились частью — немалой частью — прихожан на общей службе. Идти до центра города, по его узким улочкам, надо было по особым правилам: хоть и не строем, как обычно ходят организованные группы школьников, но непременно строго по двое, и никак не больше. Когда-то, давным-давно, три легкомысленные девочки так веселились, да, наверное, и толкались, что сбили с ног старушку около аптеки. Старушка упала и поломала свои хрупкие косточки, а девочек отчитали в полиции. Вот и было сделано разумное

распоряжение: идти по городу парами. Поэтому каждой девочке было очень важно иметь пару для походов в город, то есть иметь подругу. В этом возрасте девочки выбирают подруг легко и просто — по крайней мере, так казалось Эмили, у которой не было подруги со времени учебы в начальной школе, то есть с тех пор, как проявились ее нежелательные особенности. Но из-за этих походов в город дружба обросла церемониями и ритуалами; все сразу видели, кто с кем дружит и кто с кем раздружился. Эмили вскоре поняла, что в классе есть и «болото»: девочки, у которых нет постоянных пар, — они сходятся по две как попало, не держатся друг за дружку, а, наоборот, поглядывают вполглаза, не подвернется ли вариант получше, если вдруг кто-то с кем-то расстанется. Сначала Эмили думала, что ее место будет среди таких. Она не питала иллюзий, что ее будут любить в классе, и хотела всего лишь существовать тихо и незаметно, но подозревала, что остаться незаметной ей не дадут. Когда объявят результаты годовых экзаменов, всем станет всё про нее ясно. А пока что до нее дошло, какой смысл таится в числе девочек в классе: двадцать девять. Как ни подбирай пары, всегда останется одна лишняя, самая последняя, та, которую все

отвергли, как проигравшая в игре, где надо успеть занять стул, когда перестает играть музыка. И этой лишней всегда будет Эмили Брей.

* * *

Казалось бы, взрослые, мудрые наставницы должны были сами понять, что получится, если девочек двадцать девять, — или Эмили могла бы им об этом сказать, напомнить, если уж они сами не понимают. Но как вам наверняка известно, в закрытой школе какие-то вещи объяснить очень трудно, и поэтому неудивительно, что Эмили ни разу не удалось оправдаться, когда ее время от времени отчитывали за то, что она идет с кем-то третьей. (Ходить по улице в одиночку было настолько серьезным нарушением правил, что об этом и подумать было нельзя.) Среды и воскресенья стали для Эмили самыми страшными днями. Каждый раз во вторник и в субботу ей приходилось мучительно пересиливать себя и с показным безразличием проситься к кому-то в пару.

А когда стали приходить с проверки результаты годовых контрольных работ, то, как и опасалась Эмили, дела пошли еще хуже. Раз за разом с возмутительной легкостью Эмили Брей получала самые высокие баллы из всех в классе,

и не по отдельным предметам, а почти по всем, за исключением математики и домоводства. То есть за письменную работу по домоводству она тоже получила высший балл, но практическое рукоделие ее подвело. Оказалось, она просто жутко умная. При этом физически неразвитая, совсем неспортивная. И с ней бесполезно разговаривать про мальчиков, или про то, у кого какая *schwärmerei*,[2] или про умопомрачительные туфли, или про интриги в клубе верховой езды. Другие девочки смотрели на нее и видели счеты с костяшками, заключенными в тесную рамку: чик-чик, костяшки налево — костяшки направо, задачку решила, правило запомнила, урок выучила, сочинение написала. Так, по крайней мере, представляла мнение о себе одноклассниц сама Эмили. Она с самого начала понимала, что любить ее не будут, и ее и правда невзлюбили. Не то чтобы не любили всех умных. Например, была в классе такая Флора Марш: спокойно-красивая, высокая, стройная, спортивная, приятная, скромная. Она мечтала выйти замуж, родить шестерых детей и жить в провинции. У Флоры была своя лошадь и была подруга Кэтрин для

[2] Примечания: 2
Страсть, обожание *(нем.)*.

походов в церковь, они дружили с пятилетнего возраста. Почерк у Флоры был ровный и круглый, завитки ложились на бумагу щедрой синей лентой с аккуратными пробелами. А Эмили Брей писала, скорчившись над листом бумаги и тыча в него перышком ручки. То есть все слова написаны без ошибок, но как-то грязно, с кляксами и помарками, строчки кривые и смазанные, буквы неровные, бесформенные. Когда Эмили заканчивала второй год учебы в этой школе, мисс Крайтон-Уокер выступила перед ними с небольшой речью, посвященной их контрольным. «Я взяла себе за правило, — сказала она перед всем классом, — прочитывать контрольные работы той ученицы, которая получит самый высокий балл. В этом году, как вы все знаете, это Эмили Брей, но я возвращаю их непрочитанными из-за невыносимого злобного почерка». И вообще, такие контрольные, грязные и неопрятные, — это просто позор. Впрочем, если Эмили перепишет всё начисто, то она с удовольствием их прочтет.

Этот свой приговор мисс Крайтон-Уокер, как и всегда, произнесла с легкой улыбкой — улыбкой не презрительной и не извиняющейся, но довольной и даже восхищенной. Чем она восхищалась: тем, как точно выразилась? Чем была

довольна: тем, как умно вонзила ядовитый шип? По недостатку жизненного опыта Эмили этим вопросом не задавалась, но улыбку запомнила точно, запомнила крепко, чтобы когда-нибудь потом, когда станет старше и сильнее, припомнить ее мисс Крайтон-Уокер. Маленькая Эмили еще не знала, что взрослая Эмили внесет эту улыбку в общий счет при подведении окончательных итогов; тем более не знала она, какая цена будет назначена за эту улыбку. Сейчас ей казалось, что она может просто не согласиться с этим приговором. Ну и что, что контрольная с помарками? В школе, может, и думают, что грязь в тетради — это важно, а она, Эмили, так не считает. Она выбрала такую же защиту, как коралловый полип актиния, который прячет свои щупальца, выставляя наружу только мышечную стенку и туго захлопнутое отверстие. Но нужно признать (сменив метафору), что приговор этот тяжелым камнем упал на самое дно ее души да так там и остался.

Эмили отметила про себя это слово: «злобный», точно так же, как она раньше отметила слово «сожаления». Она вспомнила, как писала эти торопливые, неряшливые страницы: сочинение о том, почему медлит Гамлет, и разбор образа

Эммы Вудхаус у Джейн Остин. Она писала с удовольствием. Она писала для придуманного ею идеального Читателя. И прекрасно понимала: что-то ей удается, а что-то нет, об одном она судит слишком поверхностно, а другое, наоборот, вдруг понимает глубоко и ясно. Если бы она позволила себе задуматься хотя бы на десять минут, она бы поняла, что никакого такого Читателя вовсе нет — есть только учительница литературы мисс Харвей, а за мисс Харвей стоит мисс Крайтон-Уокер. Но она не позволяла себе задуматься об этом и на десять минут. Если настоящий Читатель не существует, его нужно выдумать — и она его выдумала. И именно «его»: может быть, она представляла его себе не слишком отчетливо, но не сомневалась, что это «он». В женском заведении, где справедливость и правосудие воплощались в фигуре мисс Крайтон-Уокер, доброжелательным и беспристрастным можно было вообразить себе только мужчину. Эмили никак не связывала своего Читателя с теми богами, которым они ходили молиться в собор по воскресеньям. Бог-Судия, Бог-Друг и летучий Бог-Дух водили знакомство с мисс Крайтон-Уокер, и поклоняться им полагалось, пытаясь довести себя до экстаза во время вечерней молитвы в школе, при помощи музыки, и

резного камня, и величавых слов, и чувствительных вздохов хора. Эмили не могла взять в толк, почему нужно верить именно в этот миф, а не в Аполлона, или в Одина, или в Будду, или в Митру. Почему считается, что именно такая вера приближает к истине? Она не осознавала, что у нее уже есть вера: вера в Читателя. Становясь старше, Эмили представляла его все отчетливее, все точнее понимала его свойства. Он обладал умом сухим и ясным, был всеведущ, но без ненужной беспредельности. Он знал свое место и не пытался заполонить собой все пространство. У него не было лица, обнимающих рук или бьющегося сердца; его природа была не Любовь, но Понимание. Когда он являлся ей, среди чернильных капель, в запахе мела и испачканных пальцев, он приносил с собой воздух дальних стран, дыхание разогретого солнцем песка, возбуждающее и чистое, жаркое, но не обжигающее. Можно с полным правом сказать, что Эмили сумела пережить бесконечные годы своего пребывания в этом месте только потому, что ей удалось сохранить веру в своего Читателя.

Начисто переписывать свои экзаменационные работы для мисс Крайтон-Уокер Эмили не стала. Вряд ли от нее этого и ждали, решила она: все,

что мисс Крайтон-Уокер хотела сказать по поводу этих работ, уже сказано. Может быть, в этом Эмили была несправедлива по отношению к мисс Крайтон-Уокер, хотя, скорее всего, она рассудила правильно. В конце концов, мисс Крайтон-Уокер заботили вопросы морали, а не «Гамлет» или «Эмма».

Эмили было пятнадцать, когда она придумала, что делать с еженедельными походами в церковь. В городе сохранились многие черты Средневековья, в том числе длинные отрезки городской стены, которая когда-то окружала его кольцом. Стена была из медово-желтого камня; по верху, между двумя рядами зубцов, лежала просторная дорожка, по которой могли бы рядом идти двое. Со стены можно было разглядывать дворик, примыкающий к собору, и кривые узкие улочки старого города, а с другой стороны было видно, как вдали город, закончившись, переходит в простирающуюся до горизонта долину. Эмили обнаружила, что если при выходе из церкви сразу повернуть назад, за угол, а потом нырнуть под стрельчатую арку прохода и подняться по ступенькам, то можно быстрым шагом пройти почти все расстояние до школы по стене, обогнав вереницу девочек, идущих парами по улицам,

и спуститься на землю только в самом конце, а там пробежать переулком оставшиеся несколько сотен метров до ворот школьного сада, окруженного своей отдельной стеной с чем-то вроде колючей проволоки сверху. Тот, кому не приходилось годами жить в закрытом учреждении, не может даже представить, как отчаянно нуждается в уединении человек, если он постоянно, день и ночь, находится на людях, если есть, мыться, учиться, спать, даже ходить в туалет (много ли прикрывают тонкие перегородки на металлических стойках?) приходится в присутствии других. Кто-то заметил, что женщины переживают тюремное заключение с себе подобными тяжелее, потому что они по природе своей существа не коллективные. Вот об этом и думала Эмили в короткие желанные минуты одиночества, украдкой пробираясь по высокой городской стене между школой и церковью. Но она почему-то полагала, что побыть одной хочется только ей, а другие — те другие, от давящего присутствия которых она стремилась укрыться, — такой потребности не испытывают. Только много позже она поняла, что наверняка и они хотели того же, что у каждой из девочек тоже были свои собственные заботы, свои секреты, свои желания, о которых

невозможно сказать вслух. Вообще, Эмили о многом успела передумать, торопливо пробегая по стене: о французской грамматике и об Евклиде, о том, что где-то далеко и отдельно от нее на свете живут мужчины, о том, зачем живет на свете она сама.

Постепенно она осмелела и стала пользоваться своим тайным маршрутом постоянно. Где-то на половине пути из трещины стены пробивался куст вербы, — видимо, ветер когда-то занес туда семечко и оно проросло. Эмили навещала вербу каждую неделю: сначала на ветках были тугие красноватые чешуйки, потом они лопнули и из-под них появились серебристо-серые шелковые почки, похожие на блестящий влажный мех, а еще неделю спустя распустились сережки, растопырившиеся, но мягкие, присыпанные ярко-желтым в голубизне. Однажды Эмили стояла и разглядывала эти живые фонарики, как вдруг перед ней возникла мисс Крайтон-Уокер, а рядом с нею еще одна фигура, такая же суровая и непреклонная. Видимо, они обе поднялись по одной из боковых лестниц, которые начинались у подножия стены, где полоса травы сейчас пестрела нарциссами и крокусами. Эмили запомнилось, что они не просто подошли, но выросли как из-

под земли. На мисс Крайтон-Уокер было серое драповое пальто с темно-серым каракулевым воротником, отливающим металлическим блеском, и высокая шапка в таких же серебристых каракулевых завитках. Пальто двубортное, с двумя рядами пуговиц на груди, перчатки серые лайковые, высокие, туго зашнурованные ботинки на устойчивых низких каблуках. Мисс Крайтон-Уокер постояла секунду неподвижно, глядя на Эмили и ее цветущую вербу. Вернее, как точно запомнила Эмили, они обе молча стояли, уставившись друг на друга. Потом мисс Крайтон-Уокер подняла руку и указала своей спутнице на что-то поверх стены, возможно на какое-то особенно интересное облако (кто была ее спутница, Эмили совершенно не запомнила), и обе женщины прошли мимо нее, по-прежнему не проронив ни звука. Эмили даже подумала, что ей все это почудилось, и, торопясь вернуться в школу, она спрашивала себя: может, ничего и не было?

* * *

Но оно, конечно, было. В конце дня, на вечерней молитве, мисс Крайтон-Уокер объявила перед всей школой: Эмили Брей на следующий день после обеда должна явиться к ней в кабинет, — то

есть Эмили пришлось всю ночь и еще полдня волноваться, что ей теперь скажут и что сделают. Официально считалось, что в этой школе учениц не наказывают. Не заставляют писать бесконечные прописи, или оставаться в классе после уроков, или мыть пол в туалете. И все-таки все девочки — и не только Эмили Брей — пуще огня боялись провиниться перед мисс Крайтон-Уокер. Она так на тебя посмотрит, что чувствуешь себя последним червяком. И за что? За то, что у тебя в баночке жидкий мед, а не густой, как полагается, за то, что ты пробежала через теннисный корт в ботинках, за то, что улыбалась мальчикам. А уж что будет, если кто-то что-то украдет, или спишет на контрольной, или станет издеваться над младшими, — этого никто себе и представить не мог, да и не пытался. Они ведь ничего такого и не делают. Они, вообще-то, хорошие. Просто мисс Крайтон-Уокер имеет право их судить, и это самое страшное наказание.

* * *

Эмили стояла перед мисс Крайтон-Уокер в ее кабинете. Между ними на столе в серебряной вазе желтел букет весенних цветов. Мисс Крайтон-Уокер в тяжелом кресле с высокой спинкой

сидела маленькая и очень прямая. Что ты делала на стене? — спросила она. Мне не с кем вместе ходить в церковь, поэтому я и хожу так, ответила Эмили. Она еще хотела добавить: девочки моих лет, которые учатся в обычных школах и живут дома, ходят по городу днем и это никого не удивляет, что тут такого? — но не сказала больше ничего. Ты самоуверенная и неблагодарная девочка, заявила мисс Крайтон-Уокер. За то время, что ты здесь учишься, ты даже не попыталась по-настоящему стать членом класса. Видимо, ты считаешь, что весь мир существует исключительно для твоего удовольствия. Ты противопоставляешь себя остальным людям. Ты морально порочная. Вот и еще одно слово, вдобавок к остальным, подумала Эмили: «сожаления», «злобность», а теперь еще и «порочная». Так она потом и рассказала Флоре Марш, которая спросила ее, что было в кабинете: Мисс Крайтон-Уокер сказала, что я морально порочная. Не может быть! — не поверила Флора. Еще как может, сказала Эмили. Она и правда так про меня думает.

Можно, конечно, сомневаться, действительно ли мисс Крайтон-Уокер произнесла это слово: «порочная». Правда ли она вот так и сказала это своим серебристым невесомым голосом о стес-

нительной девочке, которая хотела всего лишь пройти по городу одна, среди белого дня, просто чтобы посмотреть на вербу и подумать о чем-то своем? Может быть, Эмили сама выдумала это слово, чтобы потом похвастаться перед Флорой Марш? Но раз это пришло Эмили в голову, то, видимо, это слово, да и чувство, во время разговора в кабинете витало в воздухе. Нет сомнения, что для мисс Крайтон-Уокер желание Эмили побыть одной представлялось чем-то нездоровым, злонамеренным, порочным. И вот какой она нашла выход: в ближайшие четыре недели она, мисс Крайтон-Уокер, будет лично ходить от церкви до школы вместе с Эмили Брей. Причем всем своим видом она показывала, что ей это так же неприятно, как и самой Эмили. Это будет наказание для них обеих.

* * *

О чем они могли разговаривать, идя вместе по городу? Нескладная получилась пара: одна еле волочит ноги и не поднимает глаз, другая выступает сдержанно и ровно. Эмили разговоров не затевала: не ее это дело, да и как ни заговори, все будет только хуже (и здесь она, пожалуй, рассудила верно). Мисс Крайтон-Уокер, наверное,

могла бы воспользоваться случаем и вызвать Эмили на откровенность, узнать, что у нее на уме, нравится ли ей в школе. Она даже что-то такое иногда говорила, но как бы пересиливая себя, и голос у нее при этом звучал натужно и глухо, будто такой разговор давался ей нелегко. По большей части их моцион все четыре недели происходил в обоюдном молчании: мисс Крайтон-Уокер ритмично отстукивает по тротуару каблуками, как заключенный, которому полагается вышагивать заданное число кругов по тюремному двору, а Эмили старается только не отстать. Но иногда у мисс Крайтон-Уокер вырывались отдельные реплики, и не тем сдавленным принужденным шепотом, которым она пыталась говорить по душам, а голосом ясным и резким. Эти замечания касались внешнего вида Эмили, который вызывал у нее (и я настаиваю на этом слове, очевидном для меня и для Эмили, хотя и признаю, что оно не было произнесено самой Мартой Крайтон-Уокер) — вызывал у нее отвращение. «Эмили, вот уже вторую неделю подряд у тебя грязная шея. На ней серая полоса, как на краю немытой ванны». «У тебя очень нечистая кожа лица, Эмили. Обратись к медсестре, она даст тебе что-нибудь от угревой сыпи. Очевидно,

у тебя повышенная активность сальных желез в области носа, или же ты уделяешь совершенно недостаточное внимание уходу за собой. Ты пробовала специальное мыло от прыщей?» «Эмили, какие у тебя жирные волосы. Страшно подумать, как выглядит изнутри твоя шляпа». «Ну-ка, покажи руки. Никогда не могла понять, как это людям не противно грызть ногти, — какое гадкое и бессмысленное занятие. Я гляжу, у тебя пальцы насквозь пропитаны чернилами, как у некоторых бывают в несмываемых пятнах никотина. Даже не знаю, что неприятнее. Кажется, я теперь понимаю, почему у тебя такие грязные тетради: ты же вся просто купаешься в чернилах, это просто поразительно. Сделай милость, прежде чем мы в следующий раз пойдем в церковь, купи себе пемзу и лимон и отчисти пальцы. Да, и вот еще: попроси на кухне нож и отскобли присохшую грязь с каблуков ботинок. Если ты думаешь, что, замазав ее гуталином, ты от нее избавишься и никто не заметит, то ты ошибаешься. Так еще больше видно, что ты ленивая и неопрятная».

И ведь не то чтобы эти замечания делались совсем без повода. Но неужели об этом нужно было говорить так много, так подробно, так изобретательно? Эмили казалось, что этот маленький

носик обнюхивает подмышки ее заношенных маечек и пятна на нижнем белье. Она ждала мисс Крайтон-Уокер у дверей ее кабинета, чтобы в очередной раз идти вместе в церковь, и чувствовала, как от волнения пот начинает течь у нее по спине под драповым пальто и дальше, вниз, по фильдекосовым чулкам, — а вдруг мисс Крайтон-Уокер учует этот запах ее страха? Тело же самой мисс Крайтон-Уокер, казалось, никаких естественных запахов не издавало; так — легкий аромат лаванды и совсем чуть-чуть нафталина.

Мисс Крайтон-Уокер заговаривала с Эмили о ее родственниках. Собственно говоря, родственники Эмили отношения к этой истории не имеют, хотя, наверное, вам интересно про них что-то услышать. По меньшей мере чтобы знать, встанут ли они в этом противостоянии на сторону мисс Крайтон-Уокер — или они смогут хоть что-то противопоставить ее моральному давлению. Эмили Брей училась на стипендию, по программе господдержки. Ее семья жила в Поттерис — районе гончарных мастерских, и в семье было пятеро детей. Отец Эмили был бригадиром рабочих, которые в большой печи обжигали посуду: чайные чашки в ландышах, суповые тарелки со строгим золотым ободком из кинжальных шипов, ядо-

вито-зеленых фарфоровых собачек с разинутым ртом, в которых держат зубные щетки или резинки. Мать до замужества работала учительницей младших классов. Она училась в Хомертонском женском педагогическом колледже в Кембридже, и там у нее появилась мечта, чтобы ее дети учились в Кембриджском университете. Эмили была самой старшей из детей, а второй ребенок, Мартин, родился дауном. Мать решила, что Мартин — заслуженное наказание за ее гордыню, и любила его самоотверженно, больше других детей. На троих младших она почти не обращала внимания. Эмили относилась к их возне и писку примерно с той же брезгливостью, какую мисс Крайтон-Уокер испытывала к ней, а может быть, и ко всем девочкам. Собственно, из всего этого важны только две вещи: постоянное чувство вины, которое Эмили унаследовала от матери, с ее недолговечными мечтами о лучшем будущем для своих детей, и то, что в семье был Мартин.

Про Мартина мисс Крайтон-Уокер, конечно, знала. Отчасти из-за него Эмили и дали стипендию: семья, нуждающаяся в социальной поддержке. У школы была квота на прием девочек из таких семей, даже без учета успеваемости. И если уж мисс Крайтон-Уокер готова была заводить с Эми-

ли разговор, то именно о Мартине. Расскажи мне, пожалуйста, о своих братьях и сестрах, начала она как-то, и Эмили перечислила: Мартину тринадцать лет, Лорне десять, Гарет восемь, Аманде пять. Ты, наверное, скучаешь по ним, спросила мисс Крайтон-Уокер, а Эмили ответила: да нет, не очень, она же бывает дома на каникулах, младшие очень шумные, мешают заниматься. Но ведь ты же любишь их, не отставала мисс Крайтон-Уокер, и голос у нее перехватывало от стремления говорить по душам, ты же, наверное, переживаешь, что ты для них уже как бы немного чужая? Эмили действительно чувствовала себя чужой в шумной и тесной семейной кухне, но больше тревожило и смущало ее отчуждение матери, которая думала только о Мартине. Впрочем, Эмили догадывалась (и совершенно правильно), что мисс Крайтон-Уокер имеет в виду совсем другое: что она ощущает себя отделенной от своей семьи учебой в престижной школе, что винит себя за то, что не помогает маме. Эмили рассказала, как она научила сестренку Аманду читать, буквально за две недели, и услышала от мисс Крайтон-Уокер: я замечаю, что ты не упоминаешь о Мартине. Тебе неловко о нем говорить, ты его стыдишься? Тебе ни в коем случае не следует стыдиться бо-

лезни твоего брата, сказала мисс Крайтон-Уокер (которая стыдилась, видя у Эмили чернила на пальцах или грязь на ботинках), нельзя стыдиться своих родных. Я его люблю, сказала Эмили. Она и правда его любила, качала на руках и пела ему песенки, когда он был маленький, терпела, когда он рылся в вещах на ее половине комнаты, чертил каракули в ее тетрадях, топил в ванне ее книжки. Она вспомнила, как он медленно и благодушно улыбается и подмигивает. Мы все его любим, сказала она. Тебе не следует его стыдиться, снова сказала мисс Крайтон-Уокер.

* * *

Бывало, мисс Крайтон-Уокер ненадолго отбрасывала свою строгость. В школьном распорядке случались особые дни, когда она выступала в традиционной роли, — например, каждый год на Хеллоуин она рассказывала ученицам историю про привидения. Все собирались в школьной столовой, среди голых стен, где в двух сотнях пустотелых тыкв, прорезанных в виде ухмыляющихся голов, горели две сотни свечей. Накануне девочки часами сидели и вырезали тыквы — сначала они потихоньку жевали кусочки сладкой мякоти, потом уже смотреть на нее не могли.

И после этого во всей школе много дней пахло, как в коровнике: запах подгоревшей тыквы, опаленной свечами во время страшного рассказа, смешивался с терпким запахом сырых тыквенных корок.

Час перед рассказом был отведен на ежегодный карнавал: в простынях или вязаных паучьих сетях, с нетопырьми крыльями за спиной или с бумажными косточками скелета на трико, девочкам разрешалось с громкими криками побегать по темному саду. Историю мисс Крайтон-Уокер рассказывала неправдоподобную: про встречу призрака коровы и римского центуриона в священной роще, посреди которой стояли роскошные старинные качели. Из истории следовало, что всякий, кто встретит призрака белой коровы, исчезнет, как исчез в свое время центурион; хотя он-то исчез не до конца, и среди деревьев рощи можно и по сию пору уловить следы его присутствия: блик от шлема, шорох подола кожаной рубахи под доспехом. Когда мисс Крайтон-Уокер в очередной раз рассказывала эту историю — которой, честно сказать, недоставало увлекательности и отчетливой кульминации, — по залу пробегал смешок. Девочки давно придумали, что мисс Крайтон-Уокер по ночам тайком качается

на этих качелях посреди рощи в полной наготе. Эмили сама слышала, как мисс Крайтон-Уокер заявила группе учениц, что она перед сном любит посидеть у себя в комнате на коврике перед камином совершенно без одежды. Очень приятно чувствовать, как твою кожу обвевает воздух, говорила она, благостно сложив руки домиком. Это естественно и приятно. Эмили не знала, на чем основана коллективная фантазия о том, что мисс Крайтон-Уокер по ночам нагишом качается на качелях в саду, — может быть, она когда-то сказала девочкам, что ей бы этого *хотелось*, что было бы славно и радостно рассекать темный воздух ничем не обремененным телом, касаться нижних ветвей густых деревьев сада голыми пальцами ног, чувствовать, как прохлада струится по тебе сверху донизу. Так или иначе, теперь среди девочек гуляли сразу несколько рассказов о том, что кто-то своими глазами видел мисс Крайтон-Уокер за этим занятием, наблюдал, как ее молочно-белая фигура раскачивается взад и вперед. Эмили представляла себе эту картину гораздо яснее, чем хеллоуинскую историю про корову-призрака и центуриона: лунно-белое лицо и неподвижные букли, в которых даже волосок не шевельнется. Тяжелые, мощные качели в воображении Эмили

были похожи на виселицу. А сам вечер при свечах смутно напоминал ей первый день в школе, собрание в комнате мисс Крайтон-Уокер и аллегории на тему смерти Ходжи.

Первые признаки интереса и волнения, направленного на массу пока еще неразличимых мальчиков из соседней мужской школы, вызвали у мисс Крайтон-Уокер приступ лихорадочного противодействия. Поговаривали, что при прежней, более либеральной начальнице мальчикам разрешалось провожать девочек из церкви до школы, но при нынешней об этом никто не посмел бы и заикнуться. Впрочем, Эмили краем уха слышала, что некоторые девочки запрет нарушали. Сама Эмили пока что не выделяла никого из толпы мальчиков. Она была влюблена в Бенедикта, в Пьера Безухова, в Макса Рейвенскара, в мистера Найтли.[3] Раз в год в женской школе устраивался бал, куда мальчиков привозили на нескольких автобусах. Они кучками жались у стены, молчали, прятали влажные ладони. Отменить бал мисс Крайтон-Уокер не могла: это была старинная традиция, к тому же директор мужской школы и члены попечительского совета

[3] Примечания: 3

Персонажи произведений У. Шекспира, Л. Толстого, Дж. Хейер, Дж. Остин. *(Здесь и далее примеч. перев.)*

одобряли это проявление терпимости в образовательном процессе. Но она возражала. Собирая девочек на ежесубботние поучения, она неделю за неделей предупреждала их о подстерегающих опасностях, правда было не совсем понятно каких. В предвыпускном классе она так и заявила, что, если мальчик к девочке слишком прижимается или крепко ее обнимает, девочка должна спокойным тоном сказать: «Не присесть ли нам до конца этого танца?» Девочки держались за животики от смеха, просто катались по своим кроватям в дортуаре и на все лады повторяли этот *mot*,[4] в точности воспроизводя голос и интонации мисс Крайтон-Уокер (в умелицах точно пародировать мисс Крайтон-Уокер недостатка не было). Они начищали свои цветные туфли-лодочки, огненно-красные или переливчато-синие, перебирали жесткие складки широченных юбок из шуршащей тафты, которые собирались надеть с обманчиво-скромными шелковыми блузками и тугими широкими поясами. Эмили запомнилось и потом многие годы вспоминалось, что в борьбе против всяческих сексуальных поползновений и намеков на возбуждение мисс Крайтон-Уо-

[4] Примечания: 4
Афоризм, острота *(фр.)*.

кер больше всего нападала на использование особами женского пола бритвы, — у нее получалось целое исчерпывающее изыскание, система научных доказательств того, насколько это непривлекательно и противоестественно. Произнести слово «подмышки» было выше сил мисс Крайтон-Уокер, поэтому она долго, подробно и убедительно рассуждала о том, как плохо влияет на кожу частое бритье ног: «Я прекрасно знаю, что после того, как сбрит естественный мягкий пушок, отрастает отвратительная темная щетина, и ее приходится сбривать все чаще и чаще. Спросите любого садовника, и он вам скажет, что после скашивания травы она растет гуще и грубее. Я прошу девочек, которые привезли с собой бритвы, отослать их домой и попросить родителей больше их сюда не присылать». А еще перед балом она несколько недель рассуждала о вреде дезодорантов, о том, что молодым девушкам они не нужны и что отдаленные последствия длительного воздействия химических веществ на нежную кожу еще не изучены. А если девочки боятся, что им будет слишком жарко, то всегда можно слегка припудрить отдельные места тальком.

Я не стану описывать бал. Он не принес радости

большинству из них, да и как могло быть иначе? Они стояли вдоль серых стен школьного зала, девочки с одной стороны, мальчики с другой, не перемешиваясь. С Эмили в этот день не произошло ничего интересного, да она в глубине души ни на что и не надеялась. Бал быстро стерся из ее памяти, а вот небывалое волнение мисс Крайтон-Уокер, ее курьезное сравнение бритвы с газонокосилкой, наоборот, запомнилось и стало одним из ярких и жгучих впечатлений времен учебы в школе. С годами к этим мыслям примешались размышления самой Эмили о том, какие образы вызывают в воображении названия средств для эпиляции, и все это вместе связалось с мысленной картинкой обнаженного безволосого тела мисс Крайтон-Уокер, раскачивающегося на качелях в лунном свете. «Вит», «Иммак», «Нэйр». В то время, когда случился этот бал с подпиранием стенок, Эмили как раз впервые распробовала то наслаждение, которое можно получить, внимательно вслушиваясь в слова. Название «Нэйр» почему-то напомнило ей описание чешуйчатого тела Сатаны у Мильтона в «Потерянном рае». Английское «Вит» звучало похоже на французское слово «быстрый», хотя и не так стремительно и деловито. Слово «Иммак»

особенно радовало в связи с мисс Крайтон-Уокер: по-латыни *maculata* значит «пятнистая, грязная», а *immaculata*, наоборот, «незапятнанная, непорочная», как в выражении «непорочное зачатие», — причем Эмили учили, что это относится к безгрешному зачатию самой Богоматери, а не к самостоятельному, без участия мужчины, зачатию Сына. Увещевания мисс Крайтон-Уокер привели только к тому, что девочки в дортуаре болтали про действие «Вит»: говорили, что у него «мерзкий запах — просто ужас» и что с кожи после этого приходится смывать отвратительную вонючую жижу с волосами. Но бритвы домой никто не отослал. А про мисс Крайтон-Уокер все дружно решили, что у нее на теле так мало волос, что она ничего в этом не понимает.

А с другой стороны, буквально в то же время был Расин. Ведь правда смешно, что мисс Крайтон-Уокер одновременно запрещала ученицам пользоваться бритвами и поощряла чтение «Федры»? Смешно. Да что там — эти же самые девочки уже были знакомы с предательскими восклицаниями преданной любимым безумной Офелии. «Клянусь Христом, Святым Крестом, — мерзавцы эти хваты. Где б ни достать — им только б взять,

и будь они прокляты!»[5] Из всей этой песенки особенно мучительно въедалось в память словечко «хват», может быть, потому, что оно снова возникает у Шекспира в словах Яго: «Сию минуту черный хват-баран бесчестит вашу белую овечку» (Дездемону). Иди в монастырь, сказал Гамлет. И вот она, Эмили, в монастыре, из которого нет выхода, окруженная шепотом оглушительных слов, то нежных, то грязных, и она должна их изучать. Но я не это хотела сказать о Расине. Шекспир вошел в жизнь Эмили постепенно, к нему она привыкла, он всегда был рядом. А Расин обрушился на нее внезапно. Но я опять не про то.

Только представьте себе: двадцать девочек (неужели их было так много?) на уроке французского продвинутого уровня. Перед каждой лежит похожий, если и не совсем одинаковый тоненький томик в зеленоватой обложке, слегка подержанный, слегка запачканный. Если быстро пролистать страницы, то ничего привлекательного: столбики ровных, как солдаты в строю, рифмованных двустиший, которые раздражают и тех из них, кто любит поэзию, и тех, кто к ней

---

[5] Примечания: 5

Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Действие IV, сцена 5. Перев. Н. Маклакова (1880).

равнодушен. Сюжет стоит на месте, ничего не происходит. Длиннющие монологи, никакого обмена репликами, словесных дуэлей. «Федра». Учительница французского рассказала им, что Расин написал свою пьесу по мотивам Еврипидова «Ипполита» и что он изменил сюжет, введя в него новый персонаж, девушку по имени Арикия, в которую Ипполит должен влюбиться. Рассказать про пьесу Еврипида учительница нужным не посчитала, хотя они ее не знали. Они записали: Ипполит, Еврипид, Арикия. Она сказала им, что в пьесе соблюдаются три единства классицистской драмы, объяснила, что это значит, и они записали: Единство времени = один день. Единство места = одно место. Единство действия = одна сюжетная линия. Учительница не сочла нужным поговорить о том, как эти ограничения могут отразиться на воображаемом мире пьесы. Вместо этого она без большого энтузиазма и даже с некоторым презрением объяснила только самый механизм. Получилось, что греки, а с ними и французы, какие-то дети, которые непонятно зачем устанавливают для себя ненужные правила, ограничивающие простор фантазии.

Девочкам было неловко читать вслух по-французски эти страстные рифмованные строчки.

Поначалу Эмили тоже стеснялась и тоже не могла преодолеть оцепенение. Позже, когда она втайне полюбила безумные хитросплетения расиновского мира, ей стало казаться, что оценила его она одна. Как я уже говорила, умение представить себе, что думают и чувствуют другие девочки, не входило в число талантов Эмили. В мире Расина всех действующих лиц разрывают противоречивые страсти, неуемные и необъятные, грозящие поглотить всю вселенную, хлещущие через край и затопляющие весь мир вокруг. Страсть их не знает предела, кровь в их жилах кипит и обжигает, а сверху на них высшим судией взирает раскаленное солнце. И все они сплетены в один великолепный и трагический узел, все разрывают друг друга на части в едином безупречном танце, где каждый шаг предопределен, прекрасен и гибелен. В этом мире героям назначены великие и трагические судьбы, которые и их личная судьба, и что-то неизмеримо более высокое. Любовь Федры к Ипполиту, совершенно противоестественная, искорежившая весь ее мир, — абсолютно неотвратимая, неодолимая сила, подобная наводнению, пожару или извержению вулкана. Искусство Расина изображает мир чудовищного извращения и хаоса, но при

этом вмещает его в строжайшие рамки форм и ограничений, в закрытый расчисленный мир классицистской трагедии с ее предписанным правилами диалогом, в гибкую, но неразрушимо прочную, сплошную сверкающую стальную сеть упорядоченного звенящего стиха. В этом мире поэт вступает в диковинный сговор со своим Читателем, и его искусство, подобно решетке, отделяет зрителя от наводящего ужас метания персонажей. Это суровое и взрослое искусство, думала Эмили, которая очень мало знала о взрослых, но была уверена, что они не похожи на мисс Крайтон-Уокер и что их заботы и тревоги не такие, как у ее усталой и измотанной матери. Ее Читатель был взрослым. Ее Читатель с расиновской безжалостной ясностью — но вместе с тем и с расиновским бесстрастным сочувствием — видел, на что способны люди и как далеко они могут зайти.

* * *

После первоапрельской шалости мисс Крайтон-Уокер заявила, что она от девочек такого никак не ожидала. Никто, по крайней мере никто из знакомых Эмили, не знал, откуда пошла эта затея. Все хихикали и перешептывались; пере-

дашь секретное сообщение — и через некоторое время слышишь то же самое от другой, в приукрашенной форме. Скорее всего, мысль пришла в голову мальчику с девочкой, а возможно, и нескольким парам, сумевшим все-таки познакомиться на том нескладном балу, где большинство стояли вдоль стенок. Может быть, кто-то с кем-то действительно просидел на скамейке во время вальса, как советовала мисс Крайтон-Уокер. Так или иначе, все получили инструкцию: в воскресенье 1 апреля в церкви всем мальчикам сесть на места девочек, и наоборот. Причем не перемешиваться, а поменяться местами всем сразу: с правой стороны от прохода пересесть на левую, а с левой на правую. Что это должно было означать, неизвестно, но всем девочкам и мальчикам эта шутка показалась чрезвычайно тонкой и остроумной, настоящим воплощением принципа первоапрельской путаницы и беспорядка. Самые смелые специально пришли в церковь заранее и торжественно расположились не на тех скамьях, остальные покорно, как овечки, последовали их примеру. Чтобы показать, что они не пытаются вести себя непочтительно по отношению к Богу, от начала до конца службы все молились с небывалым рвением и набожностью, истово

отвечали на возгласы священника и ничуточки не ерзали на скамьях. Викарий только поднял брови, потом благосклонно улыбнулся и провел всю службу без всякого упоминания о перемене мест присутствующих.

Мисс Крайтон-Уокер был поражена — или оскорблена — до глубины души. Как будто (но это сравнение пришло Эмили уже через много лет) произошла какая-то ритуальная травестия, дионисийское переодевание Пенфея в женские одежды для отдачи его на растерзание вакханкам. Впрочем, аналогия неточна: страдание мисс Крайтон-Уокер было скорее пуритански целомудренным. Ее потрясло, что ее саму и заведение, ею возглавляемое, выставили на посмешище перед лицом врага, — по крайней мере, так она это восприняла. На следующий день за завтраком она обратилась к ученицам с короткой речью ледяным тоном, и в этой речи, Эмили помнила точно, не было ни слова об оскорблении церкви. Не было и презрительных язвящих замечаний в адрес девочек: она была слишком для этого удручена. Она даже никак не могла начать: «Случилось нечто из ряда вон выходящее… Имело место происшествие… Вы все знаете, о чем я хочу сказать», пока наконец не перешла к тому, что

будет сделано во искупление совершенного греха. Вот тут голос ее обрел силу и ясность.

— Из-за того что вы сделали, — объявила она, — я буду стоять здесь перед вами во время сегодняшнего завтрака, обеда и ужина. Я совсем не буду принимать пищи. Вы можете смотреть на меня, пока едите, и думать о том, что вы сделали.

* * *

Думали ли они об этом? Эмили, как я уже говорила, мысли других читать не умела. Вот и сейчас, во время этого странного действа покаяния за чужой грех, она не понимала, что думают девочки. Может, им смешно? Или стыдно и тревожно? Ели они в этот день молча, усердно стуча вилками по тарелкам с картофельно-мясной запеканкой, выскребая ложками металлические миски с неизменным заварным кремом, а эта маленькая фигурка, похожая на куклу, стояла перед ними, нелепая и неумолимая, со сжатыми тонкими губами и неподвижным лицом, обрамленным безупречно ровными локонами, как судейским париком. Реакция самой Эмили была двойственная — позже она поймет, что в этом-то и был весь мертвящий ужас. *Умом* она понимала, что мисс Крайтон-Уокер ведет себя неприлично

и несообразно. А *чувство*, тяжелое и давящее, твердило ей, что она своим поведением действительно жестоко обидела мисс Крайтон-Уокер, оскорбила в лучших чувствах, что эта вина будет впредь неизбывной и что мисс Крайтон-Уокер теперь усугубляет эту вину своим искуплением. Мисс Крайтон-Уокер расплачивалась за грех, совершенный Эмили, не ведавшей о том, что это грех. Эмили ничего не понимала, кроме того, что она виновна. Это была ловушка, и выхода из нее не было.

* * *

Когда наступила пора выпускных школьных экзаменов, Эмили сильно переменилась, и в сторону, которая, возможно, вам не понравится. Приближается время, думала она, когда ее знания и умения будут подвергнуты публичной проверке и оценке, а пока что ее за них всё больше осуждают, причем не только одноклассницы, но и мисс Крайтон-Уокер. Школа считалась довольно сильной, но руководство всегда настойчиво заявляло, что успеваемость — это не главное и что школа стремится развивать в девочках другие качества: организаторские способности, дух коллективизма, готовность помочь ближнему

и быть полезной людям и так далее. Некоторые выпускницы поступали в университет, однако ими не особенно гордились, даже не слишком охотно об этом упоминали. Но Эмили знала, что этот путь на волю существует. В конце тоннеля — который она отчетливо представляла себе (скажем так, потому что метафора никогда не должна лежать мертвым грузом) как извилистую, тесную, гибкую трубу, по которой она всеми силами старается проползти туда, где смутно и искаженно виднеется выход, — в конце тоннеля был, должен был быть, свет и разумный мир, полный заинтересованных Читателей.

Она готовилась к своим выпускным с отчаянной, истовой строгостью, как послушница готовится к постригу. Она научилась чисто писать, причем это произошло так внезапно, что никто не узнавал ее почерка в этих новых, четких, безупречных черных строчках. Она научилась воинственно откидывать голову назад. Когда-то одна одноклассница ухватила ее за уши и долго била головой об стену в классе, повторяя: «Ах ты, выскочка! Тебе все даром дается, ты даже не стараешься!» — но это была неправда. Она старалась, она втайне трудилась над собой, чтобы блеснуть. Она прочитала еще четыре пьесы Расина, заранее

тревожась, что не сумеет достойно написать о его тематике, его взглядах, его мудрости.

Наверно, вы уже готовы изменить мнение об Эмили в худшую сторону: дескать, ну что ей, больше всех надо — или даже: ну и выскочка. Вот если бы я писала о человеке, решившем стать выдающимся прыгуном с трамплина, или марафонцем, или хотя бы пианистом, вы бы по-прежнему сочувствовали моему герою. Вы бы с интересом читали про то, как, преодолевая боль в мышцах, прыгун в двадцатый или тридцатый раз карабкается по бетонным ступеням и как внизу его ждет прямоугольник жидкого аквамарина, как белые пузырьки воздуха взрываются в воде и ударяют по барабанным перепонкам, как тело описывает идеальную параболу. Вы бы сопереживали — ведь и вам случалось добиваться чего-то ценой огромного труда — так же, как я теперь с удовольствием и пониманием наблюдаю по телевизору игру бильярдистов, представляя себе прямые и искривленные линии на зеленом поле, а потом и вправду следя за тем, как шары проносятся по ним, с треском сталкиваются и роскошно падают в лузы, — и как я одновременно восхищаюсь работой телеоператоров, которые с помощью умело выбранной детали могут показать даже моему

невежественному взгляду, где именно пролегают те прекрасные линии, где таятся препятствия, где скрываются опасности, а где ждет успех.

Может, я не права и наблюдатель все-таки способен оценить одинокую борьбу умного ребенка. А может быть, раздражает не то, что ребенок умный, а просто надоели всем рассказы об этих одиноких умниках, ну сколько можно. Что из них всех вырастает — нытики-писатели, которых никто не понимает? Но с Эмили дело было не так. Она не стала писать ни о том, какая она была умная и как ее не понимали, ни о чем-нибудь другом.

А может быть, и не было у вас никакой неприязни, пока я своими рассуждениями вам не надоела. И зачем вам рассказчик-параноик? Совершенно незачем. Что ж, вернемся к мисс Крайтон-Уокер, о ней всегда есть что рассказать.

* * *

Вечером накануне первого экзамена мисс Крайтон-Уокер обратилась ко всем ученицам школы с очередным кратким поучением. Время было летнее, и на ней было серебристо-серое платье, заколотое все той же серебряной брошкой. Перед ней на столе стояла простая серебряная ваза с

цветами: розовые розы и синие ирисы, а вокруг них что-то белое, прозрачно-кружевное. Завтра, сказала она, начинаются экзамены. Она надеется, что младшие девочки будут помнить об этом и не станут шуметь под окнами большого зала, пока старшие пишут экзаменационные работы. Среди учениц есть некоторые, сказала она, которые придают результатам экзаменов очень большую важность. Они, видимо, считают, что хорошо сдать экзамен — это что-то особенно почетное. Она надеется, остальные ученицы не думают, что лично она полагает, будто свет клином сошелся на высоких оценках. Разумеется, все, что люди делают, важно, даже очень важно — все в своем роде. Ей самой в жизни, например, доводилось как писать книги, так и вышивать скатерти. И ей даже трудно сказать, от чего людям больше пользы, да и удовольствия: от хорошо написанной книги или от хорошо вышитой скатерти.

Она говорила, а Эмили казалось, что она обращается именно к ней, ей одной смотрит в глаза своим холодным проникающим взглядом. Это вообще свойство хорошего оратора — заставить любого слушателя думать, что речь адресована лично ему. Мисс Крайтон-Уокер обычно ораторским талантом не отличалась: своими чувствами

она не умела делиться, а как будто отчаянно пыталась навязать их непробиваемо равнодушным слушателям, и от этого у нее перехватывало голос. Выступая, она всегда ожидала, что ее поймут неправильно, а то и злостно извратят смысл ее слов, но продолжала твердить свое. Эмили все это бессознательно чувствовала, не задумываясь, как и почему она это понимает. Но в этот раз сомнений не было: слова мисс Крайтон-Уокер предназначены ей, и сказаны они были с такой вдохновенной ненавистью, с такой абсолютной враждебностью, с позиции такого абсолютного антагонизма, что было ясно — мисс Крайтон-Уокер вкладывает в них всю свою сжатую в комок душу. Сначала Эмили отвечала на ее взгляд своим сердитым взглядом и упрямо вздернутым подбородком и думала о том, что мисс Крайтон-Уокер говорит пошлые глупости, потому что главное не экзаменационные оценки (дай бог, чтоб они были хорошие!), а *Расин*. Но потом, из принципа почти научного беспристрастия, Эмили попыталась честно подумать о важности вышивания скатертей. И тут она вспомнила о своей двоюродной бабушке Флоренс (ее называли просто тетя Флоренс) и мгновение спустя склонила голову и отвела глаза.

* * *

Дома, в Поттерис, у Эмили было множество тетушек: тетя Энни, тетя Ада, тетя Мириам, тетя Гертруда, тетя Флоренс. Тетя Флоренс была из них старшая и в молодости считалась самой красивой. Она всегда ухаживала за своей матерью, у которой была нелегкая жизнь, поэтому замуж вышла поздно и детей у нее не было — хотя, как говорила мама Эмили, ее всегда звали приглядывать за детьми других сестер. Мать умерла в полном маразме, когда Флоренс было пятьдесят четыре. В том же году у ее мужа случился инсульт, и после этого он десять лет пролежал парализованный, а тетя Флоренс кормила и обихаживала его. В молодые годы у нее были прекрасные золотистые волосы, очень длинные, ниже спины. В школу она ходила только до четырнадцати лет, но всю жизнь читала книги — Диккенса и Троллопа, Дюма и Гарриет Бичер-Стоу — и всегда мечтала попутешествовать за границей. Когда дядя Тед наконец умер, она получила немного денег и уже совсем собралась уехать, как вдруг заболела тетя Мириам: головокружения, ноги не держат, руки трясутся, — и ее дети, занятые своими детьми, попросили тетю Флорри помочь.

Кого же еще просить, говорила мама Эмили, она ведь вроде как свободна. И потом, она всегда такая сильная, так и бегает вверх-вниз по лестнице, когда нужно что-то подать или принести: сначала для бабушки, потом для дяди Теда, потом для бедной тети Мириам. На вид всегда здоровая, работящая. Но когда Мириам умерла, Флоренс было семьдесят два, и у нее был артрит, и никуда поехать она уже не могла. Могла только сидеть и вышивать — вышивать она любила, такая красота у нее получалась, что ни возьми: букеты, и арабески, и увитые цветами решетки — сияющими яркими нитками по белому полотну — или еще белые атласные наволочки для подушек, шитые белым шелком или, наоборот, всеми цветами радуги, с узорами из всех веков и стилей — тут тебе и эпоха Возрождения, и классицизм, и викторианские мотивы, и ар-нуво. Когда ездили к ней в гости, всегда привозили в подарок отрезы белого атласа, по которому она вышивала. Больше всего ей нравился такой плотный, из которого свадебные платья шьют. Цвет она предпочитала слегка кремовый, а вот ярко-белый, как бывает искусственный шелк, не любила. Когда ей исполнилось восемьдесят пять, в местной газете напечатали про нее статью, про ее замеча-

тельные вышивки, и там была фотография тети Флорри: она сидит в кресле в своей маленькой гостиной — прямо сидит, не горбится, — и на голове у нее короной уложены волосы, хотя они уже не такие густые, как были когда-то, а вокруг, на всей мебели, развешены белые полотнища с ее вышивками. У нее соседка хорошая, говорила мама Эмили, она к ней приходит и все ей делает. Сама-то тетя Флорри уже почти ничего не может: у нее артрит суставов рук.

* * *

После речи мисс Крайтон-Уокер Эмили расплакалась. Первые полчаса она думала, что это просто нервная реакция, раздражение глаз от волнения перед завтрашним экзаменом, что это скоро пройдет. Сначала она не слишком сдерживалась, ревела и всхлипывала в раздевалке спортивного зала в подвале, раскачивалась из стороны в сторону на скамеечке, под которой в решетчатом ящике были как попало свалены парусиновые ботинки для хоккея на траве и пыльные гимнастические тапочки. Дело шло к отбою, и она решила, что, пожалуй, пора кончать реветь, хватит уже, выплакалась, отвела душу. Надо собраться, прийти в себя. Хлюпая носом, она

тихонько выбралась в коридор верхних этажей и там натолкнулась на Флору Марш. Добрая Флора сказала: вид у тебя что-то не очень. Услышав это, Эмили взвыла, как раненый зверь, и попыталась пройти мимо, но ее так шатало от стены к стене коридора, что Флора встревожилась. На вопросы, что случилось, Эмили толком ответить не могла, она словно онемела, и Флора сказала: тебе надо в лечебку, так они называли школьный лазарет, тебе надо к медсестре. Завтра ведь экзамен по латинскому, ты что, приведи себя в порядок. Флора повела ее по темным коридорам засыпающей школы. Эмили не сопротивлялась, она шла, слегка постанывая, вся мокрая от слез, а внутри ее заплаканной головы светился огонек ясного разума, тикал какой-то четкий механизм, и она думала: меня ведут как вола — нет, не вола, как белую телку, как там у Китса в оде к греческой вазе… Разубранную телку тянет жрец, она мычит, как бы взывая к небу…[6] Над головой на металлических цепях тоскливо свисали пыльные шары коридорных ламп.

Школьная медсестра, сухонькая деловитая женщина в белом халате и туфлях на мягкой

---

[6] Примечания: 6

"Ода к греческой вазе" (1819) Дж. Китса цитируется в переводе В. Потаповой.

резиновой подошве, развела для Эмили кружку какао и усадила ее в не слишком удобное, но симпатичное плетеное кресло. Эмили все плакала. Медсестре и Флоре, да и самой Эмили было ясно, что конца этому не предвидится. Соленые слезы застилали ей глаза, скапливались между веками, переливались через край, растекались широкими потоками по щекам и подбородку, холодными струйками сбегали по шее, пропитывали воротник. Тикающий механизм в голове Эмили тем временем размышлял о смерти Сенеки, о том, как теплая влага жизни вытекает из тела, капля за каплей, о том, что можно просто позволить ей истечь, просто сдаться. Медсестра велела Флоре принести вещи Эмили, и она, с трудом ворочая руками, как неумелый пловец в толще воды, натянула ночную рубашку и взобралась на высокую больничную кровать с железной решетчатой спинкой, жестким матрасом и белыми хлопчатобумажными одеялами. Слезы текли уже беззвучно, от них на подушке расплылось темное пятно, потом подушка промокла насквозь. Эмили свернулась на постели, уткнувшись подбородком в коленки, спиной к медсестре. Сестра поправила ей мокрые волосы, забившиеся за ворот рубашки, и спросила Флору Марш, из-за чего Эмили плачет.

Флора сказала: не знаю, может быть, начальница что-то такое сказала. До Эмили, затерянной как щепка в водяной пустыне, их слова доносились глухо, как бы издалека. Сможет ли она завтра экзамен сдавать, спросила Флора, и сестра сказала: ночь поспит, а там видно будет.

* * *

Эмили раздвоилась. Та ее часть, которая ведает чувствами, потерпела поражение и сдалась, уступила, растворилась в блаженном небытии. А мыслящая часть продолжала работать, четко и строго, ритмически отмеривая пятистопные ямбы и александрийские стихи, и утешительные слезы не мешали ей, а просто служили фоном. Наутро чувствующая часть Эмили, продолжая всхлюпывать и нетвердо пошатываясь, приняла из рук медсестры кружку чая и кусочек тоста, а мыслящая часть трезво выглянула из заплаканных глазниц, поднялась с постели, оделась и, не вытирая мокрых щек, отправилась на экзамен по латинскому языку. И Эмили высидела весь экзамен, и там она несколько часов переводила, анализировала тексты и старательно сочиняла латинские фразы и целые абзацы. А когда экзамен закончился, из горла ее вырвался

неудержимый всхлип — и слезы хлынули снова, как будто где-то внутри открылся кран, как будто с этим слезным потоком что-то — всё — должно было выплеснуться наружу. Эмили прокралась назад в лазарет, на железную кровать, и лежала, зябко дрожа, с холодными мокрыми щеками, а в голове у нее, там, где тикает механизм разума, в яростном водовороте кружились примечания к Горацию, крики носимых бурей героев «Лира», неуместные банальности миссис Беннет, сослагательные и условные наклонения — и она их разбирала, перебирала и просеивала, а слезы все текли и текли. И так она написала два сочинения по немецкому и все экзаменационные работы по английскому. Когда приходило время писать, она всегда была собранна и готова, но из написанного ничего не помнила — все растворялось в слезах, все смывалось прочь. Она была как бегун в конце марафона: все силы тела, крови и мускулов на исходе, осталась только сила духа, тронь такого рукой — рухнет и не встанет.

* * *

В свободный день между экзаменом по английскому и последним, по французскому, в ее палате появилась посетительница. Эмили лежала ка-

лачиком на своей железной кровати и плакала. Сестра наполовину опустила жалюзи на окнах, чтобы внутрь не проникал жар летнего дня и крики девочек, играющих в теннис на солнечном травяном корте. Воздух в комнате густой и зеленый, полупрозрачно-стеклянный, и в нем стоят, как под водой, столбы тени. Мисс Крайтон-Уокер вошла и направилась к кровати, и вместе с ней вошел скрип резиновых подошв и ее собственная тень. Волосы у нее в этом полусвете серебряные с зелеными отблесками, платье цвета больше всего похожего на грязь, на шее маленький, плотно вязанный крючком воротничок-стойка. Она пододвинула железный трубчатый стул и села перед Эмили: руки покойно сложены на коленях, колени плотно сдвинуты, губы поджаты. От слез обоняние Эмили не ухудшилось, наоборот, стало более чутким: от мисс Крайтон-Уокер слегка пахло нафталином, но в стенах лазарета этот острый душный запах напомнил ей эфир или хлороформ, и ее немного замутило. Эмили лежала неподвижно. Мисс Крайтон-Уокер заговорила:

— Эмили, я с сожалением узнала, что ты заболела, если это можно так назвать. К сожалению, мне не сообщили об этом раньше, иначе бы я раньше тебя навестила. Скажи мне, пожалуйста,

если можешь, что тебя так огорчило?

— Не знаю, — сказала Эмили, и это была неправда.

— Я знаю, что ты придаешь очень большое значение этим экзаменам, — прозвучал тихий голос, и в нем слышалось осуждение. — Я думаю, ты слишком переутомилась, поставила себе слишком высокие цели, перестаралась. Мне всегда казалось, что это несправедливо по отношению к юным девушкам — заставлять их проходить такие суровые испытания, когда можно было бы найти какие-то другие, более объективные способы всесторонне оценить их успехи и достижения. Разумеется, я готова написать письмо в экзаменационный совет, если тебе кажется — если мне покажется, — что ты не смогла проявить себя достойным образом. Это, конечно, будет очень обидно, но это ведь не трагедия, совсем не трагедия. К тому же такие временные неприятности могут быть полезны для воспитания характера.

— Я не пропустила ни одного экзамена, — глухо прозвучал упрямый голос Эмили.

Мисс Крайтон-Уокер продолжала:

— Я убеждена, что для формирования по-настоящему твердого характера необходимо один раз потерпеть серьезную неудачу. Я понимаю, что

ты сейчас видишь все совсем в другом свете, но когда-нибудь ты со мной согласишься.

Эмили понимала: нужно бороться, но как? Одна половина ее готова была громко разреветься, просто чтобы заглушить грубым криком этот тихий вкрадчивый голос. Другая половина без слов понимала, что этого делать ни в коем случае нельзя, что это капитуляция, признание неурочно произнесенного над ней окончательного приговора. Она сказала:

— Если мне не надо будет разговаривать, если просто продолжать писать экзаменационные работы, то, мне кажется, я справлюсь, у меня получится. Мне так кажется.

— По-моему, Эмили, у тебя получается плохо.

Эмили почувствовала, что в глазах у нее плывет и в голове мутится, как будто она теряет сознание от запаха нафталина. Она отвела глаза вниз от осуждающего лица и стала разглядывать вязаный воротничок, состоящий из узелков и дырочек. Вязание крючком, даже самое аккуратное, всегда бывает чуть-чуть неровным и несимметричным; вот и здесь маленькие цветочки в обрамлении нитяных цепочек немного кривые. Две половины воротничка присобраны и стянуты толстеньким крученым шнурком, шнурок завязан тугим бан-

тиком, а концы его свисают на грудь, и каждый заканчивается узелком. Где ты, Расин? Где спасительная нить логических рассуждений, где сухой и жаркий воздух, которым дышит Читатель? Жалюзи слегка качаются и прогибаются от ветра. Внезапно в голове Эмили начинает разворачиваться бесконечный свиток, а на нем сплетение стихотворных строк, ровных, как ноты на стане, и этот упорядоченный рисунок александрийского стиха каким-то неведомым образом составляет филигранную мережку, какие великая мастерица была вышивать тетя Флорри: паутинки ниток, сходящиеся вместе и перехваченные посредине, как снопы у жнеца, а между ними просветы, скрепленные крохотными стежками, и все вместе — сетка, решетка.

> *C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit.*
>
> *Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée*
>
> *Comme au jour de sa mort pompeusement parée…*[7]

---

[7] Примечания: 7

> *Так вот, передо мной в одну глухую ночь*
> *Предстала мать моя Иезавель неслышно.*
> *Она, как в смертный час, была одета пышно…*
> ***(Жан Расин. Гофолия. Акт II, явл. 5. Перев. Ю. Корнеева)***

Вот и еще один призрак у постели — совершенно неуместный. Думающая половинка Эмили улыбается про себя, поудобнее подложив руку под щеку.

— Мне просто надо побыть в покое, сосредоточиться…

Мисс Крайтон-Уокер подобралась, ее серебристо-зеленые кудри слегка качнулись в сторону лежащей девочки.

— Мне сказали, что ты расстроилась из-за моих слов на собрании. Если это так, то мне очень жаль. Разумеется, все, что я говорила, было сказано из лучших побуждений и, как мне казалось, совершенно продуманно. Я говорила это в интересах большинства девочек и никого в отдельности не хотела обидеть. Я чувствую себя равно ответственной за всех вас, вне зависимости от различия интересов и способностей. Возможно, что в тот момент потребности прочих мне казались более важными, чем твои, — вероятно, мне думалось, что ты чувствуешь себя увереннее, чем другие. Поверь, пожалуйста, что я ничего особенного не имела в виду по отношению лично к тебе. И разумеется, все сказанное мной было сказано совершенно искренне.

— Да. То есть да, конечно.

— Я хотела бы знать, не обиделась ли ты на что-то, что я сказала.

— Я бы не хотела…

— Я бы не хотела, чтобы между нами осталось это недоразумение. Меня бы очень огорчило — меня бы расстроило, — если бы я узнала, что я даже ненамеренно причинила боль одной из девочек, находящихся на моем попечении. Скажи, пожалуйста, не винишь ли ты меня в чем-то.

— Нет. Нет, конечно нет.

* * *

Бедная Эмили, принужденная выступить в роли судьи! Как беспомощны, как безнадежны ее слова — это же ложь, измена принципу точности. Сказавши «нет», она как будто предала, нарушила какую-то клятву, которой никогда не давала.

* * *

— Хорошо. Мы, кажется, поняли друг друга. Я очень рада. Я принесла тебе цветов из своего садика, сестра поставит их в воду. Они немного скрасят твое пребывание в этой темноте. Надеюсь, ты скоро сможешь вернуться ко всем остальным девочкам. Я, разумеется, буду осве-

домляться о твоем здоровье.

* * *

Страница за страницей, медленно и тщательно, экзаменационные сочинения по французскому были написаны. Перо Эмили быстро бежало по белой бумаге, оставляя цепочку скупых черных значков; мысли ложились на страницу мелкими стежками, перемежающимися яркими бусинками цитат. Ей не приходилось ничего сочинять: она знала, что хочет сказать, узнавала рисунок мысли, и он сам укладывался на чистый лист в виде упорядоченного узора. На стыке абзацев Эмили поднимала глаза: в темных углах школьного зала, под пыльными наградными щитами, в оконных нишах или проемах дверей ей являлись видения сцен и целых живых картин, в которых разыгрывалась одна и та же тема — тщетность человеческих стремлений. Она подробно анализировала ясность, с которой Расин представил запутанный и противоречивый мир страстей Федры, а в это время боковым зрением видела призрачные фигуры, извивающиеся и машущие, словно призраки, пытающиеся на дыхании ветра перелететь через Стикс. Среди них была фигура мисс Крайтон-Уокер того серебристо-грязного

цвета, в каком она предстала в подводном свете больничной палаты, и она многозначительно утверждала, что поражение необходимо и полезно. Была там и тетя Флорри, блекло-пепельная и смиренная, освещенная отраженным светом своих работ — прямоугольников белого полотна и непорочного свадебного атласа, — прямо сидящая в своем кресле, тоже судья. Был там и Мартин, о котором она вспоминала так редко, и он снова, как когда-то, разбрасывал и комкал бумаги на ее маленьком столе — сгусток мягкой бессмысленной плоти посреди вихря белых листов. Виделись ей даже длинные ряды необожженных керамических сосудов, покрытых непрозрачной пока глазурью, жидкой глиняной поливой, скрывающей до поры нанесенный рисунок, который проявится только после обжига в печи у ее отца, откуда они выйдут ясными и сияющими. Зачем продолжать бороться, шептал тихий голос в ее ушах, к чему вся эта маета? Что ты можешь знать, продолжал этот голос — и нельзя было отказать ему в некоторой правоте, — о кровосмесительной страсти матери и о гневе богов? Не нашего ума это дело, наше дело — вышивать скатерти и терпеть.

Эмили, не без стараний мисс Крайтон-Уокер,

было хорошо знакомо чувство вины, но она ничего не знала о силе страсти, ни укрощенной, ни неуемной; она не испытывала в своей крови хватки ее огненных когтей. Она и писала, ясно и убедительно, о неизбывном чувстве вины Федры, не оставляющем ее от первой сцены до последней, о чувстве, из-за которого она так страшится встречи со своим отцом Миносом, судией в загробном мире, из-за которого чувствует, что ясность ее зрения оскверняет самый воздух и чистоту солнечного света. Эмили писала, а сама то и дело касалась припухших мешков под покрасневшими от слез глазами: она видела сейчас сквозь толщу влаги и невольно и неизбежно сравнивала кощунственную ясность зрения Федры и туман в своих исплаканных глазах, для которых солнечный свет был мукой.

* * *

А где-то далеко, в своей собственной пустыне с сухим золотистым воздухом, существовал ее Читатель. Он ждал; он должен был взвесить ее знание и ее невежество и произнести над ней суд: сумела ли она все сделать правильно, не уклонилась ли в чем. Дописав, Эмили мысленно поклонилась ему и в душе признала, что он лишь

плод воображения, что существовать в его залитом светом мире невозможно.

Кто же победил, спросите вы: Эмили или мисс Крайтон-Уокер? Кто из них одержал победу — если уж Читатель есть не более чем абстракция, плод воображения, и ни победить, ни проиграть не может? Можно считать, что победила Эмили, ибо она достигла своей цели: то, что она написала во время экзаменов, было не горячечным бредом, а в точности соответствовало требованиям придирчивой экзаменационной комиссии, и, когда эти работы были самым тщательным образом проверены, перепроверены и наконец оценены, итоговые баллы оказались самыми высокими за всю историю школы. А можно считать, что победила мисс Крайтон-Уокер, потому что Эмили был поставлен диагноз «нервный срыв» и ее отослали домой со строжайшим предписанием к книжкам не притрагиваться, так что мама выдала ей кусок канвы для вышивания полукрестиком, и все долгое лето она была вынуждена просидеть над деревянными пяльцами с рисунком в викторианском духе — пышные розы и синие аквилегии — и послушно класть стежок за стежком тупой вышивальной иголкой с продернутой в ушко розовой, бежевой, алой, голубой, лазурной или

темно-синей шерстяной ниткой, создавая на изнанке жуткую путаницу из торчащих концов и выпирающих узлов, потому что талантом аккуратно закреплять нитку она была обделена. Можно решить, что в конечном итоге все-таки победила Эмили, потому что она поступила в университет по самой правильной для себя специальности — французский язык — и уже во время учебы выскочила замуж. Если Эмили и казалось иной раз, что она в чем-то проиграла, то это было ненадолго, понятная слабость, а так она с неизменной теплотой относилась к своему тихому мужу, служившему налоговым инспектором, и к двум умненьким дочерям, да еще и получала некоторое удовлетворение от работы переводчицей по заказу разных международных юридических организаций.

Но вот в один прекрасный день ее вызвал заместитель директора школы, где училась старшая дочь, и Эмили отправилась в это учебное заведение — ряд кубов и призм из полированной стали и стекла, совсем не похожих на темное, увитое плющом здание, где когда-то училась она сама. Заместитель директора, одетый в модно потертый джинсовый костюм, был субтильный и легонький, как птичка. Жидковатые седые

волосы длинными прядями спускались до воротника рубашки, а на лице читалась некоторая озабоченность. Понимаете ли, заговорил он, если лично вы принадлежите к среднему классу и получили университетское образование, это еще не значит, что к тому же стремится ваша дочь. Я говорил Саре: если ты, например, хочешь стать садовником, наша школа сделает все возможное, чтобы тебя в этом поддержать. Это твоя жизнь, и выбирать тебе. Для нас равно важно все, что делают у нас девочки; главное, чтобы они нашли себя. Тихим, глухим голосом Эмили ответила: Сара хочет заниматься по усиленной программе французским и одновременно математикой; неужели школа не смогла составить для нее расписание, при котором она могла бы это совмещать? Выражение лица заместителя директора изменилось: оно стало гораздо любезнее и вместе с тем укоризненнее. Но согласитесь, сказал он Эмили, что родители не всегда правильно судят о способностях своих детей. Возможно ведь, что вы — разумеется, из самых лучших побуждений! — принимаете за интересы Сары ваши собственные нереализованные амбиции. А что, если Сара не имеет наклонностей к интенсивной учебе? Эмили бы надо было спросить его, а *знает* ли он Сару

и на чем, собственно, основывается его суждение, — да и сама огорченная и возмущенная Сара ожидала, что она задаст ему этот вопрос, — но Эмили не решилась. Сказала только: французский у Сары идет очень хорошо — я специалист, я в этом разбираюсь; у нее природный талант. В улыбке замдиректора отразилось его плохо скрываемое недоверие и высокомерие профессионала. Это вы так думаете, сказал он, но мы, педагоги, можем придерживаться иного мнения. Наша цель — всестороннее развить личность девочки, подготовить ее к жизни, к выстраиванию межличностных отношений, к ведению домашнего хозяйства, помочь найти свое место в обществе, понять свои обязанности. Мы прекрасно понимаем, что у Сары имеются потребности и проблемы, одна из которых, простите мою прямоту, связана с вашими требованиями к ней. Жаль, что вы не хотите довериться нашему мнению. Впрочем, как бы то ни было, школа никак не может так организовать расписание, чтобы обеспечить Саре и языковой, и математический уклон.

Сквозь этот новый тихий голос сквозил другой, давний. И Эмили шла по леденящим стеклянным коридорам и думала: если бы тогда, в ее прошлом, не случилось то, что случилось, сегодня

она смогла бы не поддаться этой силе. Хотелось швырнуть камень и вдребезги расколотить эти огромные бесчувственные стеклянные стены, впустить ясный свет — и было стыдно за свое детское желание.

А дома Сара подвела аккуратную двойную черту под доказательством геометрической теоремы, четко изложенным для некоего пока рассеянно взирающего на нее, неумолимо точного высшего ума, перед которым она жаждала предстать. Как дальше стала жить Сара, открылось ли ей это знание — это уже другая история, история Сары. Можете поверить — надеюсь, что у вас достанет веры, — что она нашла свою дорогу к свету.

Розовые чашки[8]

Три девушки сидят в комнате: две в низких креслах с овальной спинкой, одна на краешке кровати, так что летний свет из окна падает на ее бледные волосы, а лицо в полутени. Они молоды, полны сил — это видно по живым поворотам головок, по быстрым легким движениям, какими они подносят к губам сигареты в длинном мундштуке или розовые чашки с чаем. На них прямые платья до колен: одно оливково-зеленое, другое рыжевато-коричневое (иногда оно видится как тускло-пунцовое), а на светловолосой — цвета топленого молока или неотбеленной шерсти. Чулки у всех светлые, гладкие, но без блеска, туфли остроносые, с ремешками на пуговках и почти без каблука. У одной из девушек, сидящей в кресле, длинные темные волосы собраны в узел низко на затылке. У двух других короткие стрижки, открывающие сзади шею. Вот блондинка повернулась к окну, и видна очаровательная линия среза серебристо-золотых волос, наискосок от нижнего угла щеки до затылка. Тонко очер-

---

[8] Примечания: 8
Перевод И. Зубановой

ченный рот спокоен и неподвижен; она кажется безмятежной, но она в ожидании. Третью разглядеть труднее, заметна только суровая стрижка «под мальчика», и Веронике всегда приходится делать над собой усилие, чтобы увидеть ее волосы не такими, какими она всегда их знала, — седеющими и не знавшими краски.

Кресла Вероника видит очень отчетливо: одно плотно обтянутое светло-зеленой льняной тканью, второе с оборчатым ситцевым чехлом в крупных пышных розах. Еще там есть маленький камин с пыльным ведерком для угля и медными щипцами. Иногда камин жарко горит, но чаще он стоит темным, ведь на улице лето; в проеме розоватых набивных занавесок виден неизменный сад колледжа, с водоемом в каменной оправе, с кустами роз, пышными цветочными рабатками, запахом свежескошенной травы. Из-за края окна, обрамляющего эту картину, внутрь заглядывают листья: плющ, плетистая роза? В комнате есть письменный стол, но его видно плохо. И нет смысла нарочно вглядываться, нужно просто терпеливо подождать. В одном, совсем темном углу стоит еще что-то, но никогда не удается понять, что это: может быть, шкаф? Зато ей всегда хорошо виден низкий столик, накрытый к чаю:

маленький чайник с кипятком, на подставке, объемистый заварной чайник с цветочками, ореховый кекс на блюде, ломтики солодового хлеба и шесть радужно-блестящих розовых чашек с блюдцами в форме лепестка. Переливчатая глазурь лежит на чашках не ровно, а растекается по насыщенно-розовому паутинкой серовато-голубых и бело-золотых прожилок. И разумеется, еще нужны — и, конечно, имеются — маленькие ножики для масла с закругленными концами и ручками из слоновой кости и само масло в хрустальном блюдечке. Да-да, и хрустальная же вазочка с джемом, с особенной плоской ложечкой.

Девушки переговариваются между собой. Они кого-то ждут. Их разговор и смех Веронике не слышен, зато хорошо видна скатерть: белое полотно с ажурной мережкой по краю, перевитой гирляндами цветов, — рельефная гладь меланжевым шелком: нитки по длине окрашены в разные оттенки одного цвета, то светлее, то темнее. Цветы эти обычно представляются ей розами, хотя, если приглядеться, они не совсем розы — или даже совсем не розы, а плод фантазии. И розового цвета в ее картине что-то многовато.

* * *

Со второго этажа раздался требовательный и негодующий голос Джейн, дочери Вероники. Джейн была дома — редкий перерыв в плотном графике ее активной жизни, которая бурлила и перехлестывала через край, нося ее из дома в дом, из гостей в гости, на посиделки в чьей-то кухне, где грохочет рок-музыка, вьется дым запретного курева, звучат громкие голоса. Джейн, оказывается, решила что-то сшить, а швейная машина в гостевой спальне наверху, куда и поднялась Вероника. Джейн изрезала материю — кажется, это была наволочка — и попыталась соорудить головную повязку с бахромой из тряпичных ленточек, чтобы украсить очередную прическу. Дурацкая машинка не желает работать, заявила Джейн, сердито шлепнув ее по металлическому боку, и взглянула на Веронику снизу вверх: яркое лицо в короне торчащих во все стороны острых лучей угольно-черных волос, покрытых для прочности лаком, — целое колючее произведение искусства. От своего отца она унаследовала большие черные глаза, которые густо обводила сурьмой, а от отца Вероники — щедрые красивые губы, накрашенные сейчас блестящей помадой цвета

фуксии. Она казалась крупной, но складной, одновременно пышной и стройной, очень живой — разом и женщина, и капризный ребенок. Вот ведь идиотская иголка, не захватывает нижнюю нитку, говорила Джейн, вхолостую крутя маховое колесо и заставляя жалобно стучать и лязгать все старинные рычаги и шарниры. Все дело тут в натяжении, механизм натяжения напрочь развалился! Она с силой выдернула свою тряпочную конструкцию из-под лапки, за ней из нутра машины потянулась нитка, внутри зажужжал и забился челнок. Верхняя нитка давно лопнула.

Эту швейную машину фирмы «Викерс» подарили матери Вероники на свадьбу в 1930 году, и уже тогда она была подержанная. К Веронике машина попала в шестидесятом, когда родилась старшая сестра Джейн. Вероника шила приданое для ребенка, а себе ночные рубашки — только самые простые вещи, она была портниха невеликая. Мать тоже не слишком много пользовалась ею, хотя в войну машинка очень выручала: мать на ней перелицовывала воротники у рубашек, подворачивала штанины брюк, перешивала жакеты в юбки, строчила мальчикам штаны из старых занавесок. А вот бабушка, мать ее матери, в 1890-х годах шила, а еще она вышивала на

руках: подушечки и ручные полотенца, носовые платки и «дорожки» для комодов.

Джейн теребила себя за ухо, украшенное множеством сережек в виде колечек из золотой проволоки со стеклянными бусинками. Весь регулятор натяжения разломала, призналась она; как теперь его собрать? Это было так похоже на Джейн — без колебаний идти напролом там, где люди поколения Вероники по традиции робели: укрощение машин, жизнь в коммунах, ниспровержение авторитетов. Мир, в котором обитала Джейн, был полон механизмов. Вместо сумочки она носила на улице черный ящичек с ручкой в крышке, со всех сторон ее окружали гирлянды электроприборов: транзистор, фен, магнитофон, щипцы для завивки волос, щипцы для гофрировки. Джейн разломала натяжной механизм старенькой машинки, по всему швейному столику раскатились металлические диски. Особенно ее, судя по всему, раздражала изогнутая тонкая проволока с крючочком для нитки на конце — тем самым, который так упруго и умиротворяюще ходит вверх-вниз, когда машина работает как надо. Она дергала и тянула за этот проволочный крючок, пока не вытащила весь стальной завиток из его законного места, так что теперь

проволока угрожающе торчала, бессмысленно и опасно покачиваясь и указывая в никуда.

* * *

Вероника почувствовала, как в ней поднимается ярость. «Но это же *пружина*, Джейн. Нельзя же…» — начала она и услышала по своему голосу, что сейчас сорвется на отчаянный крик: как ты *могла*?! ну что ты за бесчувственное существо! это же машина моей матери, я ее всю жизнь берегла, ухаживала за ней…

* * *

И внезапно ей припомнились 1950-е и голос ее матери, ее несдерживаемое, бесконечное, обвиняющее: «Как ты *могла*? Как ты только *могла*?!» Перед глазами мелькнула картинка — вот они стоят друг перед другом: мать с несчастным оскорбленным видом, уголки рта привычно опущены, и она сама — студентка, платье клеш на кипенно-белых нижних юбках, кожа гладкая, глаза подкрашены, вся на взводе. А между ними упаковочный ящик, только что доставленный по почте, и в нем радужно-блестящие розовые чашки, все побитые вдребезги. Эти заповедные

чашки ей подарила подруга матери по колледжу — специально по случаю возвращения в тот же колледж в лице нового поколения. Чашки Веронике не понравились. Жуткий розовый цвет и эти блюдца-лепестки — совершенно немодно. Они с друзьями пьют не чай, а растворимый «Нескафе» и не из чашек, а из керамических кружек простой цилиндрической формы и незамысловатых ярких цветов. Скатерть, которую для нее вышила бабушка, она тогда засунула подальше в ящик комода. А теперь вот такую вышитую скатерть, белоснежную и крахмальную, она вспоминала каждый раз, когда снова и снова представляла себе это воображаемое чаепитие. Это началось после смерти матери — такая странная форма оплакивания, навязчивая, но отчасти утешительная. По-другому у нее как-то не получалось. Мать всегда так яростно ненавидела кабалу домашнего хозяйства и злилась из-за этого на своих умных дочерей, этой ловушки во многом избежавших, что искренне скорбеть о ее уходе было невозможно. Когда ее не стало, вокруг просто воцарилась тишина (а при ней бушевала неутихающая буря). Тишина, как в тот день — в любой из дней — в конце 1920-х годов, когда в той залитой летним светом комнате кого-то ждут три девушки.

* * *

Нет, нельзя было обрушить такую же бурю на голову Джейн. Вероника только повторила: «Это пружина, ее нельзя вытягивать», а Джейн примирительно проворчала, что очень даже можно. И они уселись вместе за швейный столик и стали разбираться, что делать с разломанным регулятором натяжения.

Вероника припомнила, как она упаковывала розовые чашки. Что-то у нее тогда случилось, какая-то катастрофа. Она видела, как, не помня себя от отчаяния и горя, она мечется по комнате, в которой жила в колледже, и сил хватает, только чтобы как попало свалить эти несчастные чашки в ящик; и надо бы завернуть их в газету, но газеты нет, а думать, где ее взять, нет никаких сил. В том исступлении судьба чашек казалась совершенно не важной — но в чем была причина расстройства? И не припомнить сейчас. Поссорилась с кавалером? Не получила роль в университетском спектакле? Сказала что-то такое, о чем пожалела? Испугалась, что забеременела? Или тогда на нее внезапно навалилась неясная, но непреодолимая тревога: все бессмысленно, жизнь топчется на месте? Тогда *это* ее пугало — тогда она была

живая. Теперь она боялась гораздо более конкретных вещей: боялась смерти и что ничего не успеет сделать, пока жива. Казалось, между ней сегодняшней и той девушкой, которая в своем непонятном горе упаковывала чашки, нет ничего общего, будто они разные люди, и она наблюдает за ней со стороны, как за тем воображаемым чаепитием.

Вероника ясно помнила, как в колледже она тайком заглянула в ту самую комнату, где когда-то жила ее мать, и заметила два низких кресла и кровать под окном. Вот и в сочиненной ею картине кресла именно с той обивкой, которую она мельком приметила тогда, хотя это, наверное, не соответствует эпохе. Мать так хотела, чтобы она поступила в этот колледж, — а когда она поступила, мать стала ревновать ее к своим студенческим воспоминаниям. Прошлое превратилось в чужое прошлое и оторвалось от настоящего. Это была всего лишь материнская фантазия, что Вероника будет сидеть в тех же креслах, освещенная тем же солнцем, и пить из тех же чашек. А в одну реку дважды войти нельзя. И когда старшая дочь Вероники, сестра Джейн, сама поступила в колледж, Вероника уже знала, что не нужно мешать ей утвердиться там на своем собственном месте,

в своем собственном сегодня.

* * *

Зазвонил телефон. Джейн сказала: это, наверное, Барнаби! — и всю ее сердитую апатию как ветром сдуло. В дверях комнаты она обернулась к Веронике: «Ты прости за машинку. Ее наверняка можно починить. Но вообще-то, ей пора на свалку!» — и поспешила вниз по лестнице к телефону, назад к своей жизни, громко распевая. Голос у нее был отцовский, чистый и сильный, — не то что у Вероники и ее матери, которым не досталось музыкального слуха. А Джейн пела в школьном хоре Реквием Брамса. Вот и сейчас она радостно выпевала: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, каков век мой».[9]

* * *

Три девушки сидят в небольшой комнате. Это не воспоминание, это вымысел. Вероника замечает, что кремовое платье ее матери, работа бабушки, портнихи не очень умелой, сшито с

---

[9] Примечания: 9
Псалом 38, слова 3-й части Немецкого реквиема И. Брамса.

небольшими огрехами: то ли плечико чуть перекошено, то ли манжета посажена неровно, как это бывало со множеством манжет, пуговиц и корсажей в тяжелые времена, когда людям приходилось многое делать самим, — и из-за этого в облике матери есть что-то милое и трогательное. Вторая девушка с короткой стрижкой берет чайник и разливает янтарный чай в розовые чашки. Две чашки и одно блюдце — единственные выжившие после той перевозки — теперь стоят у Вероники на комоде, бесполезные, изысканно-прекрасные. Мать поднимает свою бледную головку, слегка приоткрыв нежный ротик, и вся мысленно устремляется к двери, в которую входят они: молодые люди в блейзерах и широких фланелевых брюках, на шее шарфы с эмблемой колледжа, волосы по моде зачесаны назад, на лицах благовоспитанные улыбки. Особенно отчетливо Вероника видит одного: он улыбается той особенной широкой красивой улыбкой, которая только что мимолетно промелькнула на недовольном смуглом лице Джейн. Миловидное нежное личико блондинки у окна вспыхивает от чистой радости и надежды, почти довольства. Продолжения Вероника никогда не видит, с этого места все начинается заново: кресла, скатерть,

солнечный свет в окне, розовые чашки. Заповедный покой.

Июльский призрак[10]

— Похоже, мне нужно съезжать с квартиры, — сказал он. — У меня проблемы с хозяйкой.

Он так ловко снял у нее со спины зацепившийся за платье длинный светлый волос, что это выглядело просто как проявление заботы. И фокусы с балансированием стакана, тарелки и приборов он до этого тоже очень ловко показывал. На лице его читалось достоинство и страдание, и от этого он был похож на печального сокола. Он ее заинтересовал.

— Какого рода проблемы? Любовные, финансовые, хозяйственные?

— Собственно, ни то, ни другое, ни третье. Нет, не финансовые.

Он внимательно рассматривал волос, оборачивая его вокруг пальца, и не встречался с ней взглядом.

— Не финансовые? Расскажите. Возможно, я подскажу, куда можно переехать. У меня много знакомых.

— Да уж, наверное. — Он застенчиво улыб-

---

[10] Примечания: 10
Перевод О. Петровой

нулся. — Эту проблему описать трудно. Мы там вдвоем. Я обитаю на чердачном этаже. В основном.

Он остановился. Было видно, что он человек сдержанный и замкнутый. Но он что-то рассказывал. Это обычно привлекает.

— В основном? — Она показывала, что ждет продолжения.

— Нет-нет, это совсем не то. Нет… Может быть, мы сядем?

* * *

Они прошли через большую комнату, где толпились гости. День был жаркий. Он остановился, нашел бутылку и наполнил ее бокал. Ему не нужно было спрашивать, что она пьет. Сели рядышком на диван. Ему нравились красные маки, такие яркие на ее изумрудном платье, и ее красивые сандалии. Она приехала на лето в Лондон, чтобы поработать в Британском музее. Конечно, она могла бы и у себя в Аризоне обойтись микрофильмами тех немногих рукописей, которые ей нужны для исследования, но надо было покончить с затянувшимся романом. Есть возраст, в котором, как бы безумно ты ни была счастлива со своим женатым профессором в

украденные у судьбы моменты или дни, нужно либо заставить его уйти, либо бежать самой. Она попробовала и то и другое и теперь полагала, что ей удалось сбежать. Поэтому было так приятно, что на нее сразу же обратили внимание. Проблемы поддаются решению. Она сказала это, откинув длинные светлые волосы и повернув свое нежное личико к его измученному лицу. Все началось год назад, торопливо заговорил он, кстати, тоже на вечеринке; он познакомился с этой женщиной, нынешней хозяйкой квартиры, и, как он теперь понимает, сделал неверный шаг — правда, не сразу. А она повела себя, в общем-то, очень достойно, так что…

Он и тогда сказал: «Похоже, мне нужно съезжать с квартиры». Он был в отчаянии и уже было решил не ходить на вечеринку, но пить в одиночку больше не было сил. Женщина посмотрела на него спокойным изучающим взглядом и спросила: «Почему?» Нельзя же, сказал он, и дальше жить там, где когда-то был безумно счастлив, а теперь так несчастен, — каким бы удобным это место ни было. То есть удобным в смысле работы, друзей и того, что теперь, когда он об этом говорит, кажется бесцветным и несущественным по сравнению с воспоминаниями и надеждой: вот он

открывает дверь, а за ней Энн, смеющаяся, запыхавшаяся, ждущая, что он расскажет ей, о чем он сегодня думал, что читал, что ел, что чувствовал. Та, которую я любил, ушла, сказал он женщине. Он и тут был сдержан, не поддался внезапному порыву, не стал рассказывать о том, как это было неожиданно, как он вернулся домой и нашел лишь конверт на пустом столе, пустые места на книжных полках, на стеллаже с пластинками, в буфете на кухне. Должно быть, это обдумывалось заранее, неделями, она, должно быть, думала об этом, когда он лежал на ней, когда она наливала ему вино, когда… Нет, нет. Злобствовать — это недостойно, а то, что он чувствует сейчас, ниже и хуже, чем гнев: просто обычное детское чувство потери.

— Нельзя же сердиться на жилище, — сказал он.

— Но мы сердимся, — сказала женщина. — Я знаю.

И тогда она предложила ему переехать к ней в качестве квартиранта; сказала, что у нее пропадает уйма свободного места, а муж там почти не бывает. «Нам в последнее время стало не о чем говорить». Он там будет совершенно независим: на чердачном этаже есть и кухня, и ванная комната;

она не будет его беспокоить. А еще есть большой сад. Возможно, это все и решило: жара, центр Лондона, то время года, когда человек готов все отдать за возможность жить не в квартире на верхнем этаже дома где-нибудь на пыльной улице, а в комнате, за окном которой трава и деревья. А если Энн вернется, то дверь будет закрыта, заперта на замок. И он сможет больше не думать о том, что Энн вернется. Это будет решительный шаг — а Энн его считала нерешительным. Он будет жить без Энн.

* * *

В первые несколько недель после переезда он почти не видел той женщины. Они встречались на лестнице, а однажды, жарким воскресным днем, она поднялась к нему и сказала, что он может выходить в сад. Он ответил, что может полоть сорняки и косить траву, и она согласилась. Это было на той неделе, когда вернулся ее муж; он на полной скорости подъехал к парадной двери, вбежал и закричал, остановившись в пустом холле: «Имоджен, Имоджен!» В ответ она — что было так на нее не похоже — истерически закричала. Во внешности ее мужа Ноэля не было ничего, что могло бы вызвать этот крик; услы-

шав его, квартирант посмотрел, перегнувшись через перила, на их поднятые лица и увидел, как на ее лице снова появляется обычное чопорное и невозмутимое выражение. Глядя на Ноэля, лысеющего, с пушком на висках, сутулого, лет тридцати пяти, в потрепанном вельветовом костюме и хлопчатобумажной водолазке, он понял, что теперь может догадаться о ее возрасте, чего он раньше не мог. Она была подтянутая, с длинными стройными ногами, с тусклыми светлыми волосами, уложенными в узел на затылке, и потупленным взглядом. Но слово «мягкая» к ней не подходит. Она извинилась и объяснила, что закричала, потому что Ноэль напугал ее своим неожиданным появлением. Объяснение выглядело вполне убедительно. А таким необычно резким крик, возможно, показался из-за эха в лестничном колодце. И все же Ноэля этот крик очень расстроил.

* * *

В те выходные он старался не мешать им, проходил, бесшумно перешагивая сразу через две ступеньки, и жалел, глядя из окна своей кухни в чудесный заросший сад, что они сидят дома, упуская возможность побыть на летнем солнышке. В

воскресенье ближе к обеду он услышал, как муж, Ноэль, кричит на лестнице.

— Я так больше не смогу, если ты и дальше так будешь. Я сделал все, что мог, я пытался, но ничего не получается. Но тебя же не сдвинешь, ты же даже не пытаешься, ты все продолжаешь и продолжаешь. А у меня ведь и своя жизнь есть, нельзя ее взять и зачеркнуть! Так ведь?

Он снова, крадучись, вышел на темную лестничную площадку и увидел, что она совершенно неподвижно стоит на середине лестницы и смотрит, как Ноэль размахивает руками и рычит — или почти рычит, — как будто она терпеливо ждет, когда эта досадная сцена закончится. Ноэль судорожно сглотнул и всхлипнул. Он поднял к ней лицо и жалобно сказал:

— Ты ведь понимаешь, что я так больше не могу? Я свяжусь с тобой, ладно? Ты, наверное, захочешь… тебе, наверное, будет нужно… ты, наверное…

Она молчала.

— Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня найти.

— Да.

— Ну, вот… — сказал Ноэль и пошел к двери.

Она наблюдала за ним, стоя на лестнице, а когда

дверь закрылась, снова стала подниматься, мимо своей спальни, к его площадке, шаг за шагом, как будто это требовало некоторого усилия; вошла и сказала совершенно естественным тоном, что пусть он, если хочет, выходит в сад и не обращает внимания на семейные скандалы. Она надеется, что он понимает… все так непросто. Ноэля какое-то время не будет. Он журналист и поэтому часто уезжает. И к лучшему. Она ограничилась этим «и к лучшему». Она была очень скупа на слова.

* * *

И он стал выходить в сад. Там было очень приятно: большой уединенный лондонский сад, огороженный стеной, со старыми фруктовыми деревьями в дальнем конце, с колышущимися беспорядочными зарослями буддлеи, с округлыми клумбами старых роз, с лужайкой, густо заросшей многолетним плевелом. За стеной был пустырь с тропинкой, которая шла вдоль всех выходивших на него садов. Когда он собирал и смазывал в сарае газонокосилку, она пришла ему помочь и, стоя на тропинке под яблоней, смотрела, как он для пробы выкосил в ее траве извивающуюся полоску. Из-за стены доносились высокие детские голоса и глухие удары мяча.

Он спросил ее, как поднять лезвия: в технике он разбирался плохо.

— Дети иногда так шумят, — сказала она. — И собаки. Надеюсь, они не будут вам мешать. Здесь не так много безопасных мест, где дети могут играть.

Он искренне сказал ей, что когда он сосредоточен, то посторонних звуков не замечает. Он доведет до ума газон и будет здесь сидеть и читать, много читать, чтобы снова навести в голове порядок, и будет писать статью о поэзии Томаса Гарди, о ее на удивление архаичном языке.

— На самом деле здесь совсем близко дорога, там, с другой стороны, — сказала она. — Место обманчивое. Пустырь — это только иллюзия пространства. Просто клочок земли с зарослями ежевики, дрока и чем-то вроде футбольного поля между двумя скоростными четырехполосными дорогами. Ненавижу лондонские пустыри.

— Но зато дрок и мокрая трава так хорошо пахнут. Хоть и иллюзия, но приятная.

— Иллюзии не бывают приятными, — решительно сказала она и ушла в дом.

Ему было интересно, чем она занимает свое время: если не считать коротких походов в магазины, она, казалось, постоянно была дома. Ему

помнилось, что, когда их знакомили, назвали какую-то ее профессию: что-то связанное с литературой, с преподаванием — как у всех его знакомых. Может быть, в своей комнате с окнами на север она пишет стихи. Он не мог представить себе, на что они могут быть похожи. Как заметил Кингсли Эмис,[11] женщины обычно пишут эмоциональные стихи, пишут лучше, чем мужчины. Но она, несмотря на свое невозмутимое спокойствие, была для этого слишком строгой, слишком ожесточенной — мрачной, что ли. Он вспомнил ее крик. Может быть, она в духе Сильвии Плат[12] воспевает насилие. Впрочем, это тоже маловероятно. Может быть, она внештатный радиожурналист. Он как-то не удосужился спросить кого-нибудь из общих знакомых. За целый год, объяснял он на вечеринке американке, он ни разу ни с кем ее не *обсуждал*. Разумеется, согласилась та как-то неопределенно, но с чувством. Конечно, он не стал бы. Он не вполне понял, почему она так уверена, но продолжал свой рассказ.

---

[11] Примечания: 11

Кингсли Уильям Эмис (1922–1995) — английский прозаик, поэт, критик.

[12] Примечания: 12

Сильвия Плат (1932–1963) — американская поэтесса и писательница.

* * *

За следующие несколько недель они узнали друг друга немного лучше — по крайней мере, настолько, что стали одалживать друг у друга чай, а иногда даже и вместе его пить. Погода становилась все жарче. Он отыскал в сарае старомодный шезлонг с выцветшей парусиной в полоску, почистил его и принес к себе на лужайку; там он немножко писал, немножко читал, время от времени вставая и выдергивая выросший кустик пырея. Он напрасно надеялся, что шум, который поднимают дети, не будет его отвлекать: в сад постоянно вторгались дети самых разных размеров в поисках мячей самых разных размеров, которые падали ему под ноги, влетали в кусты, терялись в густой траве, — черно-белые футбольные мячи, пляжные мячи с красными, желтыми и синими концентрическими кругами, ядовито-желтые теннисные мячи. Дети перелезали через стену: черные лица, коричневые лица, длинные волосы, бритые головы, респектабельные широкополые шляпы в крапинку и армейские камуфляжные кепки известной фирмы. Перелезали они легко, как будто привыкли к этому, — в хлопчатобумажных юбках, джинсах, спортивных шортах, в

сандалиях, в кроссовках, кто-то даже босиком, с грязными загорелыми ногами. Иногда, забравшись на стену и увидев его, они показывали на мяч; пару раз кто-то спросил разрешения. Иногда он кидал им мяч, но при этом умудрялся сбить несколько маленьких, твердых, совсем еще зеленых яблок или груш. В стене, под растущими на границе сада деревьями, была калитка; он попытался ее открыть, но, провозившись со старыми ржавыми болтами, обнаружил, что замок новый и надежный, а ключа в нем нет.

Мальчик, который устроился на дереве, похоже, никакого мяча не искал. Он сидел в развилке ближайшего к калитке дерева, болтая ногами и что-то делая с размочаленным концом веревки, привязанной к ветке, на которой он сидел. На нем были джинсы, кроссовки и яркая тенниска, разноцветные полоски на которой повторяли цвета радуги и были расположены в том же порядке, что, по мнению сидящего на траве мужчины, выглядело очень симпатично. Довольно длинные светлые волосы падали на глаза, закрывая лицо.

— Эй, послушай! Неудачное ты выбрал место. Там сидеть опасно.

Мальчик поднял на него глаза, широко улыбнулся и с ловкостью обезьяны скрылся за стеной.

У него была славная открытая улыбка, дружелюбная, не дерзкая.

На другой день он снова сидел в развилке, откинувшись и скрестив руки. На нем были те же тенниска и джинсы. Мужчина смотрел на него и ждал, что он опять исчезнет, но тот сидел неподвижно и приветливо улыбался, а затем стал смотреть в небо. Мужчина почитал немного, потом поднял голову, увидел, что он все еще там, и сказал:

— Ты что-нибудь потерял?

Мальчик не ответил; немного погодя он спустился пониже, схватившись за ветку, повис на руках, быстро по ней перебрался, спрыгнул на землю и, помахав рукой, привычным путем скрылся за стеной.

Через два дня он лежал на животе на самом краю лужайки, там, где нет тени, на этот раз в белой тенниске с голубыми корабликами и волнами, вытянув на солнышке босые ноги. Он жевал стебелек травы и внимательно изучал землю, как будто смотрел, нет ли там насекомых. Мужчина сказал:

— Привет.

Мальчик поднял голову, встретился с ним взглядом своих синих глаз, обрамленных длин-

ными ресницами, улыбнулся все так же тепло и открыто и снова стал смотреть на землю.

Ему не хотелось рассказывать об этом мальчике, который казался таким безобидным и деликатным. Но когда он встретил его выходящим из двери кухни, заговорил с ним, а мальчик лишь мягко улыбнулся и побежал к стене; он подумал, не нужно ли рассказать об этом хозяйке. И спросил ее, не возражает ли она против того, что дети заходят в сад. Она сказала — нет: детям же нужно искать мячи, на то они и дети. Он не отставал: заходят и остаются, а один даже выходил из дома. Он, похоже, ничего плохого не делал, этот мальчик, но кто знает? Так что пусть она имеет в виду.

Может быть, это кто-то из друзей ее сына, предположила она. Спокойно посмотрела на него и объяснила. Два года назад летом, в июле, ее сын убежал с другими ребятами с пустыря и погиб под машиной. Почти мгновенно, сухо добавила она, словно рассчитывая, что рассказала *достаточно* и в дальнейших вопросах необходимости нет. Он посочувствовал, и ему стало стыдно — хотя стыдиться тут нечего — и несколько досадно, поскольку, ничего не зная о ее сыне, он мог случайно, по неведению сказать что-то, из-за чего

оказался бы в неловком положении.

— Что это был за мальчик, — спросила она, — тот, что выходил из дома? Я не… я не разговариваю с его друзьями. Мне трудно. Может, Тимми или Мартин. Может быть, они что-то потеряли или хотели…

Он описал. Светловолосый, на вид лет десяти — вообще-то, в возрасте детей он разбирается плохо, — синеглазый, худенький, в тенниске с радужными полосками, почти всегда в джинсах — ах да, в таких черных с зеленым кроссовках. Или в другой тенниске — с корабликами и волнами. И с удивительно приятной улыбкой. *Доброй* улыбкой… Очень милый мальчик.

К ее молчанию он привык. Но тут оно все тянулось и тянулось. Она пристально всматривалась в сад. Наконец она произнесла, как всегда четко и спокойно:

— Я хочу одного — единственное, чего я в этой жизни хочу, — увидеть этого мальчика.

Она все так же вглядывалась в сад, и он вместе с ней, пока в пустоте света не начала плясать трава и не начали колебаться кусты. На какое-то мгновение ему передалось ее напряжение от тщетной попытки увидеть мальчика. Потом она вздохнула, села, как всегда, очень аккуратно — и

упала без сознания к его ногам.

После этого она стала многословной — по сравнению с ее обычной манерой. Когда она упала в обморок, он не стал ее трогать, а терпеливо сидел рядом, пока она не зашевелилась и не села. Тогда он принес воды и уже собирался было уйти, как она заговорила:

— Я человек трезвомыслящий и в призраков не верю; я не из тех, кто верит во все, что привидится; я не верю в загробную жизнь и не понимаю, как в нее можно верить; меня всегда устраивала мысль, что жизнь просто заканчивается, что ее как ножом отрезают. Но это я о себе думала; я не думала, что *он* — только не *он*, — я думала, что призраки — это то, что люди *хотят* видеть или боятся увидеть… а после его смерти я больше всего хотела — это звучит глупо — сойти с ума, настолько, чтобы не ждать каждый день, что он сейчас придет из школы, со стуком откроет почтовый ящик, а чтобы мне казалось, что я на самом деле вижу и слышу, как он входит. Я не могу заставить свое тело, свой мозг перестать каждый день, каждый день ждать, а поэтому я не могу отказаться от этой мысли. Его комната — я иногда по ночам захожу туда в надежде, что хоть на мгновение забуду, что его там *нет*, что он не

лежит и не спит там. Я бы, наверное, почти все отдала — все, что угодно, — лишь бы на мгновение снова увидеть его, как когда-то. В пижаме, с взлохмаченными волосами, с этой его… как вы сказали… с такой *улыбкой*.

Когда это произошло, они связались с Ноэлем. Ноэль приехал и громко меня позвал — как на днях, почему я и закричала: потому что это прозвучало так же. А потом сказали, что он мертв, а я спокойно подумала: мертв, настоящее время, *сейчас* мертв, и это «сейчас» будет продолжаться всегда, в любой момент, до скончания времен — постоянное настоящее время. Человеку приходят в голову самые нелепые мысли, я вот подумала о грамматике, о том, что «быть» в конце концов приходит к «быть мертвым»… А потом я вышла в сад и мысленным взором почти что увидела призрак его лица, только глаза и волосы, — он будто бы шел ко мне — все так, как было, когда я каждый день ждала его возвращения; так, как думаешь о своем сыне, с такой радостью, когда он — когда его рядом нет, — и я подумала — нет, я не *увижу* его, потому что он мертв, и я не буду об этом мечтать, потому что он мертв; я буду разумной и трезвомыслящей, я буду жить дальше, потому что нужно, потому что есть Ноэль…

Понимаете, я все восприняла неправильно, я была такая *разумная*, и потом я была так потрясена, я не могла ничего захотеть — я не могла *разговаривать* с Ноэлем, — я… я заставила его забрать, уничтожить все фотографии, я… я не видела снов, можно ведь усилием воли заставить себя не видеть снов… я не ходила на могилу, не носила цветов — какой смысл? Я была так разумна! Только тело мое продолжает ждать, и все, чего оно хочет, — это увидеть того мальчика. *Того* мальчика. Того, которого видели вы.

* * *

Он не стал говорить, что, возможно, видел другого мальчика, хотя бы мальчика, которому потом отдали тенниски и джинсы. Он не стал говорить, хотя это и пришло ему в голову, что он видел своего рода воплощение ее ужасного желания увидеть мальчика там, где на самом деле ничего не было. В том мальчике не было ничего страшного, не было вокруг него ауры боли; память настойчиво подсказывала: это был очень милый, вежливый мальчик, сдержанный, со своими собственными интересами. И почти в тот же миг она сама это предположила: может, он увидел то, что хотела увидеть она, — как будто

смешались радиоволны, как бывает, когда вдруг по радио слышишь переговоры полицейских или нажимаешь кнопку одного телевизионного канала, а включается другой. Она соображала очень быстро и тут же добавила, что, возможно, он стал таким восприимчивым из-за его собственной потери, потери — Энн, недаром она поняла, что сможет вынести его присутствие в своем доме, и это, можно сказать… сблизило их настолько, что их волны смешались…

— Вы хотите сказать, — спросил он, — что у нас есть некий общий эмоциональный вакуум, который должен быть заполнен?

— Что-то вроде того, — сказала она и добавила: — Но в призраков я не верю.

Энн, подумал он, не может быть призраком: она сейчас где-то в другом месте, с кем-то другим и делает для того, другого, то, что она раньше так радостно делала для него, — готовит вкусный ужин, помогает с работой, неожиданно ставит на стол вазу с необычными цветами или дарит новые яркие рубашки, которые совсем не соответствуют его сдержанному вкусу, но оказываются подходящими, да, подходящими… В каком-то смысле потеря Энн была хуже, она отсутствовала сознательно, и это отсутствие любить нельзя,

потому что любовь кончилась — для Энн.

— Вы, наверно, больше его не увидите, — сказала она. — Мы поговорили, и теперь этому… смешению волн наступит конец — если это и правда было такое смешение. Ведь так? Но… если… если он вдруг придет снова, — и тут у нее в первый раз появились слезы, — если… Обещайте мне, что *расскажете*. Обещайте!

* * *

Он пообещал почти без колебаний, поскольку был уверен, что она права, что мальчик больше не появится. Но на другой день он снова был на лужайке, ближе, чем обычно; он сидел на траве рядом с шезлонгом, обхватив руками свои теплые загорелые колени, и его густые светлые волосы блестели на солнце. На этот раз на нем была футболка с символикой «Челси». Садясь в шезлонг, мужчина мог бы протянуть руку и дотронуться до него, но не стал: такой жест казался совершенно невозможным. А мальчик посмотрел на него и улыбнулся как-то по-приятельски, как будто теперь они очень хорошо понимали друг друга. Мужчина попробовал заговорить. Он произнес: «Рад тебя снова видеть», и мальчик понимающе кивнул, хотя сам ничего не сказал. Это было

началом общения — по крайней мере, того, что мужчина посчитал общением. Ему не пришло в голову позвать женщину. Он почувствовал, что каким-то странным образом *рад присутствию мальчика*. Мальчик держался очень мило и был почти неподвижен — все утро сидел там, иногда откидываясь на траву, иногда задумчиво глядя на дом, и в этом было что-то успокаивающее и приятное. Мужчина хорошо поработал: написал страницы три вполне разумного текста о стихотворении Гарди «Голос», отрываясь время от времени посмотреть, там ли мальчик и хорошо ли ему.

* * *

В тот вечер он пошел к женщине все рассказать — ведь он же, в конце концов, обещал. Она явно его ждала и надеялась — от ее неестественного спокойствия не осталось и следа, она взволнованно ходила из угла в угол, темные глаза ввалились. Рассказывая все это сочувственно слушающей его американке, он на этом месте посчитал нужным подредактировать рассказ, кое-что выпустить, — он, собственно, поступал так и раньше. Сказал только, что мальчик «выглядел как» погибший сын женщины, и дальше

уже его как действующее лицо своей истории не упоминал; в результате рассказ, который услышала американка, был о том, как он сам все больше вживался в ее одинокое горе, как две их потери слились в двойной психоз, от которого он никак не мог освободиться. Дальше излагается не то, что он рассказал американке, хотя, наверное, понятно, в каких моментах отредактированная версия совпадает с тем, что, как ему казалось, произошло в действительности. У него было безотчетное поначалу чувство, что про мальчика лучше не говорить — не потому, что ему не поверят (это пустяки), а потому, что может случиться что-то ужасное.

— Он все утро сидел на лужайке. В футболке.

— «Челси»?

— «Челси».

— Что он делал? Он выглядит довольным? Что-нибудь говорил? — Ее желание знать было ужасным.

— Нет, не говорил. Он почти не двигался. А выглядел… очень спокойным. Сидел долго.

— Ужасно. Нелепо. Ведь *нет же никакого мальчика.*

— Нет. Но я его видел.

— Почему вы?

— Не знаю. — Пауза. — Он мне очень *нравится*.
— Он очень… он был очень славный мальчик.

* * *

Через несколько дней он увидел, как мальчик вечером бежит по лестничной площадке то ли в пижаме, махровой, с павлинами, то ли в тренировочном костюме. В пижаме, уверенно сказала женщина, когда он ей об этом рассказал. В своей новой пижаме. С белыми манжетами в рубчик, да? И с белым воротником, как у водолазки? Он подтвердил это, глядя, как она плачет — а она теперь легко начинала плакать, — и обнаружил, что ему очень трудно выносить ее тревогу и беспокойство. Но ему не приходило в голову, что можно нарушить свое обещание и не рассказывать ей о том, что он видел мальчика. Это было еще одно странное повеление какой-то неведомой силы.

Они заговорили об одежде. Если призраки существуют, как они могут появляться в одежде, которую давно сожгли, которая истлела или которую сносили другие люди? Можно представить себе, признали они, что от человека на какое-то время что-то остается, — полагают же жители Тибета, да и другие тоже, что душа, прежде чем

отправиться в свой долгий путь, какое-то время остается возле тела. Но одежда? Причем одежда разная. Наверное, я вижу ваши воспоминания, сказал он; она энергично закивала, сжав губы, согласилась и добавила:

— Я сойти с ума не могу, я слишком трезвомыслящая, и все передается вам.

Он попробовал пошутить:

— Не очень-то любезно намекать, что мне сойти с ума проще.

— Нет. Дело в восприимчивости. Я нечувствительна. Я всегда в какой-то степени была такой, а тут стало еще хуже. Если призрак захочет мне явиться, я его точно не увижу.

— Мы же решили, что я вижу ваши воспоминания.

— Да, решили. Это разумное объяснение. В нынешних обстоятельствах — самое разумное.

* * *

И все же блеск синих глаз мальчика, его приветственный жест и сдержанная улыбка на следующее утро никак не походили на чьи-то мучительные воспоминания о былом счастье. На этот раз мужчина заговорил с ним напрямую:

— Тебе что-нибудь нужно? Ты чего-то хочешь?

Могу я чем-нибудь тебе помочь?

Мальчик, наклонив голову, словно ему было плохо слышно, казалось, немного подумал. А потом несколько раз кивнул, быстро, как будто дело не терпело отлагательств, повернулся и побежал в дом, оглядываясь, чтобы убедиться, что мужчина идет за ним. Вбежав в гостиную, мальчик на мгновение остановился посредине, и, быстро войдя вслед за ним через застекленную дверь, мужчина тоже остановился. После яркого света глаза не сразу привыкли к полумраку. Женщина сидела в кресле, глядя в пустоту. Она часто так сидела. Она подняла голову и посмотрела сквозь мальчика на мужчину. На лице мальчика в первый раз отразилось беспокойство, он снова встретился с мужчиной взглядом, в котором читался вопрос, и бросился из гостиной.

— Что такое? Что такое? Вы снова его видели? Почему вы…

— Он сюда приходил. И вышел — через дверь.

— Я не видела.

— Значит, нет.

— А он — ох, это так *глупо,* — он-то меня видел?

Он не помнил. Сказал только то, в чем был уверен:

— Это он меня сюда привел.

— Ну, что делать, что мне *делать*? Убить себя — я думала об этом, — но что тогда я буду с ним — это же самообман, и я… Эта нелепость — ведь только благодаря ей я и чувствую, что он рядом, и оказаться ближе нам уже не дано. Он был *здесь, со мной*?

— Да.

И снова она заплакала. А он видел, как мальчик в саду ловко раскачивается на ветке яблони.

* * *

Оглядываясь назад, он не мог с уверенностью сказать, когда он, казалось, понял, чего от него хочет мальчик. И, рассказывая свою историю на вечеринке, он больше всего отредактировал, сократил именно эту часть — хотя в каком-то смысле он сделал прямо обратное. Из его рассказа следовало, будто он пришел к выводу, что этого хотела сама женщина, хотя на самом деле все говорило о том, что у нее не было других желаний, кроме желания увидеть мальчика, как утверждала она сама. Мальчик появлялся смелее и чаще, несколько вечеров подряд, на лестничной площадке; он входил в ванные, в спальни, выходил из них, возбужденный, взволнованный, как будто

даже что-то искал, пока до мужчины не дошло: он хочет, чтобы его возродили, чтобы мужчина дал его матери другого ребенка, в котором он мог бы спокойно раствориться. Мысль такая внятная, что похожа еще на одно повеление, хотя ему недоставало мужества попросить мальчика ее подтвердить. Может быть, он сдержался из деликатности — мальчик слишком мал, чтобы говорить с ним о сексе. Может быть, имелись другие причины. Может быть, он ошибался; эта история доводила его до истерики, он чувствовал, что нужно что-то сделать, что выход есть. Нельзя же всю оставшуюся часть лета, всю оставшуюся жизнь описывать несуществующие тенниски и светловолосые улыбки.

* * *

Он не мог придумать, как разумно подойти к этому делу, поэтому в конце концов просто однажды ночью пришел к ней в спальню. Она лежала и читала; когда он вошел, она инстинктивно попыталась спрятать — не обнаженные руки или шею, а книгу. Она, похоже, очень удивилась, увидев его у себя в спальне, в пижаме, а когда к ней вернулось обычное хладнокровие, решительно достала книгу и положила на одеяло.

— Мое новое пристрастие к недозволенной литературе. Храню в ящике под кроватью.

«Эна Твигг. Медиум». «Бесконечный рой». «Мир духов». «Есть ли жизнь после смерти?»

— Грустно, — констатировала она.

Он осторожно сел на кровать.

— Ну, пожалуйста, не убивайся так. Ну, пожалуйста. Как бы тебя утешить?

Он обнял ее. Она содрогнулась. Он прижал ее крепче. Спросил, почему у нее был только один ребенок, и она, похоже, поняла смысл его вопроса, потому что неловко и безучастно подалась к нему, явно уступая.

— Никаких особых причин, — заверила она, — никакой физиологии. Просто профессия мужа и отсутствие склонности, вот и все.

— Может быть, если бы ты как-то утешилась, может, была бы надежда, вдруг…

Значит, это чтобы утешиться, печально сказала она, потом откинулась, резким движением сбросив с кровати книжку, и осталась спокойно лежать. Он лег рядом, обнял ее, поцеловал холодную щеку, подумал про Энн, про то, чему уже не суждено быть. Послушай, сказал он ей, ты должна жить, попытайся жить; давай утешим друг друга.

— Не надо ничего говорить, — прошипела она сквозь стиснутые зубы; и он стал легонько ее гладить поверх ночной рубашки — груди, ягодицы, длинные напряженные ноги, сложенные, как у лежащей статуи на надгробии Елизаветинской эпохи.

Она не противилась; она задрожала, сначала слегка, потом сильно; он принял это за признак удовольствия, смешанного с болью: к камню возвращается жизнь. Положил руку между ее ног, и она неуклюже их раздвинула; он тяжело навалился и безуспешно попытался войти. Она была зажата сильнейшим спазмом. Это уже даже не фригидность, мрачно подумал он. *Rigor mortis*, подсказало ему сознание, *трупное окоченение*, — и тут она закричала.

Он почему-то рассердился. Вскочил и довольно грубо бросил: «Замолчи!» А потом — сердито: «Прости». Она перестала кричать так же внезапно, как и начала, и объяснила, как всегда намеренно немногословно:

— Секс и смерть — они несовместимы. Дать волю чувствам — этого я позволить себе не могу. Я надеялась. На то же, на что и ты. Зря мы это. Извини.

— Ничего, — сказал он и снова выбежал на

площадку, испытывая неуместную и чуть не до слез сильную тоску по теплой, милой Энн.

* * *

Мальчик был на площадке. Ждал. Когда мужчина его увидел, тот посмотрел вопросительно, а потом отвернулся к стенке и, сжавшись, сгорбившись, прислонился к ней; волосы мешали увидеть выражение его лица. Между женщиной и ребенком было сходство. Мужчина впервые почувствовал к мальчику чуть ли не злобу, а потом — нечто другое.

— Послушай, мне очень жаль. Я пытался. Я правда пытался. Пожалуйста, повернись.

Непреклонный, напряженный, зажатый вид сзади.

— Ну, ладно, — сказал мужчина и пошел в свою комнату.

* * *

Так что теперь, сказал он американке на вечеринке, я чувствую себя глупо, неловко, чувствую, что мы не помогаем друг другу, а друг друга раним, чувствую, что это не спасение. Конечно, сказала она, и вы, конечно, правы — на какое-то

время это было необходимо, это вам обоим помогло, но вам же нужно жить своей жизнью. Да, сказал он, я сделал все, что мог, я пытался, но у меня ничего не получается. А у меня ведь должна быть своя жизнь. Послушайте, сказала она, я хочу вам помочь, правда; у меня есть замечательные друзья — те, у которых я сейчас снимаю квартиру; приезжайте, всего на несколько дней, просто передохнуть, а? Они очень чуткие люди, они вам понравятся, мне они нравятся, а вы могли бы привести свои чувства в порядок. Она, возможно, будет рада, если вы уедете, ей, должно быть, так же плохо, как вам; ей ведь в конце концов придется самой, по-своему приспособиться к своему положению. Нам всем приходится.

Он обещал подумать. Он знал, что с самого начала решил все рассказать этой отзывчивой американке, потому что чувствовал, что она будет — что она предложит — какой-то выход. А выход ему нужен. Он проводил ее с вечеринки до дома и, не зайдя к ней, вернулся к себе и к своей квартирной хозяйке. Они оба знали, что такая сдержанность таит в себе обещание: не зашел, потому что собирается прийти позже. Теплота и готовность, с которой она откликнулась, были как солнечный свет; она была такой открытой!

Он не знал, что сказать той женщине.

* * *

Собственно, она сама ему помогла, спросив по-деловому: возможно, ему теперь оставаться неловко? Он ответил, что, кажется, ему и правда лучше съехать, от него так мало пользы… Прекрасно, согласилась она и решительно добавила, что всем будет лучше, если «все это» кончится. Он вспомнил, как уверенно она сказала, что иллюзии приятными не бывают. Сильная она: настолько сильная, что сама от этого страдает. Это окаменение, только и помогавшее выжить, не пройдет еще много лет. Но это уже его не касается. Он уедет. И все равно на душе было скверно.

* * *

Он достал чемоданы и положил в них кое-какие вещи. Нервничая, он пошел в сад и убрал шезлонг. Сад был пуст. За стеной голосов не было. Тишина стояла густая и гнетущая. Он знал, что больше не увидит мальчика, и подумал — а кто-нибудь другой увидит? Или теперь, когда он уедет, уже никто не будет описывать тенниску, сандалии, улыбку — виденные, существующие

как воспоминание или как надежда. Он медленно вернулся в свою комнату.

* * *

Мальчик сидел на его чемодане, скрестив на груди руки; лицо его было серьезным и хмурым. Встретившись взглядом с мужчиной, он долго не отводил глаз, а потом мужчина присел на кровать. Мальчик не двигался. Мужчина услышал собственный голос:

— Ты же понимаешь, что я должен уехать? Я пытался что-то сделать, но не получается. От меня тебе толку нет, так ведь?

Мальчик думал, сидя неподвижно и склонив голову набок. Мужчина встал и подошел к нему:

— Пожалуйста. Отпусти меня. Кто мы здесь, в этом доме? Мужчина, женщина и ребенок, и ничего у нас не получается. Тебе ведь не это нужно?

Он подошел поближе — подойти вплотную не осмелился. Хотелось протянуть руку: она либо коснется мальчика, либо пройдет сквозь него. Но обнаружить, что никакого мальчика нет, было выше его сил. Поэтому он остановился и повторил:

— Ну не получается у меня. Ты хочешь, чтобы

я остался?

Он беспомощно замер, а мальчик после этих слов поднял голову и снова взглянул на него с сияющей, открытой, доверчивой, прекрасной, желанной улыбкой.

Ближняя комната[13]

Катафалк с открытыми окнами стоял на посыпанной щебнем площадке. Перед ним двое молодых людей в рубашках с аккуратно закатанными рукавами нежились на солнце. Имели полное право: погода изумительная, когда-то еще так славно пожаришься, если это слово здесь уместно. Выходя из темной часовни на яркий свет, Джоанна Хоуп сощурилась, слез не было; на молодых людей она взглянула с одобрением. Видно, что следят за собой: подтянутые, приятные, *живые*. Ее мать они доставили сюда в целости и сохранности, а везти ее куда-либо еще от них не требовалось. Нужно дождаться дыма, сказала миссис Стиллингфлит, тронув Джоанну сзади за рукав. У миссис Стиллингфлит глаза были мокрые, припухшие, но она уже не плакала. Позади нее стояли сиделка Доуз и священник, оба всем своим видом выражали скорбь, у обоих в глазах — ни слезинки. А больше никто не пришел.

«Дыма? — эхом повторила Джоанна, не сразу поняв, к чему это, но потом, сообразив, согласи-

---

[13] Примечания: 13
Перевод М. Талачёвой

лась: — Да-да, дыма». Мемориальный сад манил, простираясь вдаль в ярком свете, недвижный под сенью нависающих арками ветвей, в сиянии роз, малиновых, золотистых и белых. Она выбрала сорт «пинк перпету», чтобы почтить память матери, розовый цвет той всегда очень нравился; каких-то десять минут назад миссис Хоуп лежала в обитом атласом гробу, одетая в мягкую розовую сорочку, которую дочь привезла ей из Гонконга (мать подарок берегла и не носила). Джоанна взглянула в небо над дымоходом; дымоход был кирпичный, 1920-х годов и чем-то напоминал мирную трубу деревенского дома. Небо пылало синевой, а воздух взбегал вверх тонкими струйками, некстати напоминая Джоанне о североафриканской пустыне, где так же тихо вскипал зной и где она когда-то сидела часами в джипе, записывая всех, кто изредка шествовал или проезжал мимо: шесть верблюдов, два мула, три грузовика, две легковушки повышенной проходимости, шестнадцать навьюченных женщин; она сжимает папку-планшет, рядом рука Майка: золотистые волоски и пот вокруг парусинового ремешка его часов… Тем временем дым, густой, кремовый, начал окрашивать все еще струящуюся синеву. Джоанне показалось, что в нем видны

мелкие черные кусочки, как будто остатки сгоревшей бумаги. Дрожь пробежала по ее телу, и решительно, хотя и не без стыда, она дала этому ощущению имя. Эйфория. Она охватывала Джоанну время от времени, из раза в раз все сильнее и сильнее, с того самого момента, как сиделка пришла к ней почти на рассвете с печальной вестью. Теперь ее мать превратилась в свободный углерод и поташ. Всё кончено. Послушная дочернему долгу, Джоанна отдала ей бóльшую часть своей жизни, в ответ получая то благодарность, то упреки. И вот — всё. Всё кончено. «Она ушла в лучший мир, я знаю», — сказала миссис Стиллингфлит, глядя на безмолвные аллеи роз. «Упокоилась с миром», — согласилась Джоанна, не желая возражать, хотя и была абсолютно убеждена, что никакого *лучшего* мира нет, что конец — это конец. Да и сама миссис Стиллингфлит, которая с почти ангельским терпением сносила от покойницы насмешки, издевательства и оскорбления, наверняка была бы рада так думать, рассудила Джоанна. Она уже сообщила миссис Стиллингфлит, что миссис Хоуп оставила ей пятьсот фунтов стерлингов, хотя это было не так; Молли в свое время съязвила в ответ на подобное предложение дочери: Стиллингфлит и зарплату-

то свою, весьма щедрую, едва ли заслуживает, а уж получить круглую сумму после моей смерти — нет и еще раз нет. Без миссис Стиллингфлит, а под конец и без сиделки Доуз Джоанне пришлось бы тяжко. Все эти годы, пока Молли болела, Джоанну не увольняли с работы, из журнала «Обозрение экономического развития»; не настаивали они — надо отдать им должное — и на заграничных командировках, полевых исследованиях. Она освоила компьютер и обрабатывала статистику, которую собирали другие. Увязывала все воедино. И теперь наконец — как она и хотела, когда выбирала профессию, — перед ней открылся весь мир. Вот только ей уже пятьдесят девять.

* * *

В доме, который стал ее домом, еще везде чувствовалось присутствие матери. Раздастся тихий шум, шорох или дребезжание, и Джоанна тут же ловит себя на мысли: это мать поставила чашки на русский металлический поднос или передвигает стаканы для зубных щеток в ванной. Она зашла в свою собственную спальню, комнату, где жила, когда только начинала работать в «Обозрении», а отец в ту пору вдруг ни с того ни с сего ушел из Министерства обороны. Из зеркала

на нее спокойно смотрели ее же глаза. Довольно симпатичная, высокая, худощавая женщина в шелковом плиссированном платье, темно-синем в белую крапинку, аккуратно постриженные волосы густо пронизаны сединой. Комната выходила окнами на север, на дорогу. Родительская спальня и комната на первом этаже — поначалу в ней завтракали, а потом здесь поселилась мать — смотрели на юг, в сад, — из-за этого сада дом и был куплен. Я продам дом, подумала она, осматриваясь в безопасной глубине этой, надо сказать, холодной комнаты. И начну все сначала. Торопиться не буду, сперва все хорошо обдумаю. Комната какая-то безликая, на окнах — гардины из шелка, темно-зеленые. Скрипнула лестница, хотя на нее никто не ступал. Джоанна прошлась и по всем остальным, пустым комнатам. И везде ей казалось, что мать где-то рядом, хотя было ясно, что ее уже нет. Сильнее всего присутствие Молли ощущалось в гардеробной: тут и там под пастельным кримпленом миниатюрных платьев как будто просматривалась все более худая, костлявая фигурка миссис Хоуп. В глубине, в темноте Джоанна разглядела непромокаемый плащ отца и его садовую куртку. Он умер двенадцать лет назад. На полке пылилась его твидовая шляпа,

бледно-голубая в елочку. Бóльшую часть вещей отца за эти годы Джоанна отдала собственноручно: складывала темные костюмы в черные мешки для мусора и везла в Армию спасения. Такие костюмы приходились особенно кстати. В них безработные выглядели прилично на собеседованиях, кому-то, наверное, даже удавалось получить работу. Джоанна никогда не понимала, как могла Молли так спокойно жить среди вещей, когда-то принадлежавших Дональду. Его опустевшую кровать, рядом со своей, мать так и не вынесла: лежала ночью под светом своей лампы с бахромой и клипсой, пила — порой брюзжа, порой благостно — успокоительное «Бенджерз фуд»,[14] разведенное Джоанной в молоке, а по соседству, под покрывалом из переливчатого шелка, проступали прямоугольные контуры отцовского матраса, и была такая же настольная лампа с выключателем в форме яйца на шнуре, потушенная.

Теперь пусты обе эти кровати, а заодно и та, на которой Молли спала в последние годы, внизу, в самой симпатичной комнате с эркером, выходящим на лужайку. Весной эркер был увит

[14] Примечания: 14

Порошок, который растворяют в теплом молоке и принимают на ночь пожилые люди в качестве успокоительного средства.

длинными плетями глициний, а летом вокруг него расцветал жасмин. Материн пеньюар так и лежал в ногах кровати, рядом все еще тикал будильник. В порыве скорби и безудержного желания убрать все это с глаз Джоанна бросила и то и другое в плетеную тростниковую корзину для белья, бледно-зеленую, отделанную тесьмой. Часы проклохтали в знак протеста, и она почувствовала не стесненную чужой сердитой волей свободу, как будто теперь она могла прыгать в этой комнате через скакалку, или прокричать что-то, или покружиться — и никто ее не услышит и не заругает. В корзину отправилась и щетка для волос. Было что-то зловещее и одновременно трогательное в последних седых волосках, поблескивавших среди толстых натуральных щетинок. Она вслушалась в тишину пустой комнаты. За окном, на лужайке, протрещал дрозд. Джоанна стояла в эркере и смотрела, как он выхаживает с деловито-нахальным видом, поглядывая по сторонам. Лужайка пестрела белыми маргаритками и розовыми лепестками, которые совсем недавно благоухали на плетистых розах, увивающих перголу. В саду все цвело в лучах летнего солнца. Под этими розами они с матерью и развеяли прах отца — развеяли молча,

так и не сойдясь во мнениях по поводу «садового украшательства». Молли перголу не одобряла, называла ее «отцовской причудой». Слишком она была большой и чересчур выдавалась там, где стояла, в этом мать была права. Но отец любил перголу, любил розы «альбертин», «мадам альфред каррье» и «мадам грегуар стэшлен». Джоанне нравилось думать, что теперь он, возможно, слился в единое целое с этой растительной красотой, с чудесными розами, которые взбирались по деревянной арке, и спускались к земле, и дышали. Отца она не очень хорошо знала и совсем не понимала: он виделся ей через разочарование, осуждение, гнев и отвращение Молли. Теперь, стоя в пустой комнате матери, она смотрела из окна на его перголу и вспоминала о нем мирно.

Джоанна собрала себе на подносе подобие ужина, намереваясь посидеть с хорошей книгой, без телевизора, — в последние годы мать, а заодно с ней и дочь жили под все возрастающим игом длинных сериалов, которые Молли вначале называла плебейскими и на которых потом, нежданно-негаданно, просто помешалась. «Даллас», «Династия», «Жители Ист-Энда», «На краю тьмы». К сериалам примкнули и спортивные трансляции: Уимблдонский турнир, чемпиона-

ты мира по снукеру и по футболу. Давай позже, дорогая, сейчас начнется мой сериал. Непременно «мой», как будто телекомпании составляли программу в первую очередь исходя из интересов миссис Хоуп. Матовый, серый, потухший экран острее всего напоминал о том, что матери здесь нет и больше не будет: в нем отражалась мебель родительской гостиной, как будто слегка раздувшаяся, и смутно различимая фотография маленькой Джоанны. Я продам дом, вновь сказала она себе, разбивая ложечкой скорлупу яйца. Как можно скорее, но сперва разберусь, чего теперь хочу от жизни. Обдумаю все спокойно, чтобы не наделать глупостей. В экране отражался особый мешок для рукоделия, в котором Молли хранила спицы и пряжу, гобеленовый, с деревянными ручками. Смотреть на него было невыносимо. Джоанна встала, на середине яйца, убрала мешок в ящик письменного стола и опять села на место. Куда же деть недовязанный пестрый пуловер с безумно сложным узором?

Ловя себя на мыслях о матери, Джоанна вдруг поняла, что воспринимает ее отсутствие двояким образом. Во-первых, она ждала, что та вот-вот войдет, либо воинственно настроенная, либо в облаке самоиронии, сядет в свое кресло и нач-

нется: сходи за тем, убери то. От этого ожидания, уже почти не причинявшего неудобств, Джоанне становилось немного не по себе: ведь мать уже никогда не придет; это был автоматизм, который не выключался ни усилием воли, ни доводом разума. Во-вторых, думая о матери, Джоанна припоминала многое, очень многое; потом в мыслях Джоанны эти памятные клочки обретут форму коллажа. Подобный коллаж был у нее и в школе для девочек, во все долгие и нудные годы обучения; картинки, как в комиксе, цветные заплатки — она будто выреза́ла их в уме ножницами, нескладно составляла друг с другом, внахлест или со щелями, и под всем этим как бы подписывала: «Моя мать». На самом деле коллаж не имел ничего или почти ничего общего с живым человеком в тапочках, который больше не будет семенить между Клиффом Торбурном[15] и тостером, не возьмет спицы и не будет считать петли. В школьные годы Джоанны ее коллажная мать, как большинство матерей других учениц, носила вычурные, несуразные шляпки. Она навсегда застыла, как карающий ангел, в дверях детской, когда пятьдесят четыре года назад

[15] Примечания: 15

Клифф Торбурн (р. 1948) — канадский профессиональный игрок в снукер.

ругала дочь за испачканный красками ковер. В коллаже был и утешительный уголок: мать стояла на кухне с деревянной ложкой в руках, капала кошениль в сахарную глазурь для именинного торта — торты ей особенно удавались и нравилось радовать дочь. Джоанна принялась поворачивать коллаж, как калейдоскоп, и перед глазами вдруг предстали острые углы, зазубрины — длинными мерцающими вечерами, сидя в одной комнате с матерью, она никогда бы не решилась на них взглянуть: как бы Молли не подсмотрела что-то, не подслушала ее мысли. Многое было связано с ушедшим отцом, который уходить начал задолго до того, как действительно задохнулся и умер. Из-за преждевременной — назовем это так — добровольной отставки он находился дома безвылазно, но жизнь его будто съежилась, ограничилась территорией Молли, задворками сада, костром и компостной кучей, борьбой со снытью, которая лезла от соседей. Молли всегда многого ждала, требовала от жизни, но не получила и постоянно твердила о своем разочаровании. Джоанна не могла и теперь уже не сможет с уверенностью сказать, *чего же* ее мать хотела: скорее всего, не ставя перед собой личных целей, просто желала состояться при

ком-то, быть женой влиятельного и преуспевающего человека. (Жизнь самой Джоанны, ее «благотворительная работа в нищих странах» воспринимались матерью как прямая противоположность ее, Молли, устремлениям.) Иногда Джоанна даже думала, что мать вышла за отца просто потому, что он был ближайшая для нее ступенька хоть к какому-то влиянию и успеху. Он был умен, застенчив, церемонен; для дочери мелкой почтовой чиновницы — завидная партия. Отец мог дослужиться до замминистра или даже выше. Он никогда не говорил о службе, а потом вдруг неприятность, «глупая история, в которую влип твой отец», — что там случилось, Джоанна так и не узнала, — и его карьера оборвалась.

Он заболел почти сразу, и года не прошло. Заболел изнуряющей болезнью. Однажды Джоанна услышала, как он произнес, стоя в оранжерее: «Я долгое время проводил без пользы, зато и время провело меня»,[16] но обращался он не к ней, а к своим лилиям. Он и Молли ничего не говорил, она же ему многое высказывала; и Джоанна всегда с горечью сознавала, что ее саму отец воспринимал как продолжение жены. У него были тонкие,

---

[16] Примечания: 16

Шекспир У. Ричард II. Акт 5, сц. 5. Перев. М. Донского.

похожие на паутину, седые волосы, которые он, когда работал, приглаживал наспех водой. Когда силы стали его покидать, он совсем поседел, лицо сделалось худым, мертвенно-бледным, покрылось длинными, тонкими нисходящими складками и бороздками и, съеживаясь все сильнее, превратилось в перекрестье морщин. Глаза у него всегда были бледные, серые, как дым. Так он и бродил среди дыма от разведенных им костров, в сером пуловере с треугольным вырезом, захватывая все меньше и меньше веток и сорняков, серый, как привидение. К большому удивлению Джоанны, прах, который она развеивала над корнями «мадам альфред каррье», оказался кремово-белым.

Медленное угасание отца, а точнее, то, как обращалась с ним Молли в то время, отразилось в коллаже. Вот после судьбоносного разговора с врачом она объявляет: «В общем ничего страшного: просто ему нужно собраться с духом, и все наладится». А вот мать раздражается от одного его присутствия, что бы он ни делал, — ей все не по нраву. Давно, когда Джоанна была еще маленькой, он повадился по вечерам выпивать кружку пива. Молли этого не одобряла, говорила, что запах ей противен, мол, ее от него тошнит.

(Джоанне запах пива тоже не нравился, поэтому в споре она соблюдала холодный нейтралитет.) Не успевал отец допить, как Молли выхватывала у него кружку — в пенной бахроме на ее краю еще шипел воздух — и бежала мыть ее и долго терла, поджав губы. А после она обращала внимание Джоанны на каждую, даже малейшую отрыжку отца. Папин животик все время ворчит. Издает ужасные звуки. Все из-за этого пива. Фу, гадость. И так изо дня в день, даже в последние его годы, когда организм его начинал отказывать и скромные отрыжки стали неизбежны, она громко высказывала отвращение, даже не дожидаясь, пока отец выйдет из комнаты. А он как будто не слышал; пиво пить он перестал много лет назад. Спор по поводу растений был тяжелее и длился дольше. Отец обожал растения, умел с ними обращаться. В оранжерее цвели, источая тонкие запахи, разные экзотические виды. Дай ему волю, каждый подоконник утопал бы в зелени, каждый стол издавал бы свой собственный аромат. Он вносил цветы из оранжереи в дом осторожно, по одному или по два, а Молли решительно, быстро водворяла незваных гостей в их законное обиталище, нередко пристраивая ненадежно на краю полки, ломая нежные ростки. «В земле

полно заразы, — говорила она. — Ты же знаешь. Всему свое место». Из-за двойных стекол на подоконниках воздуха им не хватало. Коллажная мать Джоанны размахивала цветочным горшком, лицо ее пылало от гнева. Но не все было так однозначно. После смерти Дональда она — хотя такого необычайного поворота ничто не предвещало — сама ухаживала за растениями, неумело, но усердно, спасала что могла, размножала отводками и черенками. Гордостью мужа была коллекция рождественников,[17] которые цвели зимой: на концах мясистых отростков ненадолго распускались яркие цветы. Он вывел новый их сорт и спросил жену, как его назвать: «молли хоуп» или «миссис дональд хоуп». Молли ответила, что ей до этого нет никакого дела. Растение с лососево-розовыми, яркими цветами получило в итоге название «джоанна хоуп» и теперь стояло, во множестве экземпляров разного возраста и величины, на подоконниках и подставках по всему дому. Даже в комнате Молли.

Больше всего кусочков в коллаже из образов матери было связано с болезнями. Отца окончательно приковало к постели, когда Джоанна была

[17] Примечания: 17

Другое название — зигокактус, декабрист или шлюмбергера; кактус без колючек, который не переносит жару и очень любит влагу.

в последней своей поездке по Африке. Достаточно долго Молли, несмотря ни на что, проявляла стойкость, была поддержкой и опорой, которой восхищались и которой доверяли врачи и соседи, готова была делать все, что нужно. Когда Джоанна вернулась, мать начала разваливаться прямо на глазах. Давление — «Я *чувствовала*, что оно не такое, как всегда, дорогая, но, когда доктор Хайет объяснил, *насколько* все плохо, я просто пришла в ужас. Я слишком усердно ухаживала за твоим бедным отцом, это не могло не сказаться». Сильное сердцебиение, синеющие губы, немеющие плечи, вялость в ногах и в довершение обморок — она упала прямо к ногам Джоанны, когда та собиралась сообщить, что отправляется в Бирму изучать перспективы местного дорожного хозяйства. Нам уже немного осталось, заявила тогда, двадцать лет назад, Молли, выпрастывая дрожащую руку из-под трикотажной ночной кофточки. Знаю, что многого прошу, но это ненадолго, а потом ты будешь свободна как ветер. Болезни были ненадуманные: Джоанна узнавала у врачей. Они придавали Молли Хоуп безмятежность и достоинство. Физическое страдание было своего рода жизненным занятием. Меня уволят, сказала тогда Джоанна, по контракту я не могу отказаться от

поездки. Но начальство проявило великодушие, пошло навстречу. Цивилизованное общество: когда дело касается нуждающихся и беспомощных, всегда находится компромисс. После смерти Дональда Молли стало немного лучше, они отдыхали в долине Троссачс[18] и однажды даже добрались до Парижа. А там миссис Хоуп попала в толпу бешеных танцующих цыганят: они выхватили у нее сумочку, махали перед носом газетами и кусочками каких-то коробок, все это под пронзительное гипнотизирующее улюлюканье. Джоанна живо вспомнила ее такой, какой она была тогда: не понимает, что происходит, крутит своей головкой из стороны в сторону, вся дрожит, от бессильной ярости тихо капают слезы. Дома, мохнатая куколка в простынях, она и сама могла запугать кого хочешь. А там — жалкая, маленькая, растерянная… Джоанна стоит и не знает, что делать, чем ей помочь. «*Прости*, мама!» — вскрикнула она тогда, как будто была виновата, и мать тут же окинула дочь своим обычным, полным осуждения взглядом — от потерянности, охватившей Молли, не осталось и следа.

---

[18] Примечания: 18
Лесная долина в Шотландии, в области Стерлинг.

* * *

Надо же, зуб болит, заметила Джоанна. Должно быть, нервы; Молли тоже без конца ставили то невралгию, то мышечный ревматизм. Вспомнив, как на пыльной парижской улице над матерью издевались сорванцы, Джоанна слегка раздражилась. В ней проснулась жестокость. Она включила телевизор, не в силах больше терпеть тишину. Выступал вождь индейцев, весь в наряде из черно-белых перьев, старое лицо в морщинах задумчиво. «Мой народ, — говорил он, — слышит голоса родных созданий. Мы любим землю, которую вы, белые, раздираете своими железными дорогами и выравниваете под пашню. Мы слышим голоса духов — наших предков, они рядом с нами, они не ушли, они в траве, в деревьях, в камнях, которые мы знаем и любим. Вы отправляете своих предков в закрытых ящиках на свои далекие Небеса. Мы же своих оставляем в охотничьих угодьях для духов, на родном воздухе. Мы остаемся поблизости. Наверняка вы, когда рыскаете среди наших деревьев со своими трескучими ружьями, не замечаете у себя за спиной целые отряды наших предков, их не видно, но они есть, они живут на нашей земле». Был это, как гово-

рилось в титрах, настоящий вождь, которого снимали в 1934 году: призрачное лицо поверженного изгоя, давно превратившегося в прах, беззвучно шевелящее губами, однако несокрушимое, властно вещающее. В гостиной Джоанны замелькали призраки дрожащих ветвей, лепечущей ледяной воды; тишину нарушил, с треском ступая по сухим веточкам, белый охотник, а за его спиной повисла тишина еще бóльшая. Хотя иноземные лица и неразоренные земли Джоанну всегда привлекали, ей стало не по себе. В Черной Африке духи приходили пить кровь детей и душить их; в Южной Африке духов задабривали на перекрестьях дорог, в местах построек пучками окровавленных перьев и початками кукурузы. А в гостиной в графстве, неподалеку от Лондона, если что и гудело, то электричество, если что и постукивало в подвале, то наверняка длинные усики ползучего растения, искавшего, к чему прикрепиться. Где теперь ее мать, куда делись частицы пепла и дым? А зуб все ныл и ныл, и боль эта постепенно становилась дергающей.

* * *

Боль не унялась и на следующий день. Коллеги по «Обозрению» решили, что она сама не своя от

горя, уговаривали посидеть дома, прийти в себя, они легко справятся без нее, — этого она как раз и не хотела.

— Все нормально, просто зуб болит, — объяснила она Майку ближе к обеду.

Майк проводил больше времени в командировках за границей, чем в Англии; Джоанне, можно сказать, повезло, что, когда умерла Молли, он был здесь, приехал на три месяца. Майк — ее единственный любовник и вот уже много лет единственный верный друг — сразу понял, что она говорит правду.

— Тогда сходи к зубному. Но все-таки, наверное, ты и печалишься.

Джоанна хотела поскорей рассказать ему о своем небесконечном, но важном будущем, о том, что могла бы снова заняться полевой работой, посмотреть другие части света, но с ними сидела его теперешняя ассистентка Бриджит Коннолли, темненькая, симпатичная, только что вернулась из Японии с курсов. Чтобы Бриджит ничего такого не подумала, Джоанна ответила:

— Конечно, мне не хватает матери. Я еще не до конца осознала, что ее больше нет. Слышу, как она роется в сервантах, передвигает что-то в оранжерее, ну, как обычно бывает. Но я знаю,

что сделала что могла, теперь все закончилось, и я, по правде сказать, вздохнула с облегчением. Эта часть моей жизни завершена. Я продам дом. Когда решу, что делать дальше.

И тут заговорила Бриджит. Да с таким напором, как будто сообщала что-то, о чем не поведать, промолчать просто нельзя; рассказ ее был в тему.

— В Токио я каждый день завтракала с умершим дедушкой семейства, в котором жила. Он присутствовал всегда — то есть в центре стола была его фотография, — мы все с ним здоровались и ставили перед ним немного еды. Все они уходили на работу ужасно рано, и мне приходилось завтракать с ним вдвоем, служанка приносила нам обоим чай и почтительно интересовалась, понравилось ли ему. Старик был ужасно свирепый на вид. Он так и остался хозяином в доме, с ним советовались обо всем.

Немного помолчали. Затем Бриджит и Джоанна заговорили одновременно.

— Простите, просто у меня случился культурный шок, вообще страшновато было, я только это хотела сказать… — начала Бриджит.

— А я вот совершенно убеждена, что смерть — это конец. Человек просто уходит в никуда, как приходит из ниоткуда. Вот и все, — сказала

Джоанна.

— Давай-ка я позвоню своему зубному и попрошу, чтобы принял тебя без записи, — предложил Майк Джоанне. — За счет «Обозрения». Я так уже делал. Ну какая с больным зубом из тебя работница? Ты и выглядишь очень устало.

Он ободряюще коснулся ее руки и руки Бриджит. Молодая женщина живо взглянула на него, благодаря за понимание, сочувствие ее мыслям. А Джоанна уставилась в стол, будто вспоминая что-то. На самом деле она смутилась — да, это слово как раз подходит, — представив, что Майк переезжает в дом, в котором раньше им было бы невозможно из-за родителей поселиться вместе. Она считала, что любит его, хотя никогда, ни на минуту не сомневалась, что он-то предпочитал жену — как в постели, так и вообще, — и благодаря этой уверенности она чувствовала себя удобно с моральной точки зрения: не испытывала вины перед его женой, не стремилась ее оттеснить. И вот он уже звонит по телефону, а она смотрит на него и думает, что у нее-то предки были, а сама она предком никому не будет и на ней оборвется какая-то генетическая цепочка. Может, это ненормально, что ее не влекло к нему — или к кому-то еще — гораздо сильнее? Вот если бы

вернуться назад во времени. Голая пустыня и ее собственные молодые глаза — в поисках признаков жизни, молодые глаза, молодое лицо, молодое тело… Как же дергает зуб! Майк положил трубку.

— Джоанна, мистер Кестелман тебя примет. У него сейчас еще кто-то с острой болью. Но он посмотрит вас обоих без очереди. Я вызову тебе такси.

* * *

В приемной стоматолога все было белое, продуманное, ничего лишнего — нечто среднее между модерном и классической зубной клиникой. Белые стены, столы с белыми меламиновыми столешницами без пятен и без царапин, свет исходит из огромных матовых белых чаш на хромированных подвесах или ногах. Что-то вроде бесцветной капсулы времени из научно-фантастического фильма: интерьер успокаивает и одновременно вызывает легкую тревогу. Никаких тебе цветущих растений, ни намека на пыль. Когда Джоанна пришла, там уже сидела женщина и заметно нервничала. Это у нее тоже острая боль. Джоанна села на белый твидовый диван, закрепленный на хромированных цепях с кожаной оплеткой, ноги она поставила, сдвинув ступни,

на кремовый берберский коврик. Вторая пациентка сидела напротив и без остановки листала пачку глянцевых журналов. Ее белые волосы были уложены завитками вокруг лица, пряди подлиннее спадали до плеч: эти волосы выглядели ухоженными, блестели, как крученый шелк, светились жизнью. Кожа у нее была темноватая, не из тех, что называют сухой. Сколько ей лет, не угадаешь. На ней был красновато-коричневый свитер из ангоры с большим полукруглым вырезом, вышитым по краю блестящими бусинками и бисером. Вырез открывал взору часть груди, округлой, тугой, почти без пигментных пятен. Дама была накрашена щедро, но ее это не портило, помада цвета фуксии — под свитер, ободки фиолетовых теней между черными ресницами и серебристыми бровями. В ушах — серьги-обручи, как у цыганок, серебряные, не золотые. Джоанна приложила ладонь к щеке, чем дала повод женщине заговорить.

— Болит? Сильно?

— Ощутимо.

— Я боли боюсь. Точнее, боялась, было время. Мистер Кестелман считает, что у меня абсцесс. Ничто не помогало, вот я и пришла к нему. А самой совестно. Я пыталась вылечиться другими

средствами, но не получилось.

— Другими?

— Силой мысли, так иногда говорят. Самовнушением. У меня дар. Удивительный дар, не знаю, слышали ли вы что-нибудь о таком, он у меня открылся совсем недавно. У меня получалось такое! Удивительные исцеления — *просто уму непостижимо*, но почему-то свою боль я облегчить не могу. Врачу, исцелися сам. Наверно, из-за боли я не могу сконцентрироваться. Муж предложил попробовать традиционную медицину, ведь она тоже не просто так существует и многим помогла. И вот я здесь.

— И как вы открыли в себе этот дар? — спросила Джоанна вежливо и с некоторым любопытством.

— Это достаточно часто случается после ОСП. Естественно, я этого не знала. Но оказывается, у многих, кто испытал ОСП, такой дар есть.

— ОСП?

— Околосмертные переживания. Я перенесла клиническую смерть, меня вернули к жизни. Честное слово. — Она засмеялась, засмеялась и Джоанна, и обе приложили ладони туда, где болело. — У меня был сердечный приступ два года назад, а по мне и не скажешь, да? Я перенесла клиническую смерть, перестала дышать, все

отключилось, но меня вернули к жизни. И пока я была мертва, со мной произошло нечто удивительное. После этого жизнь моя стала другой. Совершенно другой.

— Что же случилось? — спросила Джоанна, хотя это было излишне, ведь ей встретился старый мореход,[19] а таким только дай волю — всю свою жизнь перескажут.

И женщина тут же начала свой хорошо отточенный рассказ, ход которого нарушался лишь приступами зубной боли.

— Я много лет об этом не говорила, думала, никто не поверит. Но все время знала, что это правда, правды в этом больше, чем во многом другом, если вы понимаете, о чем я, *правдивее* не бывает. А было так. Я взлетала выше и выше над собой, видела, как лежу на полу, — все случилось в подземном переходе на станции метро «Пимлико», — видела свое тело, оно там лежало распластанное, как какая-нибудь кожура от банана… а я быстро двигалась *вверх* по такому туннелю или воронке, на другом конце — проем и свет, описать его невозможно, очень яркий. И

[19] Примечания: 19

Тот, кто утомляет долгим скучным рассказом: по названию произведения С. Т. Кольриджа "The Rime of the Ancient Mariner", в разных переводах "Поэма о старом моряке" или "Сказание о старом мореходе".

больше всего на свете я хотела войти в этот проем. Это было блаженство. Такое блаженство, что не передать словами. Я подобралась ближе, и меня впустили какие-то фигуры, я оказалась посреди зеленого луга — все кругом *чисто* и зелено, и я поняла, насколько грязна наша бедная Земля, — такую чистую зелень, как там, невозможно себе представить. А на другом конце луга — одноэтажный сельский домик, такой приятный, с садом, в котором *полным-полно* пионов всех сортов, и я подумала, маме бы такое *очень понравилось*, она всегда говорила, что представляет себе Небеса как домик, не доставляющий много хлопот, и сад, полный пионов. И вот я подошла к двери, и они все были там внутри: мама, и папа, и дядя Чарли, который мне никогда особо не нравился, и тетя Берил, и такая тиховатая дама, я знала, что это моя бабушка, хотя никогда ее не видела, она умерла до моего рождения, потом по фотографиям я убедилась, что это и впрямь была она. Все такие молодые и здоровые. А как же пионы пахли! Мама пекла пирог, а я встала в дверях и сказала: «Можно мне к вам, мама? Тут так красиво». А мама ответила: «Нет, пока нельзя. Этот пирог для дяди Джека. Не для тебя. Тебе еще рано. Тебе нужно вернуться. Ты нужна там». И появился си-

яющий такой человек, с темной кожей, похож на индейца, прошел по дорожке и сказал — он ничего не говорил, но я *слышала*, как он обратился ко мне: «Нет, Бонни, ты должна вернуться, тебе еще рано, ты должна еще кое-что сделать, есть люди, которым ты нужна». И вот я вновь оказалась в своем теле, в реанимации в больнице Святого Георгия, слышу, как они кричат: «Дышит!» И с тех пор я *знала*. Знала, что смерть — это не плохо и не страшно. Но остальное: дар исцеления и ясновидения и прочее — обнаружилось, когда я пришла в академию.

— В академию?

— В Академию возвращения. Это исследовательская группа и терапевтическое сообщество. Понимаете, оказывается, в том, что я испытала, нет ничего необычного, по крайней мере если сравнивать с другими ОСП. Все они, похоже, одинаковые, во всех культурах и религиях: туннель, и свет, и фигуры, и встреча с родителями…

— У меня только что умерла мать, — неожиданно для себя произнесла Джоанна.

— Вот видите. Наши пути пересеклись, потому что вам нужно узнать то, что я могу передать. Эта наша зубная боль неспроста, вот почему я не могла справиться со своей; конечно же, наша

встреча была *предначертана.*

— Но… — начала Джоанна; боль бешено пульсировала. «Как сказать, что мне до Небес нет дела, мне бы…»

Из внутренней комнаты выглянула фигура в белой одежде и кивнула.

— Миссис Рут, проходите, пожалуйста.

Миссис Рут поднялась, немного дрожа, посмотрела на Джоанну в надежде на поддержку и переступила порог.

* * *

Джоанна вспомнила Молли, какой та была в последние месяцы жизни, как жаловалась на шум. Вспоминать, в чем конкретно заключались жалобы, Джоанне не хотелось, но они оживали в ее голове, в другом свете. Молли просыпалась под звуки автоматической чаеварки со встроенным радио и голоса́ дикторов Би-би-си, зачитывающих мировые новости: их болтовня ни о чем, передаваемые ими слухи смешивались с исчезающей пеленой ее тревожного сна, сонмом полуразгаданных созданий из сновидений и кошмаров. По крайней мере, так это представлялось Джоанне с тех пор, как однажды она опробовала это устройство на себе и ощутила, как ее сознание

то проваливается в тревожную дрему, то выныривает из нее, но тревога была не ее — и это она смутно ощущала, — а Молли. Так или иначе, подумала Джоанна, последние *образы*, если их можно удостоить такого названия, которые видела мать перед пробуждением, порождались этим бытовым прибором. Хотя миссис Хоуп, нужно признать, настаивала, что это не так. Ей хотелось сочувствия, которого Джоанна не могла ей дать. «Часто я не знаю, дорогая, — говорила Молли, пытаясь описать свои ощущения, — просыпаюсь я уже или еще сплю, толком не понимаю, где я, но слышу, как в другой комнате страшно ссорятся твои бабушка и дедушка. Они близко-близко, не видят и не слышат меня до поры до времени, но вот-вот на меня переключатся, втянут в свой спор… а я ведь всегда так старалась этого избежать…»

В другой раз: «Эх, Джоанна, они ждут меня, чуть не сказала — подстерегают, но нельзя же так ужасно говорить о своих родителях, да? Когда я умру, ты по мне не скучай, дорогая, живи для себя и знай, что я благодарна тебе за все, что ты сделала, даже если я часто… просто злая, вздорная старуха. Мое время вышло, вот и все. Если я потратила его зря, уже ничего не поделаешь».

На следующий день: «Я все лучше и лучше понимаю, что́ они говорят там, в ближней комнате. Все по-прежнему, ничего не изменилось. Мама жалуется, что ее не замечают, а папа — что к нему придираются и используют его, *как всегда*...»

«У тебя в голове просто всплывают старые воспоминания, мама. В этом нет ничего необычного. Люди, когда им за семьдесят, помнят то, о чем не вспоминали лет тридцать». — «Да. Но из-за их ссор я не могу спать. И не могу очнуться от сна настолько, чтобы больше их не слышать».

* * *

Бонни Рут вышла из кабинета врача, прижимая к лицу комок салфеток, как огромный пион, края лепестков которого запятнаны ярко-розовой помадой и алыми потеками крови. Мистер Кестелман примет вас через минуту, сообщила ассистентка Джоанне. Бонни Рут села на диван, ее выразительное лицо припухло и казалось застывшим.

— Больно было? — спросила Джоанна.

Бонни помотала головой. Она вытерла губы, открыла сумочку, протянула Джоанне визитку и произнесла осторожно, невнятно:

— Нам суждено было встретиться, дорогая, вот

что все это значит. Держите адрес. Приходите, когда почувствуете, что мы вам нужны. Если почувствуете.

На карточке значилось: «Академия возвращения. Танатология и учение о жизни после смерти. Терапевтические группы: мы заботимся как о духовном, так и о физическом здоровье. У нас вы найдете ответы на вопросы, которые вас всегда интересовали. Приходите и убедитесь сами».

* * *

Мистер Кестелман без лишних слов, технично в своем стерильном кабинете удалил Джоанне один зуб, на котором, как он объяснил, вдоль и поперек пошли мельчайшие трещинки, и в итоге он раскрошился. Ей ни в коем случае нельзя трогать сгусток крови, дыра под ним рано или поздно зарастет. Джоанна попробовала кровь на вкус: как мясная подливка с железом; казалось, из ее головы временно вынули огромный кусок. Она тяжело кивала в ответ на его указания, среди которых было: сразу же пойти домой, лечь и попытаться уснуть, чтобы прийти в себя после такого вмешательства. Необычайно щедрый в мелочах, он напихал ей в сумочку бумажных салфеток и небольших герметичных пакетиков

с болеутоляющим. «Когда наркоз отойдет, вас будет немного подташнивать вначале, — сказал он ей. — Не волнуйтесь. Это временно». Он наказал ей не водить по дыре языком, и она виновато убрала кончик языка от того, что казалось огромным дряблым кочаном, невесть как возникшим на месте удаленного коренного зуба — сияющей крепости из рекламы зубной пасты времен ее детства. Молочные зубы, с красной каймой и без корней, выпадали, а под ними обнаруживались важные пилообразные гребни взрослых, настоящих. Она помнила те ощущения и ту быструю детскую мысль — как, оказывается, сложно ты устроен. Странно было сознавать, что на этот раз замены не будет.

* * *

Дом был неприветлив, суров, полон укоризны. Джоанна быстро прошла, отгородившись от всего, в свою спальню и занавесила окна, чтобы, как советовал врач, лечь отдохнуть. Потом снова встала и открыла их. Задернутые шторы при свете дня означали смерть. Погода все еще стояла хорошая — надо пустить лучи солнца в комнату. Но они в нее не попадали почти: комната Джоанны находилась не на солнечной стороне

дома. Она забралась в постель в нижнем белье, и закрыла глаза, и тотчас увидела, как на экране, ужасную лошадиную голову: ободранный череп, старые стертые зубы, пустые глазницы и костлявые челюсти, из которых струилась бледная красновато-розовая кровь — наверняка такого цвета у нее изнутри веки, — кровь стекала по костям кремового цвета, по старым-престарым костям. Это потеря зуба пробудила примитивные страхи, строго сказала себе Джоанна, открыла глаза и сквозь мокрую пелену разглядела ламбрекен, туалетный столик, шелковый абажур. Снова закрыв глаза, она увидела только красновато-розовые вихри в качающихся волнах. Вздохнув, она погрузилась в сон.

* * *

Из ближней комнаты слышались голоса. Обиженные, рассерженные, они так и лились без умолку, как неугомонный ручей, журчащий среди камней, с ходу обегающий вросшие в дно препятствия. Была в них легкость давней привычки и разрушительная сила новоиспеченного гнева. Слов Джоанна разобрать не могла, только тон, от которого у нее начало покалывать в плечах, — у первобытных людей там были волосы,

сбритые веками цивилизации. Слышала она и другие звуки: сердитый звон чайной чашки о блюдце и один раз, совершенно точно, как в сердцах кто-то шмякнул утюг об гладильную доску. Сон и пульсирующая зубная боль на какое-то время отгородили ее от них, но в конце концов ей пришлось признать, что она уже не спит и что звуки ссоры никуда не делись; от них невозможно было избавиться, как от давешней лошадиной головы, открыв глаза. Она встала и прошлась взад-вперед по спальне, а голоса в ближней комнате становились то громче, когда она приближалась к ней, то тише, когда отходила. Джоанна очень четко представляла себе эту несуществующую комнату: все в пыли, стол, два стула, газовая плита и высокое закрытое окно, до которого не дотянуться. На самом деле ближняя комната была гардеробом; Джоанна подошла и открыла двери: там на ни в чем не повинных полках лежали ее ни в чем не повинные ночные рубашки, аккуратно сложенные. А голоса все не смолкали, вещали из-за своей неведомой стены. «Я выставлю дом на продажу», — произнесла Джоанна внутрь гардероба, чтобы посмотреть, не прогонит ли ее живой голос эти пыльные голоса. Но они только яростней зашуршали. Доносились

отдельные фразы. «Ни тебе уважения… ни тебе воображения…» А потом: «Вот, значит, оно как, с глаз долой — из сердца вон…» А потом тишина. Было даже немного странно: почему вообще все должно было замениться тишиной. И надолго ли эта тишина?

* * *

Она выставила дом на продажу. Позвонил агент по недвижимости мистер Мо, и в один из дней рано утром, перед уходом в «Обозрение», Джоанна показала ему все, комнату за комнатой, и наконец сад. Над садом парили стрижи, в кустах пел черный дрозд, розы на перголе издавали тонкий сладостный аромат. Внутри мистер Мо не замолкал ни на минуту. Восхитительный дом, сказал он, нанося, что ему нужно, на желтый лист со своеобразным схематичным планом, — доктор Кестелман так же отмечал на стандартной схеме рта разрушенные или выпавшие зубы Джоанны. Агент вышагивал по комнатам и измерял их своими блестящими черными ботинками, приставляя пятку одного к мыску другого. В некоторых частях дома голоса шипели и спорили даже при нем. Как будто эти кирпичные стены существуют в единстве и неслиянности

с некой таинственной гибкой, неразрушимой конструкцией, в которую входят другие комнаты, с другими упрямыми дверьми, с другими видами из окон. Так платье составляет целое с подкладкой, меж ними неосязаемый просвет. Продать этот милый дом не составит труда, сказал мистер Мо Джоанне, он в прекрасном состоянии, отделан с таким вкусом. Сразу видно, что в нем жили очень счастливо: все такое *домашнее*, атмосфера хорошая, уж он-то в этом разбирается. Наверно, мисс Хоуп будет тосковать, уехав из этого славного места. А может ли он распознать *плохую* атмосферу, спросила Джоанна. Конечно да, заверил он ее. Это как запах засорившейся канализации, бывает, но очень редко. У него был клиент, который даже вызывал заклинателя, чтобы изгнать бесов. Гнев и ненависть прямо-таки сочились изо всех щелей. Переступаешь порог и понимаешь: холодно, повеяло сыростью. А здесь чувствуется атмосфера любви и уважения, это как полировка на хорошей мебели. Джоанна сказала, что собирается путешествовать. Что никогда не хотела сидеть на месте. Это был дом матери, так мать представляла себе… Чтó именно мать представляла, Джоанна сказать не смогла. А мистер Мо не стал расспрашивать. Приятный

отдых за границей, несомненно, пойдет ей на пользу, заверил он, а потом он поможет ей найти славную двухэтажную квартиру, ее куда проще поддерживать в порядке.

* * *

Майк отыскал ее среди шкафов с архивами «Обозрения», она плакала. Джоанна не призналась, что искала их официальный отчет о дороге в североафриканской пустыне, в котором на самом деле говорилось, что ее вообще не нужно было строить, она мало кому нужна. Она вспоминала, как они смотрели на близкие яркие звезды, как торговались на рынке, как жарко было в джипе. Майк принес ей пластиковый стаканчик с кофе — пить невозможно, но все равно приятно, приобнял за плечи.

— Старушка ты моя бедная, — сказал он, но она не обиделась, потому что именно так он говорил, когда ее покусали москиты и на ступнях вздулись волдыри. — Бедная моя старушка Джо. Что случилось?

— Я выставила дом на продажу.

— Не слишком ли скоропалительно?

— Он мне не нужен. Я все время слышу, как в ближней комнате ругаются родители.

Она не ждала, что он поверит, но, произнеся это вслух, почувствовала, что ей стало легче.

— Ты много для них сделала. Их больше нет. И теперь у тебя может быть свой собственный дом.

Если бы у меня когда-то был свой дом… мы бы сейчас здесь не сидели как друзья… Она сказала:

— Меня не оставляет ощущение, что мать с отцом там. Я их слышу.

— Тебе нужно сменить обстановку.

— Да, нужно. Как раз хотела спросить. Поинтересоваться. Все эти годы я жила надеждой, верила, что смогу отправиться куда-нибудь снова, еще в одну дальнюю полевую поездку, но, наверно, это невозможно.

— Вообще-то, — осторожно начал Майк, — заграничные поездки приберегают для крепких молодых людей, несемейных к тому же. Ты же знаешь, как это все устроено. Но я вот что подумал. Вдруг ты заинтересуешься. Не самый писк, конечно, но зато смена обстановки. Не хочешь поехать в графство Дарем? Есть у нас проект, мы смотрим, приживется ли новая мелкая промышленность в старых шахтерских деревнях. Сейчас это направление перспективно. Поговоришь с работягами, опросишь местных плановиков. Как тебе?

Африканская луна потускнела, и горизонт схлопнулся, как подтяжки. Что ж…

— Задача не из простых.

— Да. Поупражняешься в старых приемах полевой работы, а то и новый путь проложишь, а? И от голосов сбежишь.

— Им это не понравится.

— Не глупи. Я устрою тебе ужин с Протеро, он у нас по финансовой части, и мы отправим тебя на следующей неделе.

* * *

Вечером перед отъездом в Дарем Джоанна довольно долго пробыла в оранжерее. Растения молчали, жили своей жизнью. Миссис Стиллингфлит будет приходить и ухаживать за ними, пока дом не продадут. У мистера Мо была пара поклевок — так он выразился, — но пока ничего определенного. Слишком мало времени прошло. Обещал связаться, если Джоанна будет нужна. Дарем — не край земли. В центре оранжереи, на полу, виднелось грубое пятно света, а вокруг него популяция растений-призраков — живые отражения среди грубых мерцающих теней от темных квадратных стекол. Небо нависало низко — черным слоем на черных стенах и крыше,

плотным под стать самому стеклу. Побеги гибко и изящно свисали с невидимых подпорок: ветви жасмина с листьями, похожими на перья, спиральные завитки страстоцветов — маленькие, в себе заключенные джунгли, все аккуратно сформировано, живет воедино. Скамьи были заставлены поддонами с мелким гравием, на которых стояли растения в горшках, душисто курились холодным лунным паром. Джоанна походила между ними, где-то отрывая сухой лист, где-то убирая завядшие цветки. Некоторые процвели, никем не замеченные, ведь она не была здесь со смерти матери. Вот рождественники и их детки, любимчики Молли. «Я должна заботиться о своих детках», — сказала мать уже через неделю после того, как они развеяли прах Дональда, а ведь раньше она мужа высмеивала, когда он хвастался, какие они крепкие и как их много. И правда, детки, сказала тогда Молли. Ну не разумные ли создания, все у них идет своим чередом. Глядя на самое большое растение — оно было теперь все набухшее и пушистое, со множеством маленьких, пухлых отростков-паучков в паутине мягких серебристых волосков, — Джоанна нутром почувствовала, что жить ему не слишком удобно. Рождественник разросся неравномерно,

скосился на один бок, громоздко нависал над краем горшка. Осторожно она отломила и пересадила несколько молодых «паучков», накопав латунным совком Молли песчанистой, суховатой почвенной смеси из бачка, где смесь хранилась. Ни скрипа, ни перешептываний Джоанна не услышала. Рождественник «джоанна хоуп», хоть и напоминал кактус, кактусом не был. Он нуждался в обильном поливе, хорошей подкормке и питательном грунте, как любое другое цветущее растение. Летом он, конечно, не цвел: все шло в рост. Джоанна взяла в руки один из горшочков с рождественником, названным в ее честь. У него были странные, неуклюже согнутые отростки, состоящие из сегментов, расположенных под небольшим углом друг к другу. Нижние сегменты были темно-зеленого цвета и с бугорками. Верхние — бледнее. Самые новые, размером, наверно, с ноготь мизинца Джоанны, блестящие, крепкие, так и розовели, подсказывая, какими будут, если повезет, в середине зимы цветы — лососево-розовыми. Из-за этого оттенка и крючковатого, зубчатого кончика сегмент напоминал челюсть какого-то морского создания; сходство усиливалось короткой бахромой волосатых усиков, которые возникали там, где очередной новый сег-

мент присоединялся к старому; и так, неизменно повторяясь, прирастали стебли или отростки. Усики эти были, конечно же, воздушными корешками. Если отломить один из таких сегментов, нежно, с корешками и всем остальным, и посадить его плотно в новый горшок с новой землей, из него получится еще одно растение, потемнеет и растеряет полупрозрачную розоватость, нарастит сегменты. Некоторые из рождественников наверняка были частью тех, которые отец сам формировал, подкармливал и поливал. Вместе же они являли собой своего рода вечность, предсказуемую, цикличную, не меняющую ни форму, ни цвет. Розовые сегменты с новоиспеченными зубчатыми краями напомнили ей молочные зубы; но после молочных вырастают коренные, а после коренных остается только зарастающая дыра в десне. Джоанна выбрала маленькую, скромную на вид «джоанну хоуп», поселенную — наверняка руками Молли — в бледно-синий пластиковый горшок, и прихватила с собой в спальню. Рождественник вел себя тихо и к тому же был живой. Его вполне можно взять в дорогу, вывезти из этого дома в Дарем.

Голоса в ближней комнате теперь звучали резковато и отчетливо. А если ирисы, говорил

один, клумба с ирисами, чуть приподнятая, будет отлично выделяться. А в остальное время, отвечал другой голос, вечно недовольный, несговорчивый, просто куча противных старых листьев, которая занимает место, нужно что-то более практичное, все лето имеющее вид. Хоть раз дай волю воображению, взмолился первый голос, хоть раз! Ради великолепного цветения можно потерпеть и старые листья; не дано тебе понять, не дано оценить великолепия. Так посади парочку сзади, не уступал второй голос, там, у бочки, парочку. Какой прок от парочки, произнес грустный голос. А в ответ получил: да ты никогда не мог верно оценить величину цветника, такая большая клумба — это просто глупо, самонадеянно, притом сколько у тебя всего места. Парочку у бочки, и все тут. Корням нужно солнце, говорил первый, как тебе объяснить, корням нужно солнце, они должны печься на солнце, утопать в свете, нет, не дано тебе понять, не дано, так и не поняла, как много им нужно света, ты пересадила тот, с бронзовыми бороздками, под лавр, и он там сгнил…

Наверно, подумала Джоанна, в этой части Англии должно быть слышно бесконечно много ссорящихся нараспев голосов, так почему же

я слышу только эти два? Может быть, те, кто всем доволен, молчат? Родственники Бонни Рут пребывали в сельской идиллии. Возможно, в Академии возвращения мне растолковали бы смысл этих гневных споров в ближней комнате, но я не пойду в академию. Я уеду на север и все оставлю *им*: и сад, и ближнюю комнату, — и пусть себе взывают к мистеру Мо, чтобы рассудил их. Но он их не услышит, хотя и ощущает что-то, по его словам, особенное… как он там изволил выразиться — «атмосферу любви и уважения». Нельзя ли потише, попросила Джоанна, вслух или нет, сама не поняла, но почувствовала, что они ее слышат, только не берут в расчет. С тобой невозможно культурно договориться, говорил один другому, просто невозможно.

* * *

Графство Дарем изобиловало руинами больших начинаний былых времен. В соборе, словно медленно сползающем в реку по крутому склону, находятся мощи Кутберта Линдисфарнского[20] и черная плита, под которой покоится Беда

[20] Примечания: 20

Кутберт Линдисфарнский (ок. 634–687) — епископ Хексема (684–685) и Линдисфарна (685–687), святой.

Достопочтенный,[21] человек, изменивший взгляд англичан на самих себя и на английскую историю. Шахтерские деревни разбросаны островками в пурпурно-серой болотистой местности, здесь они не выстроены в черную цепь, как южнее, в Йоркшире. Старые заводы стали местом промышленных археологических раскопок, как до них римские лагеря, и над вереском и шелестящим папоротником там свистит ветер. Стоят без дела новые сталелитейные заводы, бесшумные, пустые и холодные; ржавеют, навечно замерли колеса подъемников, нависших над коническими кучами шлака. Почему-то Джоанна замечала все мертвое, хотя работа ее была связана с ныне живущими и угнетенными. Под этим вереском лежали легионеры из Скифии и Месопотамии, из залитой солнцем «провинча романа».[22] Призраки изможденных подростков-рабочих, мальчиков и девочек, все еще бродили по заводам и старым разработкам, и на телах их, возможно, до сих пор оставались следы от

---

[21] Примечания: 21

Бе́да Достопочтенный (ок. 672/673-735) — англосаксонский теолог и летописец, монах Святой католической церкви, автор "Церковной истории народа англов" — ценнейшего источника по истории Англии VII–VIII вв.

[22] Примечания: 22

Provincia Romana *(лат.)* — римская провинция.

лямок, в которые их запрягали, заставляя влачить тележки с рудой. Джоанна прислушивалась, но не слышала их. Она остановилась в великолепной гостинице «Митра» в самом Дареме, где ночевали выездные судьи, когда их не селили в замке; здесь они крепко спали, хорошо ели, звонко смеялись, а потом выходили, чтобы предостерегать грешников, отпускать невиновных и назначать виновным заключение в похожей на крепость тюрьме, где в негашеной извести лежали мертвецы и где шериф при одном из повешений поседел от ужаса. В гостинице — как было заявлено в буклете, со вкусом оформленном в стиле старинной рукописи, — вполне возможно, обитают призраки ошибочно повешенного человека, принятого за разбойника с большой дороги, и обезумевшей жены (вдовы) якобита, которая прискакала сюда, безуспешно пытаясь спасти любимого от ужасного препровождения в Тауэр. Об их появлении, говорилось в буклете, возвещают, соответственно: ощущение страшного леденящего ужаса; смутные звуки, похожие на вздохи, вкупе с вашим неясным горестным предчувствием. Гостиница Джоанне понравилась: старинные неровные полы, романтически низкие и тяжелые дверные проемы с недавно

навешенными тяжелыми противопожарными дверьми. Она ужинала в столовой зале среди теплых запахов вкусной еды: фламбе с бренди, хрустящая горячая выпечка, соусы с чесноком — за много прекрасных миль от крутого яйца на тосте и «Бенджерз Фуд». Страх, который в нее дома вселяли обитатели ближней комнаты, подумала она, пробуя яблочный пирог, рассыпчатый сыр «Уэнслидейл» и свежие сливки, не был инстинктивным, животным, какой пробуждают здешние призраки, разбойник с большой дороги и вдова в трауре. *Ее* призраки не угрожали, не несли с собою жгучее ощущение невыносимой боли, они только *ворчали*. Испугаться их можно было лишь *умозрительно*. Джоанна не желала верить вернувшейся с того света женщине из Академии возвращения; не желала проводить вечность, или даже какую-то будущую жизнь, или жизни в компании Дональда и Молли, под знакомое шипение утюга и пыхтение чайника. У нее уже родилась, за неимением лучшего, гипотеза, что ее родители упрямо продолжили свое существование в смерти, как до этого упорствовали в жизни. Возможно, конечно, она сходит с ума или у нее галлюцинации, но, судя по всему, это все же не так, поэтому она не собирается тратить

свое ценное и без того уже урезанное будущее на разговоры с дорогостоящим психиатром о приподнятых клумбах ирисов. Из этой гипотезы вытекала некоторая надежда, она заключалась в том, что духи или призраки привязаны к почве там, где люди жили и умерли, — вот и индеец, так кстати явившийся ей в телевизоре, разделяет это воззрение. Призраки *там*, а она *тут*. Мистер Мо продаст их вместе с их домовой оболочкой, кирпично-цементной скорлупой, которой ограничено было их земное существование. Эта надежда подкреплялась тем, что все их споры неизменно крутились — судя по тому, что она слышала, — вокруг одного и того же места, дома да сада. Но что, если это не так? Что, если правильна другая гипотеза, куда хуже первой… эту новую гипотезу Джоанна пока отказывалась принимать. В первую ночь в коричнево-золотом номере гостиницы она спала крепко; ей все понравилось: темно-алая ванная *в номере*, поднос с множеством изумительных пакетиков чая, кофе, с маленькими сладкими печеньицами, радио, телевизор — все такое практичное, одинаковое в своей безликости или впрямь безразличное к человеку, который всем тут пользуется, но не пускает корней, везде, так сказать, проездом;

именно так и хотела проводить жизнь Джоанна… Первую ночь она проспала в тишине. И вторую. И третью. Днями она ездила по графству, встречалась с экономистами, специалистами по исследованию рынка, аналитиками, которые на компьютерах обсчитывали планы по созданию рабочих мест. Беседовала она и с местными безработными, людьми высокой квалификации, нынешнее затруднительное положение которых было — вот парадокс! — ее хлебом. Она заседала в центрах занятости за рубцеватыми столами со старинным пластмассовым покрытием, на жестких стульях, обитых кожзаменителем, и говорила о системе переподготовки. Надежда ее не покидала. Джоанна всегда верила в человеческую изобретательность. И в прогресс. Сложно стать экономистом по развитию, если в это не верить. С юных лет она считала, что благодаря нашей изобретательности мы сможем справиться с нехваткой еды и перенаселенностью, с дефицитом ископаемого топлива и безработицей, которая была вызвана второй промышленной революцией, сумеем разобраться с голодом и нищенскими зарплатами в странах третьего мира, идущими вразрез с уровнем жизни в развитых странах и с цивилизованным пониманием того,

сколько должен трудиться человек. Еще она всегда верила, но уже не так твердо, что человечество со временем станет мудрее, умнее, здоровее, живучее, научится договариваться, перерастет войну и гнев, как перерастают все детское. Однако довольно сложно было поддерживать эти воззрения перед лицом своего рода культурной и личностной дезориентации, которую испытывали целые группы мужчин, владеющих замысловатыми ремеслами, профессиями, которые никогда больше не пригодятся, никому не добавят ума, не станут предметом гордости или восхищения. Она сострадала тем, кто был лишь немногим ее моложе, кто вложил в профессию всю жизнь, сострадала людям, которые прямотаки загорались всеми мышцами тела и всеми клеточками мозга, стоило им взять в руки *такой вот* инструмент, начать замеры *в таком вот* угольном забое, прикрепить к тросу *такой вот* бур. Один из местных рабочих, крупный мужчина, он был старшим в специализированной бригаде по производству труб на сталелитейном заводе, вдруг накинулся на нее:

— Отец мой вкалывал на заводе, и его отец тоже, и мне для сына ничего другого не надо, только бы он честно вкалывал на заводе, как я сам. У нас

гордость есть, понимаете, у нас коллективный дух. Мы знаем, кто мы и что мы. А теперь к нам приходят и говорят: нет, вы не окупаетесь, не можете конкурировать, закрываем производство, и все тут. А как же наше дело, наше *ремесло*?..

— Вы могли бы освоить еще какое-то дело.

— С какой стати? Для чего? Что освоить? Молодые вон пусть учатся работать с этими, с компьютерами. А мы-то уже привыкли по старинке. Нету для нас места в новой жизни, сами знаете, списали нас, целое поколение, только и ждете, пока не станет нашего брата. Скажите уж честно.

— Я здесь не для этого.

— Ну, ясное дело, не для этого. Но уж, наверно, и не для того, чтобы действительно помочь таким, как я. Молодым, глядишь, и поможете. Молодым, подающим надежды. А с нашим братом я бы бросил возиться, дал бы достойно умереть, да поскорей. Вот честно, мисс, так бы и сделал.

* * *

Позже, в номере гостиницы, после разговора с этим человеком, заживо себя схоронившим, Джоанна почувствовала грусть. Столько людей, думала она, разочарованны и озлобленны. А чем

умершие хуже и почему мы должны предполагать, что хотеть большего — но при этом руками и ногами держаться за то, что знаем и чего добились, — не является неотъемлемой частью абсолютной природы человека? И пускай будут домики с пионами и отдел загробной жизни с отличными стальными трубами — отчего нет? И почему бы са́мому цепкому как раз и не сохраняться дольше всего? С чего я вознадеялась, будто у меня есть особое право либо изменить мир, либо тихо раствориться в пространстве? Эти надежды — часть бренного моего состава, существуют лишь в заданных и очень узких пределах *меня самой*. И, словно в ответ на ее мысли о разочаровании и злобе, вступили голоса, забормотали что-то у двери ванной, неразличимо, но с яростью, с такой яростью. Наша вечная жизнь, время до и время после нашего короткого пребывания на земле, и правда формируется нашими предками — такова была вторая, неудобная гипотеза Джоанны! Вспомнить хотя бы японского дедушку, председательствующего за завтраком, или родственников Бонни Рут, радостно собирающихся вместе. Ибо отдельный мужчина или женщина чем-то напоминает рождественник «джоанна хоуп», который несет в себе вечные

гены, предписывающие раз и навсегда его форму и будущее. Голоса прикреплены не к покинутому саду, а к ее собственной крови и плоти, к ее сознанию. Можно пойти в Академию возвращения, попросить их узнать: что же в ней такого, почему она их слышит? А можно просто отгородиться от них, не подпускать к себе, не замечать. Джоанна подошла к двери в ванную. Представила, что́ там за ней: душевая занавеска, нескользящий резиновый коврик, блестящий красный фарфор; или, может быть, есть какой-нибудь пыльный верхний чулан, где приютились голоса? Послышался легкий шорох: сдвинули что-то пластмассовое, закапало из крана, кто-то начал монотонно причитать.

— Тихо, тихо, — сказала она. — Я вас слышу. Только вот чем помочь, не знаю и слышать вас не хочу. Разбирайтесь сами… Умоляю, оставьте меня. Раз и навсегда.

Тишина. Снова тишина. Крепись, подумала Джоанна, отворачиваясь к восхитительной безликой кровати с полоской неяркого света, с теплыми золотыми простынями.

Она подняла колено, чтобы залезть в кровать, и услышала:

— Конечно, обращайся ты с ней получше, она

бы не была такой зловредной, выказывала бы больше понимания, больше почтения… в ней всегда было мало сострадания, это все твои недоработки…

— Ничего, она научится, когда придет полнота времени.

Когда придет полнота времени, тонкая завеса приоткроется, рассудила Джоанна, и настанет ее черед оказаться, отнюдь не тихоней, в той, ближней комнате.

Сушеная ведьма[23]

Она высохла. Стояла засушливая пора, но эта сухость была в ней самой. Во рту все скоробилось, как тряпка под солнцем, язык песком скреб шелковистую сушь нёба. Истаяла влажная поволока глаз, щипало веки, и кололись корешки ресниц. И между ног было сухо. Она глотнула воды из ковшика, омыла рот — все равно что плеснула на раскаленный камень. Она заходила по дому, вымела глиняный пол, на котором тут же, как пот, опять выступила пыль, соскоблила пригорелый жир с маленькой дровяной плиты и белесый налет с больших горшков с соленьями. Подергала нитки, торчащие из мешков с просом, и лозинки, торчащие из корзин с чечевицей. Заново сложила лоскутные одеяла наверху и обмела каменную лестницу, сумеречную от закрытых ставен. Взяла свой яркий медный котел и пошла к желобу.

В деревне были две улицы крест-накрест и дома желтого камня, слепленного цементом, с сизыми деревянными рамами и рыжими дверьми. Половина домов прилепилась к подножью высокой

---

[23] Примечания: 23
Перевод О. Исаевой

горы, углубилась в нее погребами-пещерами. Другая — глядела на узкое дно долины и горную цепь над ней, вышитую по жаркой дымке синевой, речной и ледяной, с медной искрой. Воду в желоб приносил ручей, выбегавший из горы и возвращавшийся в нее чуть ниже с сердитым сосущим звуком. Женщины скоблили здесь свои котлы и били вальками длинные юбки на каменном краю желоба.

Оа хотела увидеть свои глаза. Она глянула в спокойную воду. Из желоба, глубокого, темного, с зеленью понизу, на нее глянуло ее собственное лицо — овальная тень среди солнечного блеска. Она склонилась ниже, и вот проступили черты: полая чернота волос, упавших по сторонам лица, черный рот, темные дыры глаз. В воде все превращалось в лиловые и зелено-бурые тени. Зеленовато-смуглая, без улыбки, смотрела на нее ее маска, сощурив темные, и впрямь очень темные, глаза.

Она взяла пемзу, горсть белого песка и начала тереть и без того блестящий котел. Она посмотрелась в его выпуклые бока, потом в круглое дно, оплетенное тонкими царапинами, в которых вспыхивали белые и цветные искорки. В котле ее лицо было другое, круглое и сияющее — сол-

нечное пятно на горячей меди. Волосы лучились, черты расплывались и перетекали по гнутой поверхности. Здесь были цвета, если только им можно было верить: медно-коричневые впадины щек, медно-красные, сжатые, горящие губы. Глаза под изогнутыми бровями — глаза тоже, кажется, были красны.

* * *

У ведьмы дом чист без изъяна, а глаза красные. Есть такой возраст, когда женщина может стать ведьмой. Может, и у нее он наступил. Мужчин в деревне было мало: молодых угнали в армию, как ее мужа, воевать где-то на границе, за много месяцев ходу. Другие ушли к бандитам в их горную крепость. А те, кто остался, уже не взглядывали на нее тем взглядом, от которого делалось и страшно, и сладко. Под рубашкой груди ее были маленькие, мягкие, высохшие. Обвисшая плоть под обвисшей тканью. Женщина не может увидеть себя в глазах мужчины, так только в старых стихах говорится. Но можно по его напряжению почувствовать, как туго твое тело, как упруга поступь. Расчесываясь, она стала замечать кое-где среди черных длинные серебряные волосы. Они были грубее, как-то живей на ощупь и ярче…

Неужто и правда глаза у нее стали красные?

Даже в сухой послеполуденный зной на улице была жизнь. Две дочки Ча Ан и прыткий, как лягушонок, сын Бо Ме сидели на корточках в пыли и о чем-то болтали. Завидев ее, они бросились врассыпную, закричали пронзительно: «Старуха! Старуха!» Оглядывались, а в глаза не смотрели. Оа сжала сухие губы: старуха она и есть или будет скоро, но слово это значило еще и другое. К детям она была неласкова. Пока мужа не забрали, она схоронила четверых своих — хрупкие, как скорлупки, черепа под безволосой кожей, руки-палочки, привязанные к вздутым животам, мертвые висящие ступни с их красивыми бесполезными косточками. Свертки из банановых листьев, нежно утолканные в ямки, вырытые в пыли и твердой глине. Один — мальчик — видел два лета, знал несколько щебечущих слов, ее имя, и был у него такой довольный смешок, когда он видел Толстую курицу. У него была огромная голова, голова мудреца, голова дурачка на теле, которое не наливалось и не играло. Все сразу знали, что и он долго не проживет. Это был третий, а после четвертого их отца забрали в армию.

У входа в лавку стоял лавочник Кун. Он все был на виду, он все улыбался этой своей улыбочкой,

печальной, морщившей его толстое лицо, — казалось, вот-вот тихо заплачет от бессилия и безнадежности. У него была в горé пещера-кладовая, там он держал маринованную свинину и соленья, полотно и нитки, масло и одеяла, корзины и горшки. Кун был человек нужный, знающий, у кого в чем нужда. Оборотистый и дошлый делец, за то и уважаемый. Кун все знал раньше всех. Знал, когда кому умереть, когда родиться, — глядь, а он уж тут с приношением, с подарочком. Бо Ме еще бегала, искала по полям своего старшего, а Кун уже знал, что тот подался к разбойникам. Он знал, что молодая жена Ма Туна с приезжим двоюродным братом наедине сидела. И о чем говорено было, рассказал — немного, но достаточно. Знал он — в этом она была уверена — и что случилось с Да Шином, молодым деверем Оа. Как-то ночью он ушел, никому не сказав, — через год примерно, как ее мужа забрали в армию. О том, что знал, Кун говорил нехотя, с осторожностями. Советовал, если грех налицо, не спешить с судом и карой. Как и у нее, близкой родни в деревне у Куна не было. Раньше он жил с матерью, но она умерла в преклонных летах, окруженная его заботами, провожаемая причитаньями и потоками слез. Его и в армию ни разу

не угнали, и разбойники не обложили его данью. Он был толстый, с мягкими женскими грудями, которые отвисло лежали на его бледном гладком животе. Носил он обычную набедренную повязку из хлопка и хлопковый же длинный кафтан, темно-синий, с желтой и красной вышивкой по рукавам и вороту. Его толстые щиколотки наплывали на мягкие остроносые туфли — он мог в них подобраться сзади неслышным шажком, а мог объявить о своем приближении важным шлепаньем. Оа чувствовала, что они чем-то похожи, она и Кун: одиночки на краю людского круга, не вплетенные в него ни родством, ни долгом. Но Кун сумел сделаться нужным, его даже побаивались. Ведьм тоже боятся. Ведьма может высушить ребенка, может наслать неурожай, сделать свинью неплодной. Ведьма может сделать так, что дерево само собой вспыхнет пламенем. Оа сама никогда не видела, но это все знали. Знали, что такое под силу тем, кто наводит чары, кто делает талисманы. Кун наверняка мог бы сказать, не красные ли у нее глаза, не случилась ли в ней перемена. Но она не хотела о таком услышать от него. Она знала, что он ее не любит, хочет ей зла. Почему — не знала. Может, он и всем хотел зла, без разбору. Поговорить ей было не с кем.

На другой день она пошла вверх по долине к храму. Она взяла с собой приношение Мудрым: мисочку нута, коричневато-зеленый плод йоджи, с обоих концов острый, в продольных рубцах, под ножом текущий прозрачным и жидким красным соком. Женщины, мечтающие о ребенке, в определенные дни жертвовали Мудрым йоджи, взрезая их, щедро обнажая нутро, все в ямочках и пупырышках, где толстые белые семена на ножках-ниточках рядами покоились в своей месяцем изогнутой колыбели. Она взяла еще несколько стручков белых бобов, которые росли у нее в огороде, а теперь почти все были собраны и кучей сушились на солнце. Бобы были бледные, с восковой поволокой и алым крапом, стручки — бумажно-сухие, беловатые, сбрызнутые пурпуром.

Долина круто шла вверх, заросшая желтым шуршащим бамбуком. В нем жили насекомые, пели свои однообразно скрипучие песни, порой проносились мимо промельком угольных крыльев. Храм стоял почти наверху долины, а еще выше, над лестницей в четыреста ступеней, в естественных и выдолбленных нишах сидели четыре сотни каменных мудрецов и божков, глядевших умно и слепо. Он был построен на

плоском возвышении и окружен стеной кровяного цвета, с угольно-черными знаками против злых сил, колдунов и демонов. Под стеной бродили и сидели на корточках люди потерянные и ничьи, бездомные и святые. Женщины в черных покрывалах жались друг к дружке, как летучие мыши. Нагие праведники каменели неподвижно или ритмически простирались и подымались снова. Пахло кислым варевом, кизячным дымом, слабее — лепешками, пекущимися на сковородах, и немного пряностями. Раньше нищие тянули к ней ладони, показывали огромные язвы, иссохшими пальцами водили по бороздам между искривленными ребрами детей. Сегодня они заголосили ей навстречу, но сбегаться не спешили, словно в ней не было для них никакой надежды. Тут же стоял глубокий колодец под островерхим навесом. Оа остановилась, вытянула бадью с ковшом, хотела умерить сушь. Мелкими глотками пила холодную воду, гоняла ее в пересохшем рту, чувствуя, как она окатывает, не смачивая, лоснисто-сухую плоть, застревает в воспаленно-сухом горле.

* * *

Во внутренних дворах было оживленно и шумно: паломники переходили меж больших и малых часовен, монахи в бурых одеждах тащили корзины с зерном и овощами, семьи перекорялись, на корточках сидя в пыли. В большом храме были Мудрые — трое страшных, огромных, выше и шире, чем мог окинуть глаз. Можно было лишь глядеть на тяжкое колено, на гороподобную чудовищную руку или на три лица, в вышине, в полумраке под самыми сводами, невозмутимо глядящие поверх простершихся муравьев. Лица, чудесно, исконно лишенные выражения, родственно схожие в своем совершенном покое. Медные лампады светились на уровне алтарей, а те стояли у подошв великанских ног, пыльных, но не запачканных странствиями. От этого казалось, что Мудрые высятся бесконечно, что предела им не увидеть и не помыслить, что его и нет вовсе. Оа купила у монаха благовонную палочку, зажгла и воткнула рядом с другими на одном из малых алтарей. Она несколько раз поклонилась, выставила перед алтарем мисочки с бобами и йоджи, стала на колени и поникла к земле, рассыпав в пыли черно-серебряные волосы. Ей казалось, она

не знает, как молиться, о чем просить. Раньше она просила о сыновьях или просила простить ей вину, за которую зачахли и умерли сыновья, уже рожденные. Сбоку у алтаря стоял коренастый бронзовый мальчик, толстенький и гладкий, не пыльный, как все в этом громадном, гремучем, дымном от воскурений месте, а блестящий, углаженный, уласканный бессчетными смуглыми и мягкими ладонями. Его бедра опоясывал шнурок, на котором висел алый передничек, прикрывавший лишь то, что было у него между ног. Говорили, что прикосновение к мальчику приносит удачу, приносит сыновей. Раньше Оа всякий раз шла к нему. Молодая и шаловливая, она щекотала его, как любовника, с тихим смехом оглядываясь на мужа. После смерти первого ребенка она робкими пальцами едва касалась теплой бронзы. Однажды она пришла с Да Шином и украдкой тронула ручку мальчика, прося дружбы, пособничества. На лице у мальчика плавала улыбка, приподнимая уголки губ и кончики бровей. Оа пыталась сказать Мудрым, что ей страшно: она не она, что-то меняется, а что — не выразить, но видела лишь эту усмешку, жирный лоск от множества рук — молитв, исполненных и отвергнутых, — да красную тряпицу, которую ни-

кто никогда не поднимал. Она подумала: «Когда я умру, это кончится», и «это» был мальчик, его милости и немилости. Мудрые не снизошли, не дали ей облегчения. Может быть, потому, что она столь малого ждала, потому, что душа ее больше не вбирала в себя беззвучный ток их жизни, как язык и нёбо не могли впитать влагу.

* * *

Она вышла за ворота. Пора делать то, зачем явилась. В свое время была тут одна старуха, которая дала ей талисман от желтых червей в корнях горькой тыквы (Да Шину она тоже кое-что дала, он признался потом). Старуха, которая знала разное. Она жила в крохотной хижинке из тростника и листьев, сидела на корточках, поставив перед собой деревянную миску для приношений, прислонив к себе мешочки из кожи и льна — внутри были тайны. В те дни, казавшиеся теперь далекими, как сказка, в дни, когда Оа текла живой кровью, когда был Да Шин, Оа смотрела на старуху брезгливо, опасливо и словно бы даже немного жалела. Оа была хорошая хозяйка, она любила то, что имела: свои добротные каменные стены, свой до блеска начищенный котел, острую мотыгу, которой она охаживала свои грядки,

чтобы дурная трава не смела поднять голову, или отводила подальше от прохода листья и лозы. Старуха, ее хилая лачужка и сухое черное тряпье казались ненужными, зряшными, непрочными, как хрупкие черные пленочки, остающиеся, когда сожгут бумагу или ткань. Оа шла вдоль наружной стены храма, ожидая, что, скорей всего, старуху не найдет. Но та была на месте, со своей лачужкой, с миской, с мешочками из кожи и льна, — по-птичьи легко сидела на земле, почти как в те дни, когда был Да Шин.

Оа села перед ней, всыпала в миску горсть зерна. «Будьте благополучны, матушка, — сказала она. — Годы вас милуют».

Старуха чуть пошевелилась, зашелестела, скрипнула. Ее лицо было обтянуто тонкой темной кожей, исчерченной тончайшими морщинками, похожими на нежное плетение прозрачной ткани. Под кожей не было ни плоти, ни жира — лишь кость, которая однажды явится на свет. Черные глаза в красных веках глубоко ввалились, короткие седые ресницы — как белые призраки на красном.

— Я тебя помню, — сказала старуха тонким голосом. — Ты просила того, что бывает и чего не бывает. Ты хотела тайного и еще извести желтых

червей. Извела?

— Пропали, как и не было.

Старуха пососала губы:

— Теперь, вижу, за другой наукой пришла.

— Мне, матушка, нужен талисман от сухости. Я вся высохла насквозь, как копченая рыба.

Старуха порылась в складках одежды, вынула вялый лимон и треугольное лезвие. Она положила плод в миску и вре́залась в него лезвием, деля плоть на доли. Старый рот кривился, бормотал, плевал на лимон. Потом стала мешать и мешать доли и наконец одну протянула Оа. «Надкуси, — сказала она. — Увидим: сок твой сам иссяк, как родник, или ведьма его высосала, чтобы иметь над тобой власть. Надкуси и скажи точно, что будет».

Вдохнув запах нагретой кожицы, Оа надкусила лимон. Под языком собралась слюна, но немного, не так, как в молодости, когда от одного вида ярко-желтых сияющих шаров во рту ключом била человеческая вода. В сухой день стоило лишь подумать о лимоне, как изнутри приливало, но теперь и сам он только чуть смягчал сухость.

— Есть вода, но немного.

— Я так и думала. Был бы в тебе живой сок, от наговоренного лимона он бы у тебя потек по под-

бородку. Сок твой иссяк. Кровь тоже высохла?

— Уж много месяцев как.

— Придвинься, я вижу плохо.

Оа подалась вперед, так, что голова ее оказалась под крышей хижинки, лоб — под навесом черного покрывала *той*. Оа чувствовала ее дыхание, витыми струйками вылетавшее из ноздрей, — чистый дух, земляной, пряный, воздушный. Она видела морщинки, прорезавшие лоб и губы, лилово-черный очерк запавших глазниц. Она опустила глаза, чтобы не встретиться с *теми* глазами, чьи белки были желты, чьи огромные райки черны, чьи веки обведены красной каймой.

— У тебя глаза красные, — сказала старуха. — Ведьма может вернуть свой сок, на это есть разное колдовство. Если хочешь, можешь научиться. Если тебе это нужно.

— Я всегда жила порядочно и тихо. Четыре сына было у меня, но что-то из них жизнь сосало, ни один толком не пожил. Я сад содержу хорошо, и дом у меня чистый. Мужа забрали, жить мне не для кого. Некому будет горевать, если я завтра умру или начну бесноваться, как Ше Ат бесновалась, пока ее из деревни не выгнали и не забили камнями. В деревне мне уважения нет. Сыновей

не осталось, никто в старости обо мне не позаботится. И с каждым годом хуже будет, хоть чуть, да хуже… Знать бы мне вашу науку, матушка, была бы оборона от того, что сыновей моих высосало, от того, что со мной творится.

— За науку платят, — сказала старуха.

Она не протянула руки, и можно было решить, что речь о жизни, не о деньгах. Но Оа достала из-за широкого пояса три монеты и положила в миску рядом с лужицей лимонного сока. Дернулась ткань, мелькнула ловкая длиннопалая кисть, и монеты исчезли в черном рубище. «Ну, запоминай: устроишь алтарь. На него положишь, что я тебе дам, и сама еще кое-что достанешь. Дождешься, пока влажное высохнет, а сухое нальется. Тогда будет у тебя власть над сухим и влажным, ты сможешь лечить, а если захочешь — портить. Все тебя будут уважать и бояться. Если только кого сильнее себя не встретишь».

* * *

Когда она сквозь зной шла по деревне обратно, на нее молча смотрели соседи. Кун стоял в тени своего дома — на круглом животе полумесяцем блестел пот, глаза следили за ней, губы брюзгливо поджимались. Дети бежали прочь, увидев ее. В

деревне почти все про всех знали. Корешки и лыко, пыльные сушеные бобы, черные и алые, она пронесла в складках длинных юбок. Дома кухня была темна и тепла теплотой нагретой земли, здесь было прохладней, чем на улице. Толстая курица с важным видом выбежала ей навстречу, негромко кудахча и потряхивая запачканной в земле бородкой. Она боком глядела на хозяйку ярким золотым глазом, кивала красным, набекрень надетым мясистым гребешком. Оа поставила воду для чая и зажгла свечку у маленького алтаря над плитой — это был алтарь домашнего духа. Другой алтарь нужно поставить так, чтобы не было видно в окно, сбоку от плиты, позади горшка с овощами. Под балками потолка, в чревах мешков и горшков, хранились разные амулеты — связки перьев и веточек, шерсть, семена: умилостивить безымянных демонят и бродячих духов.

Она заварила чай, отщипнула кусочек от сладкого рисового шарика и села на пол спиной к окну. Она сидела и глядела на свои ножи, на свой тесак, на свое сито, лежавшие на низком столике. Курица сновала вокруг, суетливо подбирала с пола рисинки и дружески поквохтывала. Она была хорошая несушка, эта курица, и сама наведывалась к горластому петуху Бо Ме. Только на

яйцах сидеть не любила, оставляла их в разных тайничках, известных хозяйке, а сама бежала обратно в кухню смотреть, как Оа режет овощи к ужину, и склевывать просыпанные крупинки. Оа задумалась: среди прочего старуха велела достать недосиженное яйцо, яйцо, в котором свернулся уснувший цыпленок и которое сгниет на алтаре, чтобы из гнилости перейти в сухость. Это не так-то просто, может, ей придется красть из-под чужих наседок — ей, всегда державшейся особняком, жившей пристойно и строго. Для цыплят время было плохое: самый разгар засушливой поры. Еще нужна была змейка-плетка — тонкий, ядовитый, быстрый и бледный червь, поражающий из-под камней по обочинам полевых тропок. Змеек этих боялись, поэтому Оа знала, где их можно найти. Или можно было раньше. Да Шин умел ставить на них ловушки из раздвоенной палочки и петельки. Он и ей показывал, но она никогда не пробовала. Они сидели плечо к плечу на краю тыквенного поля, прилаживали ловушку с приманкой и боялись дышать. Она помнила, как, освещенные солнцем, быстро и ладно ходили его запястья, помнила проступившую вереницу позвонков, напряженные стегна, когда он сидел на корточках, запах его, уже мужского, пота, тут

же высыхавшего, и жар, занимавшийся между ними. Она решила, что попробует сама изловить змею: так безопаснее, чем платить мальчишкам. С остальным будет проще. Нужны некоторые внутренности большой степной крысы — ее легко поймать и в это скудное время, можно самой, а можно просто купить у мальчишек на ужин. Еще разные сочетания семян… Она медленно пила чай и думала, как что устроить, словно у нее больше не было выбора, словно самой ее, с ее страстями, с бесполезными желаниями и надеждами, не было здесь.

У нее снова появилось дело, место в мире. Яйцо придется украсть: сколько месяцев пройдет, пока Толстой курице вздумается сесть на кладку? Может, и никогда не вздумается. Да если и сядет, наседка она не усердная. Несушка — хорошая, потому Оа еще не свернула ей шею и не отправила в котел. А может, и еще почему-то.

* * *

Когда все нужное было собрано и опрятно разложено по мисочкам, наступило дурное время меж двух времен, удушливое время тошных запахов, гниения и набухания: яйцо протухло, взорвалось и опало, крысиные кишки сперва

вспучились, а потом скорчились, жесткое кольцо змеи распухло, пошло бугорками и наконец иссохло. Старуха сказала, что, пока они иссыхают, никто не должен прикасаться к волшебным вещам, перекладывать их, менять их взаимные отношения и что никто, кроме Оа, не должен их видеть. Это было нетрудно: никто не навещал ее, никто не любопытствовал, как она живет. Может, разве что Кун, но Кун был мужчина, и ему нельзя было на женскую половину. Мальчикам разрешалось быть с матерью на кухне до двух лет, а потом их забирали и держали в другой части дома, отделенной сдвижной дверью, висячей циновкой или камышовой шторой, смотря по достатку семьи. Поэтому никто не входил на кухню к Оа в дни, когда там гнило и сохло, а были они долгие, маетные, с бессонными ночами и страшными снами: демоны кружили в воздухе, Да Шин лежал изломанный на острых камнях у подножия горы, и живот его вздулся на солнце. Огонь трещал по кустам на равнине, где в особую луну вся деревня собиралась, чтобы плясать, пить, петь, спотыкаться и лежать, как упал, в теплой темноте, где мужчина ищет руками чужую жену, а нетронутая девочка тянется к мужу старшей сестры — невозбранно, ведь в них вошли духи,

и они не они, не дети своему дому, не собственность своих мужей, и деревня не казнит тебя, если дотронешься до мужнина отца или брата. Запах наполнял кухню, он реял в легком дыму, он пропитывал жир в волосах Оа, он не нравился курице, она держалась подальше и недовольно кудахтала. А потом время его кончилось, он ушел, и настала тихая сухость. Яйцо превратилось в меловые скорлупки: гнилостные газы прорвали его оболочку, и она осыпалась, обнажив косточки, зачатки перышек и гнутый череп с гнутым клювом. От змеи осталась бумажная белая чешуя поверх мелких косточек скрученного хребта, хрупкие глазницы и, в иголочках клыков, челюсти, от которых, съежившись, отпали шкура и нёбо. На месте крысиных внутренностей было только бурое пятно. Зато сморщенные сухие бобы, алые и черные, налились, округлились и заблестели, странная сушеная плоть каких-то овощей, что дала ей старуха, пористые грибные шляпки и колтуны спутанных корешков ожили, наволгли, сделались мягкими и упругими. Призрак запаха еще висел надо всем — так по многу дней пахнет гарью на кухне, где вспыхнул жир, где было внезапно вставшее пламя, а потом мелкие черные угольки.

* * *

В деревне решили, что Оа ведьма, когда она вылечила язвы на ногах у сына Бо Ме. Конечно, решили, что она же их и наворожила, что сосала из ребенка жизнь через язвы, на которых с каждым днем густел желтый гной, привлекавший мух. Однажды у желоба Бо Ме очень просто заговорила с ней, впервые назвав «матушкой». «Моему Ча Тину все хуже, матушка. На ногах язвы гноятся, сохнет мальчик на глазах. Я уже со всеми советовалась, ничего не помогает. Может, вы какое лекарство подскажете?»

Обе знали, что близкой подруге, матери или сестре Бо Ме сказала бы, что какая-то ведьма, порчельница портит ребенка мыслями или заклинаниями. Но Оа отвечала ласково, что мать научила ее готовить разные снадобья: вдруг что-то поможет? Пусть Бо Ме приводит сына на закате. Когда он пришел, болезненно хромая, с испуганным заострившимся личиком, она велела Бо Ме подождать у входа в кухню, а его увела с собой. Она коснулась ножек-палочек пучками лапчатых листьев и намазала пузырящиеся язвы смесью паутины и истолченных горьких трав, которую знали все женщины в деревне. Она за-

пустила руку в высокий горшок и вынула из его темноты маринованный лимон.

— Держи. Съешь его, и вода вернется, куда должна, — под язык.

Мальчик глядел на нее темными серьезными глазами:

— Спасибо, матушка.

— Не за что.

Она вывела его к матери:

— Теперь поправится.

Потом она остановила понос у Ди Нан, дав ей съесть зернышко и велев обойти деревню четырежды по солнцу и четырежды против. Потом заболела свинья у Та Шин, не ела, все лежала на боку и жалобно повизгивала. Уже уверенная в своей силе, Оа вылечила ее, просто сказав, чтобы ее два дня не кормили. На второй день она встанет, и тогда через три часа надо дать ей месиво. Теперь ее уважали. Бабушки носили ей подарочки: кусок сала, мисочку вареного риса. Ее почтительно встречали на улице: «Здоровья вам, матушка». Да, что-то произошло, но не то, на что она надеялась, и не то, чего смутно ждала со страхом, залегшим внутри, как горячий камень. А потом пришел мальчик — другой сын Бо Ме, не крошечный Ча Тин, а красивый Ча Хун, с

лоснистой кожей, с лоснистой длинной черной косой, которая яркой змеей скользила по спине, когда он встряхивал головой. Не мальчик уже, мужчина — увидела Оа, когда он неспешно, с развальцей, прошел мимо ее двери. У него были выступающие мускулистые ягодицы и живот плоский, твердый, упругий. Небрежно, небрежно прошел он мимо, и вернулся, и еще небрежнее прислонился к косяку, быстро глянув в темноту дома.

— Как поживаете, матушка?

— Не жалуюсь. Что твой братик?

— Скачет, как козленок. Ваших рук чудо. На улице жарко и пыльно, матушка, можно мне войти?

— Стара я тебе запрещать, — неприветливо отвечала она, и это значило: было время, когда ему было бы грешно войти в дом и оказаться наедине с чужой женщиной. За это наказывали. Но не теперь, теперь она была не женщина, а что-то еще.

Он вошел, словно темное сияющее масло влилось в пиалу, и сел на пол, принюхиваясь к запахам ее дома, вбирая взглядом пучки веток и перьев под потолком, застеленную постель, чистоту, расхаживающую по комнатам курицу. В темноте он чуть оробел и теперь смотрел на нее

снизу вверх, как ребенок, ждущий лакомства, утешения или что догадка о его беде придет к ней естественно, как приходит к матери, чей младенец кривит личико, мучась газами, и мать помогает ему. Никому не мать, Оа отступила на шаг-другой и глядела бесстрастно, ждала, что будет дальше. Яркий свет в проеме двери затмился тяжестью: возник жирный загорбок Куна и его наморщенное лицо. Долгое мгновение Кун смотрел на них, потом туфли зашлепали прочь. Ча Хун испугался и пустился в бесконечную учтивую беседу, которыми услаждались в деревне, о здоровье всех и вся, от старосты до новорожденного младенца, потом перешел на коров и бобовые поля, на тыквы и пасеки — все в приличном порядке и таких выражениях, чтобы не навлечь зла. Оа отвечала вежливо, рассеянно, предусмотренными для этого словами и наблюдала за ним. Вскоре снова прошел Кун — обратно по другой стороне улицы, и они видели, как он издали всматривался внутрь. Ча Хун поднялся. Уже в дверях он без вступления спросил:

— А талисманы? Вы делаете, матушка, талисманы — не от болезни, а другие?

— Может, и делаю, — отозвалась из комнаты Оа. — Как я могу знать, если ты не сказал для

чего.

— Да это не мне, — чересчур беззаботно ответил он, поворачиваясь, чтобы идти. — Можно я к вам еще загляну?

— Заходи, когда захочешь.

Когда он ушел, она проговаривала все ими сказанное с курицей, пока не нашла изъян. Перечисляя, как положено, близкую родню, он кое-кого не помянул. Кое-кого, на ком должен был остановиться с особым почтением.

— А ведь похоже, что это оно, — сказала Оа курице.

Они сидели на полу, Оа пряла козью шерсть, курица уютно устроилась рядом, распушив в пыли грудные перышки.

— Что ж он хочет: присуху или отраву? Или сперва одно, а потом и второе? — спросила Оа у курицы, глядевшей на нее круглым глупым глазом. — Поможем ему или пусть погорюет, да цел останется?

Ча Хун промолчал об Ан Ат, молодой жене старшего брата. Брата забрали в армию, как и мужа Оа, только шел он, наверное, не так охотно. Забрали в прошлом году, в начале сухой поры, когда Ан Ат, дитя и женщина, только переступила порог дома его матери. Семейство у Бо Ме было

многочисленное, бойкое и крикливое. Девушку взяли из соседней деревни, отдав в уплату двух коз, несколько мешков зерна и чудной железный котелок, что принес из-за гор родственник, бродячий солдат-наемник. Солдаты возвращались иногда с перебитыми лодыжками, с выжженными глазами, с отгнившими пальцами, не мертвые, но и не годные ни к чему живому, просто не обессилевшие настолько, чтоб ползком не ползти домой. Девушка была тоненькая, все капризничала, перебирала палочками еду и молчала, а то улыбалась быстрой, скрытной, презрительной улыбочкой. Бо Ме ее не любила. В деревне говорили, что она по дому работает, а на людях чудит, притворяется белоручкой. Ходит — словно расплескать боится, или нарочно сядет и сидит сложа руки, а у самой все давно переделано. У нее были красивые волосы, и она подолгу их расчесывала, завивала, распускала по плечам. Пока мужа не забрали, она вплетала в них цветы, украшала булавками с бусинкой и лентами, которые привезла из дома, а теперь больше не носила.

В больших семьях спали все вместе. Мужчине запрещалось входить на женскую половину или быть наедине с незамужней женщиной, если она

ему не родня. Зато позволялось делить кровать с женой брата, с «сестрицей», конечно не касаясь друг друга. Спать так, словно между — длинные ножи. Так она спала с Да Шином, в первые годы мальчиком, потом уже нет. Ночь за ночью, вслепую, слыша дыхание рядом. Перекинешь во сне руку через ножи, руку, темно и таинственно отдельную от спящей твоей головы на подушке, — умрешь. Вернее, женщина умрет. Мужчину выгонят из семьи, если семья так рассудит. Обычно не выгоняли. Мужчины в деревне были редки, и в грехе винили женщин: считалось, что таково их естество. Оа тоже так думала, так ее научили. Она знала, чего хочет Ча Хун, а по деревенским понятиям, мужчина такого хотеть не мог.

Через день или два она увидела, что за Ча Хуном ходит Кун. Увидела без удивления и тревоги, только камень внутри стал горячей и тяжелей. Кун смотрел от порога, как парни идут на работу, — это было привычно. Спокойно, с достоинством стоял невдалеке, когда они о чем-то шумели, усевшись под деревом, — это тоже. Но теперь всякий раз, как Ча Хун шел один: к желобу, помочиться в поле или пройти мимо ее двери, думая о том, как высказать невысказанную просьбу, сзади маячило тяжелое тело, легко катящееся на толстых

ногах с наплывшими складкой щиколотками, и лицо без выражения, без лица. Когда-то он так же ходил за Да Шином, который не был ни первым, ни последним. Женщины говорили, что Кун похож на женщину, и ежились: они знали, что это значит, но никто не мог рассказать о нем того, что рассказывали о других мягких мужчинах, ходивших за мальчиками, и мягких мальчиках, ходивших за солдатами. Кун был когда-то женат, далеко в смутном прошлом. Деревня казнила его жену за то, что она пыталась околдовать его, подчинить его мысли, накормив шариками из меда и еще из других вещей, которые нельзя называть. Детей у него не было, и больше он не женился. Оа не знала, что говорят мужчины о нем, о мягком шлепанье за спиной. Она была глупа, никогда не спрашивала Да Шина. Между ними ничто не было высказано, был ком молчания, увесистый и темный, как сам Кун. В ту ночь, когда Кун говорил с Да Шином, она жалела, что ничего не сказала, не спросила, не облекла в слова. Но что могли сделать слова? Только навлечь беду. Когда Ча Хун вернется, она скажет ему с высоты своей новой власти: «Берегись Куна».

* * *

Он вернулся, конечно. Сел на корточки в проеме двери с лицом, осунувшимся от страсти, с блестящими глазами, и мимо прошел Кун, склонив голову, подобрав подбородки, поджав губы, как он умел, чтобы не выпустить ни слова, ни дыхания, ничего.

— Матушка, вы можете сделать талисман на любовь? — выпалил Ча Хун, впившись в колени пальцами, вскинул на нее глаза и тут же опустил.

Из своего сухого далека Оа подумала, что он сам — любовное зелье, и, чтобы подразнить, сказала:

— Тебе-то зачем?

— Это не для меня.

— Для талисмана правда нужна.

Ча Хун нахмурился и наконец решился:

— Эта девушка — она не моя. Она со мной не гуляет.

— Ну, так сделай, чтобы гуляла.

— Она не может. Ей нельзя.

— Если нельзя, — горько сказала она, — то ничего из этого не выйдет, только беда и смерть. Ты сам знаешь.

— Но должно же быть… я должен… Должна же

быть радость! Я чем угодно, я жизнью заплачу!

«Жизнью, да не своей», — хотела сказать Оа, но смолчала, потому что вспомнила Да Шина и как он пропал. Куда он ушел, что с ним сталось? А еще, потому, что зло ощущала его молодую силу, может быть, и силу той девушки, горящую жадно и упрямо. Она ведь поможет огню? Поможет им сгореть? Если они так хотят.

Она рассказала, что́ он должен принести, — всё вещи, которые достать непросто: волосы, обрезки ногтей, месячную кровь девушки, семена из ее кладовой, мед из ее сот, муку, что она смолола, и его собственное семя. Все это она в правильную луну смешает с тем, что у нее есть, а он потом испечет, сам испечет, как она покажет. Ча Хун недовольно уставился в пол и сказал, что это трудно. Его бледный язык смочил губы, золотистые в полумраке, и что в этом было — отвращение, страх, желание? Оа, сухая, села рядом с ним и резко сказала, что такое дело просто не бывает, оно трудно и опасно, потому что хочет он трудного и опасного. Если в сотах будет молодая пчела, не вышедшая из кельи, захлебнувшаяся собственным текучим янтарем, тем лучше, но можно и без нее. Все это нужно принести, когда луна будет в третьей четверти, или пусть он ждет еще

месяц. Тень пересекла их разговор, навалилась на шелковые плечи Ча Хуна, извиваясь поползла по ним, по ее лицу, вполовину обернутому, как у курицы, напряженно глядящему снизу одним глазом. Кун стоял в ее дверях, положив руку на косяк, тушей застя ей солнце.

— Что тебе, Кун? — Она назвала его прямо, что могло быть к беде, а могло быть и угрозой — смотря по тому, обладал ли кто из них силой сглаза.

— Ча Тин, слышу, поправился? — хмуро спросил он.

— Ча Хун говорит, скачет, как козлик.

— Что ж, надеяться будем, что и дальше так, — сказал Кун с тяжкой учтивостью, отвалился от косяка и легко покатился дальше.

Горячий камень пошевелился в своем темном горне. Она открыла рот предупредить Ча Хуна, но не смогла — так было сухо внутри. Не было влаги даже хрипнуть вороной. Хотя что тут говорить? Ча Хун не дурак, должен сам понимать. Да и не уйдешь от Куна, если судьба такая. Кун ремеслом себе положил все обо всех знать, неужто о Ча Хуне не разнюхает? Она видела, как Куновы вострые свиные глаза общупывали ее, ее высохшую суть.

* * *

Он вернулся, Ча Хун, со сверточками из листьев и с глиняными горшочками. В сказанное время, ночью, постучал в ее дверь под калекой-луной, криво висевшей над горою. Руки его были пусты. Уже внутри он достал все, что нужно, из узелков, увязанных в набедренной повязке, и разложил перед ней. Коротко и недовольно он назвал каждую вещь, но не объяснил, как их достал, что, может, сделал бы другой, волнуясь и желая показать свою находчивость и готовность. В оловянном свете она взяла у него вещи и унесла в кухню, к тайному алтарю. Когда Ча Хун вернулся на следующий день, она уже смешала их с собственными тайнами, с собственными чарами, жидкими и твердыми, с растертой в пыль грибной мякотью, что дала старуха, с несколькими змеиными чешуйками, с оскрёбками крысиного пятна. Под ее взглядом он слепил в миске шарик длинными пальцами, липкими от меда и рыжими от крови, — женская работа, неловкие пальцы. Теперь он будет печь его жаром своего тела до новой луны. Она должна была объяснить ему, где носить шарик. «Здесь», — сухо указали ее пальцы, и он повесил голову, беспомощно глядя,

как его прут изогнулся и поднялся к ней, живой собственной жизнью, жарко-красный, влажно блестящий. «Это хороший знак, — сказала она жаркому и дрожащему мальчику. — Значит, колдовство действует, шарик слепили правильно, талисман поможет. Как испечешь, дай ей съесть. Если думаешь, что откажется, раскроши и подмешай незаметно в еду. Лучше бы весь разом и по своей воле, но тут уж суди сам». Стыдясь и горя, он стоял перед ней, и сильный тонкий прут слепо качался за ее рукой, как капюшон зачарованной змеи. И она — скребущая, скрипящая сушь — сказала: «Иди, пока никто не пришел». Это значило: Кун, но она не осмелилась назвать его.

Под утро ей приснился этот мальчик или, может, не он, а Да Шин, какой он был когда-то: нагой, как этот мальчик, и подъятый. Она часто думала о Да Шине, словно он был тут еще на прошлой неделе, словно удар от его ухода еще сотрясал ее, но теперь она вдруг поняла, что прошло много, много лет. Мальчик, которого она видела ровесником Да Шина, был ближе возрастом к ее зарытым в землю сыновьям, к этим крошечным, хрупким мужским телам. В снах она тянулась, тянулась из разрытых простынь обнять, стиснуть его, склоненного, золотого, напряженного. Она

не его желала — только лишь ощутить желание — и была суха. Тогда она принималась играть с его душой, дразнимая и дразнящая, бессильная.

* * *

Новая луна народилась и выросла. Ча Хун не пришел сказать, съела ли девушка шарик, по воле или обманом. Встречаясь с ней на улице, он не смотрел в глаза, а позади его вкрадчиво шлепал Кун. Но говорить и не нужно было: новое светилось в нем, в его блестящей косе, в молодцеватой поступи, в том, как он вдруг запевал на ходу и размахивал руками. И девушка тоже стряхнула свою сонную одурь. Она теперь ни минуты не могла усидеть на месте: подметала, где уже метено, улыбаясь бегала к желобу. Что могла понять Оа, то понимал и Кун, понимал, должно быть, и то, что она приложила к этому руку, хоть была уверена, что все устроится и без нее. Потом улыбка Ан Ат сменилась морщинками тревоги, и они все углублялись, и она уже не летала, а сутуло брела по улице. Оа ждала. Колесо было пущено с горы. Когда раздался вой, она решила, что это Ан Ат. Он прозвучал перед рассветом, бездонный вой, потом захлебывающаяся голосьба и снова вой — такой, что луну проглотит. Захлопали двери,

зашуршали по улице босые ноги. Все собрались в сером свете позади Куна, который был тут как тут, тихо изготовившийся. Бо Ме вырвалась из дому, вырвалась из испуганных рук Ан Ат и Ча Хуна, воя, мотая волосами, как яростная звериха, повалилась наземь и каталась в пыли.

— Бес вошел, — сказал кто-то.

— На доме порча.

— Ее сына колдовством погубили! — крикнула Ан Ат. — Ча Тин как спал, так и умер.

— Ночью пришла ведьма и из него душу высосала, — сказал Кун. — Так, наверно, надо понимать…

— Мой дом проклят! — вопила из пыли Бо Ме. — Сына убили, семью опозорили!

Оа стояла в дверях и думала, отрубят ли голову Ан Ат. Думала не вдумываясь. На крыльцо выбежала курица в пыльных перьях.

Оа хорошо знала, кого обвинят, в ком высмотрят зло. Она и всегда это знала. Хотела подойти к Бо Ме, сказать, что знает, как страшно потерять сына, но не могла и не смела. Это смерть ее сыновей, ее тоска, ее Да Шин, ее сушь — они все навлекли. Это ее беда виновата.

— Разберем дело, — начал Кун, как она того и ждала. — Кричать не будем, а поищем лучше,

где в деревне колдовство угнездилось и где начало злу.

И толпа отвернулась от причитающей Бо Ме и посмотрела на Оа с единой своей мыслью, с единым желанием.

— Может, кто знает, не было ли на этот дом порчи? — спросил Кун, глядя не на Оа, а на Ча Хуна.

Перед Ча Хуном забрезжила лазейка, и он начал, заикаясь, рассказывать. Он рассказал, что ночью к нему приходили духи, что он видел старуху, сидевшую у него на подушке, что старуха связала его душу тонкими шнурами, и плюнула ему в рот, и сделала с ним как хотела. Что, околдованный, он пошел к ней и она дала ему вороженый шарик, чтобы он раскрошил и подмешал Ан Ат в кашу. Что Ан Ат, съев его… Всю семью подкосила она, иссохшая старуха, из черной зависти к Бо Ме с ее сыновьями, к Ан Ат с ее молодостью и красотой. Всю семью загубила. Бо Ме причитала, лежа в пыли.

— Отвечай, — сказал Кун.

— У меня нет слюны, — прошептала Оа.

Толпа зашумела, возбужденно вспоминая: Оа глянула на одного, а ночью у него заболел живот. Другая подошла после нее к желобу и видела, как в глубокие тени скользнула водяная змея. Да и

Ча Хун эти несколько лун не в себе казался, это все заметили!

Ан Ат, стоявшая скрестив руки, пока изливался Ча Хун, бросила на нее один взгляд — быстрый взгляд, сообщнический, враждебный, а может, и виноватый — и упала рядом со свекровью, крича, что согрешила, но не по своей воле, что виновата, но это ведьма ее околдовала, что на всей деревне лежит порча…

Кун сказал: «Эта женщина собственного деверя ввела в грех. От стыда он не мог больше жить с ней под одной крышей, он убежал и бросился со скалы… Туда нельзя спуститься. Его кости там белеют, непохороненные, под дождем, под солнцем. Его съели птицы и черви. Мне было видение, и я ходил на гору и видел, что это должно быть правдой. Теперь она состарилась, красотой вредить не может — так она взялась за ведовство. Это все знают. Забирается в наши мысли, нашептывает из подушек. Она каждого может испортить, от нее вся деревня нечиста. Как мы очистимся?»

Опять загомонили, и этому не было конца. Перебирали несчастья: расплодились желтые черви, капуста повяла, пшено пошло плесенью, у козы молоко высохло, за дорого купленная жена ходит пустая. Ан Ат, борясь за жизнь, решилась:

обхватила Бо Ме, и та не оттолкнула ее. На гордом личике Ан Ат все кости проступили от страха и напряженного внимания.

«Что делать будем?» — растерянно спрашивали в толпе, а жалобы все взбулькивали, пенились, как сок в квашеных бобах, что хранятся в плохо вымытом горшке. Оа безучастно стояла в дверях, у ног ее суетилась курица. Она и не думала защищаться: к этому шло с самого начала, и слова только бы подлили масла в огонь. Кун молчал, но она знала, что все зависит от него. А он смотрел на мальчика, на Ча Хуна, как тот стоял на коленях возле матери и боялся к ней прикоснуться, чтобы случайно не тронуть цепкую, отчаянную Ан Ат. Ча Хун как-то безысходно сжал губы, и морщины меж бровей, врезавшись глубоко, клином сошлись к глазам. Наконец он повернулся к Куну и угрюмо, с чем-то подспудно тлеющим внутри, спросил:

— Что ж нам делать? Посоветуйте.

Кун воздел над ним мягкие, гладкие руки и легко взмахнул ими: тише. Он подошел ближе, положил ладонь ему на плечо, перевел взгляд с него на Бо Ме с Ан Ат и затем — на Оа. Его ответ прозвучал вопросом:

— Как мы раньше делали, чтобы очистить

деревню?

И Ча Хун ответил ему:

— Высушивали ведьму. Вытаскивали на солнце.

— На солнце, — отозвалась Бо Ме голосом, переливчатым от слез и причитаний. Она раскачивалась, тряся распухшим лицом, и Ан Ат слилась с ней в одно.

Кун больше ничего не сказал.

Единый голос подхватил: «На солнце ведьму! Солнцем зло высушить!»

* * *

Оа видала, как это было с другими.

…Ее выволокли за околицу, прибив, но не сильно: им было не по себе от ее упорного молчания. Привязали льняными жгутами и пенькой к обломку мертвого дерева посреди голой, пыльной пустоши — там, где плясали в священные дни. Посадили, привязали и оставили под раскаленным солнцем, лицом туда, где строем росли кусты шипастой дерезы и виднелись дальние горы, по верхнему краю которых плясали небывалые лазурные и белые сполохи. Три дня. Если через три дня она не умрет, значит солнце выискало и иссушило в ней зло и ее отвяжут. Жара в тот год

стояла такая, что никто не упомнит, и задержалась дольше обычного. Может, начнутся дожди. Может, она сумеет скрепиться, утишить суть и кровь, вытерпеть, выждать. Жить тихонько, по капельке, пока не польет с неба, пока не кончит кипеть и пузыриться плоть (она видела у других эти пузыри и знала, чего ждать). Сушеных старух приносили обратно — в волдырях, в корках, в струпьях, словно солнце дубило их, да не выдубило хорошенько. Отпаивали водой с медом. Одна лишилась ума. «Жареные мозги!» — кричали дети. Другая все лепетала по-ребячьи о временах, давно забытых, и детях, давно схороненных. Рассудив свою беду в первые, еще ясные разумом часы, Оа поняла, что этой живучести в ней нет. Не было и страха, даже звериного, не было позыва теребить веревки, стонать, взывая к жалости. Она ведь знала еще тогда, глядя на тот живой, блестящий, в слепой тяге взметнувшийся прут, что нет в ней тяги ответной — ни к чему, что для нее все кончено. Отрубят они голову Ан Ат? Этого она не узнает. Коротко подумала о курице, о ее маленьких радостях, о том, как она горделиво семенила вокруг, ожидающе поглядывая на хозяйку. Может, ей уж свернули шею. Рот ее покривился от мучительной жалости.

Пока солнце не встало над головой, она все же огляделась вокруг. Угольно-черные, в запекшейся коре, кусты дерезы облетели от жары — никто не знал, оденутся они весной или будут торчать под дождями как мокрые остовы. Горы высоко, где снег, были холодные и чуть стеклянистые, а книзу — дымные, аспидные. Небо еще не огрузло от жара и было голубым, яростно-голубым и сухим. Оно струилось сушью, как в глубоких реках чуть заметно струится вода: поверху гладь, а под ней — тонкий перелив, живая глубь. Солнце поднялось у нее за спиной, постояло над головою и опустилось за колючками дерезы. Сначала был пот — она и не знала, что в ней еще столько осталось, — капельки вырастали на волосках над верхней губой и тут же исчезали. В члены по очереди вступала боль. Веки: в последний раз отчаянно закололись ресницы, и кожица вздулась пузырьками, и на сетчатке кровью вскипели тонкие ве́нки. Язык, невесомый булыжник, трескался, колотясь о зубы. Жар сбегал позвонками, сколупывал бесцветные шелушинки, набухал подушечками там, где было натянуто тонко, где кожа сходила, а под ней была влажная плоть, быстро высыхавшая. В ушах зашипело и запищало: мозги корчились и ужаривались, как требуха

на сковороде.

Бывает, болит что-то одно: здоровая плоть, размозженная сорвавшимся камнем или вспоротая гигантской головой младенца, раздирающей узкий каналец. Но эта боль была везде, сушью въедалась внутрь, изничтожала тело, и оно переходило в воздух, в окрестное небо — так змея, яйцо, крысиное пятно иссохли, развеялись с ее алтаря. Она сама стала болью, и она следила за болью неотступно, и, когда сошла холодная ночь и боль кончилась, она задрожала и не хотела вернуться в ноющий костяк. Ночью все тело просило воды. Ей думалось о мокрой тряпке на лбу, когда обреченные сыновья, мучась, выходят в мир, о белесой водице на дне миски, когда влажный утренний рис съеден. О воде на листьях, когда пришли дожди и она бежит, бежит, собирается в капли, и капли повисают на краешках и срываются. И о курице, как она понемножку тянула из лужи в дождливую пору и глотала, закинув клюв. Ее томили малости — капли, капельки. Чайной пиалы было бы слишком много, мысль о желобе раздавила бы ее. Ночью болели кости, в их трубках потрескивал мозг. Колени и щиколотки были как уродливые наросты. Она то спала, то проваливалась в боль, торопя конец.

Наутро, еще до жары, она смутно увидела их, глядящих на нее сквозь кусты дерезы. Они были обведены нестерпимым пламенем, они горели в воздухе, двигаясь так легко и текуче: указывали рукой, ногами попирали землю, словно это было естественно и возможно. Она глядела сквозь щелки опухших глаз и не могла разобрать, кто они были, что они были. Солнце подымалось, и с ним подымалась в ней милосердная чернота — не древесной тени, а горячего железа, но она окуналась туда, как в заводь, чтобы отдохнуть, избавиться от себя. На руках и ногах длинными прорехами лопнула кожа, открыв живое мясо, завернулась и запеклась. Все было темно, темно, а по краям — как бусинки в темных волосах, проблески неба, плотно-лазурного, но уже идущего трещиной.

Вторая ночь была хуже всего, от прохлады боль снова расползлась по ожогам и язвам, захотелось сдвинуть недвижимый вспухший язык, поднять стянутую веревкой руку, утереть страшные, покрытые волдырями глаза. Она подумала: так вот куда оно шло. И все, что было ее, оказалось пустым, вылущенным — сдуть, как пыль, соскоблить, как упрямую цепкую нагарь, приставшую к решетке плиты. Раз так быстро приходишь сюда,

не стоит и затеваться.

* * *

На третий день ее стало две. Она была подле тела и видела иссыхающую плоть, бурую и синюю, лицо в трещинах, оскаленный рот с сухими костяными зубами. Она быстро шагала внутри себя — значит, у нее были ноги — и смотрела избоку — значит, у нее были глаза — на несчастную тварь, привязанную к дереву, на пыльные шипы черной дерезы, на голубую горячую чашу, где свободно ходили волны жара и мощи. Волны шли через нее — новую, и она купалась в жару, набирала его в ладони, как набирают воду, плещась в затончике после дождей, когда пустое русло наполнилось. Скоро она оставит эту бедную тварь, и тогда оборвется сухой гремучий хрип, идущий у нее из глотки. Пока же она осторожно ступала туда и сюда, на ощупь пробовала сушь, раздвигала жар и свет, словно была ими же, только плотней. Что-то живое промигнуло в кустах дерезы. Что — не понять, ее стремительному, раскаленному взору плоть предстала мутными, мешкотными, комковатыми сгустками. Сейчас она кое-что сделает, сейчас они заскачут! Она обернула к ним яркую воздушную голову и присобрала, словно длинную

ткань, жар и сушь, обвитые вокруг кустов. Дереза ожила, золотые, серебряные, красные ноготки заблестели на тонких пальцах, огоньки побежали по высохшим черным рукам. Жар и сушь стали видны как есть — прозрачная, но зримая дымка, веющий воздух. И куст стал огромной головой в пылающих волосах, взметнувшихся и вопящих.

— Так я и правда могу поджигать деревья!

Она легонько заплясала под треск и гул разгоравшегося огня. Мелкие существа прыснули в стороны мокрицами из резаной соломы, и она смотрела на них, как довольный ребенок на муравьев, бегущих из раздавленного муравейника. Вихорьки жара подлетели, подхватили ее и понесли прочь от стянутой трескающейся твари. Прочь.

Потеряла лицо[24]

Каждый день они перемещались по трем сторонам прямоугольника. Восемнадцать этажей вниз в прямоугольной башне, под широкую автостраду с движущимися лентами скоростных автомобилей, девятнадцать этажей вверх в другой башне, потолще и не такой сверкающей, стоящей на недосягаемом противоположном берегу магистрали. Недолго потеряться, как крысам в лабиринте, и ходить в разные стороны по отполированным серым подземным переходам, но эти зигзаги выпрямились, словно их резко дернули за концы, и вот они уже поднимаются на девятнадцатый этаж.

Когда они на минуту останавливались рядом с унылым ревом моторов, перед ними возвышалась коричневая башня, назначение которой, казалось, заключалось в том, чтобы поднимать высоко над городом и демонстрировать прямоугольное число, составленное из ярко-красных огоньков, таких же как множество тормозных огней. В первый день число это было 379. На вто-

---

[24] Примечания: 24
Перевод О. Петровой

рой день — 378. К третьему они нерешительно выдвинули гипотезу, что число каждый день уменьшается на единицу. Один из них рискнул предположить, что это цена закрытия на бирже, может быть, токийской, а может — сингапурской. Они не знали, сколько потребуется таких понижений на единицу, чтобы гипотеза о цене закрытия стала статистически маловероятной. Они были преподавателями английской литературы. Конечно, можно было спросить на девятнадцатом этаже, где проходила конференция, но там короткие перерывы, когда можно поговорить, были заполнены серьезными вопросами восточных коллег о взглядах Кристевой на желание[25] и о карте перечитывания Гарольда Блума.[26] Селию Квест, выступления которой были посвящены Джону Мильтону и Джордж Элиот, тоже занимала загадка этих прозрачных красных цифр над лифтами, перемещавшими их с земли в воздух. В меньшей, лекционной башне

---

[25] Примечания: 25

Юлия Кристева (р. 1941) — французская исследовательница языка и литературы, философ, семантик, психоаналитик. Автор большого количества книг, в том числе книги "Желание в языке" (1969).

[26] Примечания: 26

Гарольд Блум (р. 1930) — американский историк, литературовед, теоретик культуры. Среди множества его книг — написанная в 1975 г. работа "Страх влияния. Карта перечитывания".

не было четвертого этажа. В большей, где она спала на нежно-бежевых атласных простынях и ела американизированную разновидность континентального завтрака, не было тринадцатого. Она жила в номере 1840. Профессор Бакстер сказал, что его легко запомнить: это год, когда была опубликована поэма Браунинга «Сорделло». Когда он произнес «Сорделло», перед мысленным взором Селии возникли четкие, хотя и никак не связанные с нынешними обстоятельствами, картинки залитых тосканским солнцем причудливых высоких средневековых башен Сан-Джиминьяно, грозных, узкоглазых, обветшалых крепостей из другого мира и другого времени. А за ними — головокружительная, скрипящая Вавилонская башня Брейгеля. Из забранного густой сеткой окна номера 1840 был виден только глубокий овраг между тяжеловесными, массивными строениями, которые при дневном свете были грязными, красновато-коричневыми или цвета хаки, плохо различимыми в бензиновом мареве. По ночам же это был черный залив, по которому яркими лентами бежали огоньки. Из окна девятнадцатого этажа по другую сторону дороги виднелись изрезанные закругленные меловые глыбы неприступных гор с черными

расселинами на белом фоне, спускавшимися к деревьям, там, где в горы вторгались башни. Эта солнечная белизна и острый запах — смесь чеснока с чем-то неопределенно рыбным, — доносившийся временами от стоящих то там, то здесь на тротуаре жаровен, были единственными признаками того, что они проехали полсвета, пролетели над пустынями и горными хребтами, над вспененными тайфуном желтыми волнами, над пряно пахнущими городами, возле которых они оказывались запертыми в своей похожей на металлическую сигару тюрьме — запертыми из осторожности, из страха перед террористами в тюрбанах.

* * *

У Селии было два выступления. Первое — о символах добродетели у Мильтона. Мильтон точно знал, что такое добродетель. Селия описывала то, в чем был абсолютно уверен неподкупный Христос, отвергающий в его поэме «Возвращенный рай» пищу для утоления голода, мировое владычество и восхваление в книгах, в лучшем

из того, о чем думали и сказали в мире.[27] И беспрестанное чтение Христос у него по-библейски осудил: «Да и чтенье многих книг / Не здраво, учат мудрые». Он не потерял равновесия на головокружительной вершине Храма. «„Негоже искушать Всевышнего“. Изрек — и устоял».[28] Студенты Селии в неблагополучной Средней Англии не принимали Мильтона. Они даже на время не могли заставить себя поверить в его предопределенную патриархальностью космологию. Они считали его характеристику Евы проявлением сексизма, а его словарь — признаком элитизма. А еще — логоцентризма и фаллоцентризма, добавляли для полноты самые продвинутые. Они выросли на проблемах литературы социального реализма и не воспринимали музыки стиха. Восточные же филологи, собравшиеся здесь, в стандартно бежевом пресс-центре, слушали молча и вежливо. Их страна, как сказано в путеводителе, конфуцианская, буддистская, католическая и остаточно шаманистская. Пу-

---

[27] Примечания: 27

"Лучшее из того, о чем думали и сказали в мире" — слова из книги "Культура и анархия" Мэтью Арнольда, английского поэта и культуролога XIX в.

[28] Примечания: 28

Перев. С. Александровского.

теводитель был американский, эклектичный, пропитанный идеей равенства всех этих культурных явлений. Селия в самолете изучала их алфавит — удивительно логичную и ясную систему, разработанную просвещенным правителем в те времена, которые в истории Европы считаются Средними веками. Состоит он из серии отдельных квадратов, а штрихи и крючочки, которые можно добавлять или убирать, образовывают связную систему последовательных фонем и положения губ и языка для взрывных и щелевых согласных. Это язык, который пришелся бы по вкусу искусственному интеллекту или какому-нибудь не столь завистливому божественному изобретателю[29] времен строительства Вавилонской башни. Алфавит был построен разумно. Он представлял, как утверждалось в путеводителе, серию звуков, правильно произнести которые не может ни один другой народ — даже изрядно попрактиковавшись. Интересно, думала Селия, разворачивается ли он, как в китайских диалек-

[29] Примечания: 29

Обыгрывается имя популярного американского проповедника — Мейджор Джелоус Дивайн (1876–1965). Имя Мейджор совпадает с английским словом, означающим "самый большой", Джелоус — со словом "завистливый", а Дивайн означает "божественный". Он называл себя богом и основал массовое движение под названием "Миссия мира". Его доходы исчислялись миллионами долларов. Многие считают его изобретательным авантюристом и мошенником.

тах, в модифицируемую цепочку односложных слов? Если да, то как говорящие, преподаватели этого языка, слышат мильтоновские переходы от латинской сложности к простой англосаксонской речи? Она ведь не знает, к кому она обращается. Селия уверенно процитировала добродетельную Леди из «Комоса»:

> *Поверь, так лучезарна Добродетель,*
> *Что видит, как ей поступать, и в час,*
> *Когда луна и солнце тонут в море.*[30]

А перед ней — море, ограниченное стенами зала море лиц. Восточных лиц, золотистых и четко очерченных под красивыми черными волосами, вдумчивых лиц, которые попросту непроницаемы. Селия любила различия — большие и маленькие. Она могла отличить японское лицо от китайского и оба — от этих лиц, хотя бы в целом, хотя и не всегда каждое в отдельности. Двух одинаковых лиц не бывает; это бесконечное разнообразие — одно из самых обнадеживающих свойств вида, который господствует на нашей планете. Гуманитарные науки с большей или меньшей точностью предсказывают поведение

---

[30] Примечания: 30
Перев. Ю. Корнеева.

класса, рода и денег, так же как науки биологические предсказывают вероятность передачи гемофилии, самоуничтожение леммингов и героические трансатлантические перелеты некоторых бабочек. Как-то один психолог сказал Селии, что статистическая вероятность произвести из разных яйцеклеток идентичных потомков появляется лишь в том случае, если мужчина и женщина породят восемьсот тысяч детей. Она когда-то ходила по Великой Китайской стене, на которой в любой момент можно увидеть, как совершает моцион шестая часть трудоспособного населения. Все эти мужчины и женщины спокойно и деловито прохаживаются в одинаковых синих костюмах и фуражках. И все разные. Из-за черных волос они все кажутся европейцам на одно лицо. В целостном восприятии незнакомого или знакомого человека у жителей Запада, по-видимому, бóльшую роль играет цвет волос. После возвращения из Китая Селия поймала себя на том, что воспринимает своих соотечественников как незавершенных уродин: бледное мясо, увенчанное странными, тусклыми, неестественными волосами.

С одного из задних рядов поднялся профессор

Сан,[31] чтобы задать вопрос. В аудитории было еще по меньшей мере три профессора с такой же фамилией, а может, и больше. В Британском совете объяснили, что количество имен на Дальнем Востоке ограниченно. Жители Запада не могут или не хотят запоминать полные имена обитателей Востока. Поэтому те из вежливости представляются так, что их имена напоминают привычные европейцам слова. В результате среди них много людей с фамилиями Сан и Мун.[32] У этого профессора по фамилии Сан была внушительная внешность и большое круглое лицо, казавшееся открытым, так что был соблазн истолковать его выражение как добродушие и радость.

— Да, — сказал он. — Да. Конечно.

И замолчал. Голос его звучал строго. Все вопросы и выступления по докладам начинались с такой паузы и с обобщающего «конечно», которое звучало так, словно докладчика оценили и нашли, что в его суждениях чего-то недостает.

— Вам, вероятно, сказали, — англичанам это действительно внушали, — что мы всегда очень

---

[31] Примечания: 31

"Сан" звучит так же, как английское слово, означающее "солнце".

[32] Примечания: 32

"Мун" звучит так же, как английское слово, означающее "луна".

вежливы, что мы никогда не говорим того, что думаем. Мы очень постараемся не быть вежливыми. Мы постараемся говорить вам именно то, что мы думаем.

А думал профессор Сан, что понимание Селией мильтоновских символов добродетели очень бы выиграло от более глубокого понимания английской революции и Кромвеля, Британского Содружества и иерархии в Англии семнадцатого века. Об этих событиях истории Англии он говорил бегло и хорошо, улыбаясь Селии обаятельно, но скорее не примирительно, а строго. Он цитировал Мильтона — не очень выразительно, но точно. Для него, в отличие от студентов Селии, тексты Мильтона были хорошо исхоженной территорией. Он был специалистом. Несомненно одним из старших среди преподавателей. Англичан предупредили, что выступать будут старшие, а младшие будут молчать — из уважения. Все женщины и некоторые мужчины, когда говорили, прикрывали рот правой рукой, держа ее под небольшим углом, так что получался приглушенный и неуверенный звук, который мог означать смущение, нежелание общаться или же некую крайнюю форму вежливости, попытку оградить собеседника даже от дыхания. Профессор Сан

сопровождал этим жестом начало и конец своего выступления. Его соотечественники явно одобряли его эрудицию, или проницательность, или умение схватывать, выражая это одобрение не чем-то неизящным, вроде аплодисментов, а легким гулом удовольствия и поворотом туловища, — по-видимому, так здесь принято на лекциях и докладах.

Второе выступление Селии было посвящено Джордж Элиот. Образ Джордж Элиот — большой ум и длинное серьезное лицо — в ее сознании даже за эти несколько дней изменился: сказалась восточная внимательность, абсолютная безликость комнаты 1840 (такая комната с ароматическими солями в саше в ванной могла быть где угодно), отсутствие английских новостей в газете, которую Селии подсовывали под дверь. Джордж Элиот, говорила Селия, в свое время верила, что так же, как движением небесных тел управляет закон гравитации, природой человека управляют универсальные и вполне определенные законы. Селия говорила о том, как искусно Джордж Элиот демонстрировала действие этих гипотетических законов на примере мельчайших подробностей в жизнях отдельных людей. С картинки на схему Джордж Элиот не сбивалась.

Она писала: «Я полагаю, что всякая человеческая жизнь должна пустить глубокие корни в каком-нибудь уголке отечественной земли, где она научается любить, как нечто родственное, природу».[33] За высоким окном холодное солнце освещало лишенную растительности меловую белизну — единственное, что Селия успела увидеть из природы этого далекого уголка земли и что не давало ей никакого представления об этой земле. В самой аудитории все тоже было безликим, как везде, — японские микрофоны, кафедра, как у американского президента, лампы дневного света, скромный шик кресел в стиле баухаус. Каждый раз, когда она цитировала этот отрывок, перед ее мысленным взором вставала несколько упрощенная картина равнинного, распаханного Уорикшира: то тут, то там живая изгородь, вяз, в мокром небе тяжелые, по-констеблевски плотные облака — уголок, лишенный индивидуальности. И здесь этот образ снова возник, но превратился в крошечный, миниатюрный негатив в конце длинной подзорной трубы. Интересно, что видят они, эти филологи-англисты, какая точка во времени или пространстве сопряжена в их

---

[33] Примечания: 33
Цит. по: *Элиот Дж.* Даниель Деронда. СПб., 1902.

представлении с этими исчезнувшими бурыми полями?

* * *

Британский совет устроил для них прием во внутреннем дворе своего здания, за крепостной стеной, которую постоянно патрулировали военные, ничем, кроме, конечно же, лиц, не отличавшиеся от любых других военных в любых других местах: хаки, камуфляж, пистолеты, автоматы.

Они сидели ясным вечером на лужайке, обильно орошаемой и высушиваемой здешним жарким солнцем, окруженной травянистым бордюром из неизвестных цветов. Жена представителя совета оживилась, узнав, что Селии знаком тот самый уголок большого города на севере Англии, откуда она родом, что она может проследить ее путь вдоль бурной реки, через большой мост, знает тот пригород с новыми одноэтажными домами, где жила ее семья. Она была учительницей начальных классов и говорила, что всем рекомендует книги Беатрикс Поттер. Настоящий сад мистера МакГрегора, гиацинтовый лес, холм миссис Тиг-

ги-Винкл.[34] Когда внезапно опустились сумерки, сначала ультрамариновые, а потом чернильные, в саду в свете цветных фонариков замелькали незнакомые черные бабочки. Доктор Уорфдейл, приехавший из Англии специалист в области критической теории языка, обсуждал с грамматистом Британского совета и профессором Саном трансформационную грамматику Хомского[35] и гипотезу универсальной глубинной структуры.[36] Английский язык — главная область роста в нашем экспорте, говорил грамматист из совета. Конечно, Беатрикс Поттер использует довольно длинные слова, говорила жена представителя совета, но картинки замечательные. Вордсворт полагал, что подлинный язык человека произошел от прекрасных и неизменных форм природы, среди которых жил естественной жиз-

[34] Примечания: 34

Отсылки к книгам детской писательницы и художницы Элен Беатрикс Поттер (1866–1943) "Повесть о Кролике Питере" и "Повесть о миссис Тигги-Винкл".

[35] Примечания: 35

Ноам Хомский (р. 1928) — американский лингвист и философ, автор теории порождающей (трансформационной) грамматики, основанной на представлении о существовании универсальной грамматики.

[36] Примечания: 36

Представление о лежащих в основе всех языков единых принципах и правилах построения предложений, реализуемых в специфичных для каждого языка, присущих именно ему поверхностных структурах.

нью счастливый крестьянин. Вот бы посмотреть на здешнюю сельскую местность, воскликнула Селия, хоть одним глазком.

— Мы и сами знаем ее не очень хорошо, — тихо сказал сидевший рядом с ней профессор Мун. — Наш город ужасен, у него нет своего облика. Если хотите, мы свозим вас в Народную Деревню.

У него было узкое серьезное лицо, без той добродушной напористости, что была у профессора Сана.

— Я не знаю, как мы это допустили, вот то, что с городом, — сказал он. — Но он очень прочный, очень долговечный.

* * *

В ту ночь был объявлен комендантский час. Селию предупредили заранее, и она сидела в комнате 1840, сжимая в руке тяжелый резиновый фонарик, предоставленный гостиницей вместе с шапочкой для душа, крошечным тюбиком зубной пасты, продезинфицированными восточными мужскими тапочками, изречениями Будды,

гидеоновской Библией[37] и миниатюрными блестящими бутылочками водки, бурбона, скотча и джина, составленными в кружок. Здание вздохнуло и испустило дух. Пропало лиловое свечение цифровых радиочасов. Комната казалась черно-эластичной. Лифты с неправильной нумерацией, должно быть, остановились. Селию наполнило мрачное воодушевление, не имевшее выхода. Она отодвинула тяжелые складки шторы и выглянула. Высокие башни, которые до того были бесплотными колоннами из светящихся прямоугольников, превратились в мрачные ущелья. Змеившийся поток транспорта стал вялым, расползся в стороны, померк и через пару минут замер. Лихорадочно охристое небо превратилось в зримую темноту,[38] в которой на мгновение ожили звезды, тут же срезанные гигантскими лезвиями белых лучей-ножниц. Сквозь шум кондиционера и звукоизоляцию Селия услышала напряженный гул и рокот. Щели внизу заполнили идущие вплотную друг за другом мрачные

---

[37] Примечания: 37

Библия, издаваемая и бесплатно распространяемая американской организацией "Гидеонс интернешнл"; обязательная принадлежность номера в американских гостиницах.

[38] Примечания: 38

Образ из поэмы Мильтона "Потерянный рай".

танки. С клацаньем и жужжанием из темноты появились вертолеты, нависли над чудищами, ползущими между темными башнями. В этой стране такая тревога объявлялась часто. Врага сдерживали у самых границ; поговаривали, что он уже сумел проложить несколько километров подземных туннелей и через скрытые выходы мог засылать шпионов и передовые отряды своих войск, чтобы те внедрялись, смешивались с местным населением, разрушали и убивали. Наказание за несоблюдение комендантского часа, за непогашенный свет, за появление на улицах было суровым. Селия попробовала почитать при свете фонарика изречения Будды, но фонарик укатился, и она испугалась, поскольку в темноте не смогла его найти. Когда все закончилось, прозрачные лиловые цифры уверенно возвестили время, совершенно нереальное в этой стране, никак не связанное ни с рассветом, ни с сумерками, а из радио, только что с дребезжанием изрыгавшего повторяющиеся военные инструкции, полился умиротворяющий венский вальс.

* * *

С поездкой в Народную Деревню сначала ничего не получалось: вышло распоряжение, по

которому в тот день по автостраде могут ездить только машины с четными номерами — чтобы не мешать маневрам. Профессор Мун получил разрешение. Они со вторым профессором Саном везли англичан по автомагистралям, которые вполне можно найти в Техасе, в долине Роны, в Бирмингеме или австралийском Калгурли, в канадском Саскачеване или Внешней Монголии. За окном — только полотно дороги и несколько холмов. Разделительного барьера нет, объяснил профессор Мун, чтобы эту автостраду можно в случае необходимости мгновенно превратить во взлетно-посадочную полосу. Для реактивных самолетов вертикального взлета и посадки, для истребителей, для вертолетов. В небе время от времени раздавался ноющий звук механических крыльев. Заговорили про комендантский час. Профессор Мун сказал, что он его любит. Наш город залит адским сиянием, сказал он. Постоянно. И сильно загазован. Вчера вечером я, как в детстве, вышел на улицу и посмотрел на Млечный Путь. Теперь его из-за загазованности не разглядеть. Тогда, мальчишкой, я изучал звезды, сказал он. Селия понимала, что спрашивать, сколько ему лет, в каком мире он вырос, было бы невежливо. Вместо этого она спросила, насколько

серьезна угроза, из-за которой проводят военные маневры. Все это очень неопределенно, сказал профессор Мун. Нам всегда угрожают в силу нашего географического положения. Нашей стране всегда грозит оккупация, и она постоянно была оккупирована. Иностранная держава правила здесь чуть не целый век, даже язык наш запрещали. Мы научились терпению и своего рода хитрости. Сам я думаю, что маневры призваны развить в нас чувство национального единства. Ведь вам, пережившим Вторую мировую, знакомо чувство национального единения перед лицом опасности?

* * *

Селия подумала об искусстве как о средстве спасения. Говоря о различных, выбранных наугад отрывках из Данте, Вагнера, Мидлтона, Упанишад, «Гамлета» и так далее и столь же произвольно не включая других в этот список канонизируемых, Т. С. Элиот написал: «…обломками сими подпер я руины».[39] Писатели-реалисты — это скромные сороки, собирающие значимые вещи. Ни разу

[39] Примечания: 39

Строка из поэмы Т. С. Элиота "Бесплодная земля" цитируется в переводе А. Сергеева.

не надевавшиеся шелковые шляпки тетушки Пуллет,[40] выглядевшие очаровательно старомодными в 1830-е годы и найденные в 1858-м, всегда красивые и все еще ждущие своего часа. Ножи Дэвида Копперфильда,[41] ленты Эммы Вудхаус.[42] С этой точки зрения Народная Деревня была не только достопримечательностью для туристов, но и произведением искусства. Здесь было собрано все, что могло вот-вот тихо исчезнуть, и все это было в своем роде исключительно: деревенский дом, муниципальная тюрьма, надгробный памятник, ремесленники за работой, ткачи и мастера по изготовлению вееров, живые куры в плетеных курятниках незапамятных времен, сидящая на воссозданной веранде женщина-шаман с мрачным лицом, с разложенными перед ней приспособлениями для предсказания судьбы. Профессор Мун рассказал, что каждый камень, каждая доска, каждая соломенная крыша были привезены и заново собраны. Это настоящие дома, не подделки, в них когда-то жили, у

---

[40] Примечания: 40
Персонаж романа Джордж Элиот "Мельница на Флоссе".

[41] Примечания: 41
Заглавный герой романа Ч. Диккенса "Дэвид Копперфильд".

[42] Примечания: 42
Главная героиня романа Джейн Остин "Эмма".

каждого своя история. Селия всматривалась в безупречно чистые кухни со стоящими в полумраке огромными сосудами для хранения продуктов, с вделанными в очаг на уровне пола котлами и жаровнями. Профессор Мун объяснил, как устроен очаг. В сырой или ветреный день дым от него мог расползтись по всей кухне. Неприятно для тех, кто там находился. А находиться там разрешалось только женщинам. Мужчин не пускали. Даже маленьких мальчиков? — спросила Селия. Только совсем маленьких, сказал профессор Мун. А алтарь там был? — спросила Селия, вспоминая, что она в это время писала о ларах и пенатах, о ду́хах очага. Дома были изящные и пустые. В них стояли инкрустированные перламутром резные сундуки и низенькие столики, лежали рулоны одеял, и больше ничего. Представить мысли или обычаи исчезнувших обитателей по такой обстановке невозможно. Профессор Мун предпочел не отвечать на вопрос Селии. Он чуть-чуть отошел и смотрел в сторону, вдаль. Вы не понимаете, сказал он, что именно в таких домах выросло большинство наших людей. Я и сам вырос в таком доме. Селия спохватилась, что коснулась чего-то личного. Но все-таки спросила: а были такие части дома, куда не могли входить

женщины? Конечно, были, неопределенно ответил профессор Мун. Они шли вокруг дома и заглядывали в каждый проем. Что это были за части дома, он рассказывать не стал. Снаружи под звуки двух маленьких барабанов и мелодию флейты, мощно льющиеся из громкоговорителя сквозь опушенные ветви похожего на акацию дерева, в сплетающихся хороводах кружились исполнители народных танцев. На них были красивые белые полотняные костюмы, украшенные разлетающимися разноцветными лентами — бледно-желтыми, ярко-синими, лиловато-коричневыми, цвета зеленой листвы. Зрители были одеты в джинсы, майки с надписями и закрытые туфли-мыльницы.

— Какая безвкусная одежда, — сказал профессор Мун. — В этих ужасных туфлях нет ни изящества, ни стиля.

Его английский становился более беглым, идиоматичным и изящным. Он купил им охлажденного в глиняной бутылке рисового вина и похожих на подушечки белых рисовых лепешек, сладковатых, с легким ароматом риса, невесомых и тающих во рту. Он повел их туда, где за доллары и иены продавались сделанные работавшими на глазах у публики ремесленниками веера,

миски для риса, конские подковы и одеяла. Там он нашел что-то похожее на шестигранную деревянную клетку на длинном стержне и спросил, знают ли они, что это такое.

— Нет, — сказали они.

И он объяснил:

— Это чтобы запускать змеев. В детстве я у нас в деревне по этой части был первый. Соревновались мы отчаянно.

Он взял этот предмет, как музыкант берет знакомый кларнет или скрипку, которые в его руках запоют, или как повар берет в руку тот ли иной нож, оценивая его вес.

— Мы окунали руки в стеклянный порошок, чтобы лучше скользило, — сказал он и сделал этот невообразимый жест.

Затем он подбросил деревянную клетку в воздух и, поймав ее, стал быстро-быстро вращать деревянный стержень между изящными ладонями. Стержень крутился все быстрее и быстрее. Профессор Мун подбрасывал и ловил, быстрее и быстрее. На его профессорском лице появилась совершенно другая улыбка, не улыбка вежливости, а довольная улыбка мастера, улыбка ребенка, дивящегося ловкой работе. Он улыбался, сжав губы и прищурив глаза, и разбегающиеся под раз-

ными углами морщинки на его лице стянулись к уголкам сосредоточенных глаз. Он был поглощен своим занятием, и у Селии это вызвало восторг и ощущение, что она здесь лишняя. Она попыталась понять, как бечевка змéя наматывается на эту катушку, но не смогла. Попробовала представить маленьких мальчиков в белой полотняной одежде, заполонивших склон холма, — все они что-то подбрасывают и крутят, все серьезно улыбаются, а над ними ныряют, и парят, и носятся воздушные флотилии драконов, солнц и лун, все раскрашенные в чистые и яркие цвета простодушных народных игрушек. Но змеи, которые она себе представила, были китайскими, а холм — тот самый Бокс-Хилл, где она запускала змеев со своим маленьким сыном. Она обмахивалась своим новым веером с нежно-синими узорами на промасленной кремовой бумаге, натянутой на хрупкие деревянные ребрышки и все еще пахнущей маслом, в которое ее окунали. Уже три дня она время от времени бывала в компании профессора Муна и ничего о нем не знала.

* * *

Возвращаясь из этого чистенького, радостного города-призрака, они чуть не опоздали на про-

щальный банкет. «Банкет» — странное слово; для англичан оно, возможно, означает некий официальный прием в большом промышленном городе, где «новые левые» еще не отменили вечерние платья и столовое серебро. Китайцы в своем социалистическом государстве называют этим словом менее чопорные официальные пиршества, на которых вместо дикарских булыжников-стейков и тошнотворных груш под шоколадным соусом сменяют друг друга тонкие ароматы. Мильтоновский Христос в пустыне, отвергая классическую ученость, отверг и другое предложенное Искусителем пиршество — пир чувств,[43] фантастический пир, который продолжался со времен классических средиземноморских культур до этого заключительного торжества пуританства. Угощение для участников симпозиума по английской литературе подавали во внутренней комнате ресторана, где гости сидели босиком на полу вокруг низкого Г-образного стола, поджав под себя ноги. Здесь у Селии оказался другой сосед, не профессор Мун, образ которого уже сложился у нее в уме — сложился не из того, что она знала, а из того,

[43] Примечания: 43

Выражение из поэмы Джорджа Чапмена (1559–1634) "Овидианский пир чувств" ("Ovid's Banquet of Sense").

чего не знала, образ отсутствия, — что-то вроде стеклянного ящика в ярком свете. Она внезапно устала от всего незнакомого, ум и чувства отказывались воспринимать новые лица, новые блюда, новый этикет, новые слова — или старые, значения которых сместились и стали опасными или потеряли силу. Все улыбались, атмосфера была теплой, приносили еду, еще еду, подали длинные янтарные щупальца соленой медузы, которые нужно было аккуратно подхватывать тонкими палочками из нержавеющей стали, скользкими, как спицы, — такими она вязала в детстве.

Она сосредоточилась на палочках и почти не смотрела на соседа слева. У него было большое круглое лицо, как у профессора Сана, но это был не профессор Сан — он был моложе, мягче, более застенчивый.

— Что вы сейчас преподаете? — собравшись с силами, спросила она.

— Английскую пастораль, — сказал он. — От елизаветинцев до девятнадцатого века.

Казалось, вопрос его немного обидел, но Селия продолжала. Для них это был общий язык, своего рода лингва франка: английская литература, педагогика. Она не видела в этой чужой стране ни одного студента. Она стояла в туманном небе

на вершине пресс-центра и выступала, не зная тех, к кому, как она полагала, обращается. Любой преподаватель понимает, какой опасной в такой обстановке может стать любая оговорка. Стоит увеличить или уменьшить плотность изложения, добавить или убавить полсотни терминов из тщательно отобранного словаря, стоит изменить выбор того, что надо пояснить, а что, наверно, в пояснении не нуждается, — и восприятие слушателей полностью изменится, станет каким угодно: от понимания до растерянности, от чувства, что узнал новое, до дежавю. Теперь, с опозданием, она пыталась разобраться. Они говорили про Аркадию и про Озерный край, а медузу сменила обжигающе холодная белокочанная капуста под кроваво-красным перечным соусом с уксусом. Сидевший напротив нее профессор Сан-второй рассказывал, как, сосланный в Буффало для работы над джойсовским Дублином, он испытывал такое раздирающее желание поесть этого блюда, что ходил по городу в поисках какого-нибудь соотечественника или несуществующего этнического ресторана, у которого были бы собственные бочонки с соленьями и маринадами. Доктор Уорфдейл, молодой и неуемный правдоискатель, в конце

концов стал выяснять все то, что их волновало. Красные цифры на той башне, башне в центре города, — это что? Это, сказал профессор Мун, символ национальной гордости. Это количество дней, оставшихся до начала Всемирных игр, которые будут у нас в городе проходить. Мы очень любим гимнастику, но никогда не побеждаем. У нас, по-видимому, сложение неподходящее, ноги слишком короткие, а туловище тяжеловатое. Но в последнее время, когда мы стали лучше питаться, когда в результате нашего экономического чуда мы стали богаче, все изменилось. У молодых ноги длиннее, а надежды выше.

А, да, молодые, сказал доктор Уорфдейл. Я так понимаю, у вас в университетах студенческие волнения? Этот вопрос, как и вопрос Селии про алтари, наткнулся на молчание. Затем — сразу несколько не связанных между собой ответов. Страна, сказал кто-то, живет в условиях внешней угрозы, экономической нестабильности, — возможно, она развивается слишком быстро. Культура авторитарна и иерархична и всегда была такой. Уважение к предкам и иерархия — характерная черта нашего народа. Если сейчас это ставят под сомнение, так это потому, что студенты стали лучше питаться и у них появились

более высокие запросы. А еще они, в отличие от нас, старших, не помнят того времени, когда страна была угнетена, времени колониального правления, времени, когда наш язык был под запретом, а произведения нашего искусства вывозились в иностранные музеи. Они не ценят то, за сохранение чего мы тайно боролись. Они хотят разрушать. Ради разрушения. Как и все студенты, примирительно сказал доктор Уорфдейл. Собравшиеся преподаватели посмотрели на него с подозрением, — по крайней мере, Селии так показалось. Я заметил, сказал доктор Уорфдейл, что, когда вы говорите, вы прикрываете рот рукой, вот так. Это выражение вежливости? Или, может быть, застенчивости? Это потому, что показывать зубы у нас считается проявлением грубости, агрессии, ответили они. Когда-то считалось, что это выглядит как угроза.

* * *

— Честно говоря, мне иногда кажется, — сказал сосед Селии слева, — что я впустую потратил свою жизнь. Все это, наверное, очень интересно — и Вордсворт, и Мильтон, и Джордж Элиот, но действительно ли это так важно, не знаю.

Продолжая думать о склонности студентов к

отрицанию и учитывая молодость своего соседа, Селия слишком поспешно согласилась:

— Я тоже думала о том, зачем все это нужно в том мире, в котором мы живем. Мои студенты ворчат: Мильтон, мол, не имеет права требовать от них знания Вергилия, или Овидия, или даже Библии — для них это не такая священная книга, и в школе они ее, в отличие от меня, не изучали. Я не христианка, так почему же я должна требовать, чтобы они читали «Потерянный рай»? Но в мои годы меняться поздно. Это мои корни.

— Да, конечно, — сказал ее сосед. — Только я не про это. Вы знаете, что называют литературой Третьего мира?

— Да, — ответила Селия, опять слишком поспешно, потому что не знала; знала только, что такое Третий мир, — это экономическая категория, определяемая по отношению к двум предшествующим мирам.

И она бывала членом комиссии по присуждению степеней в таких местах, где преподавали литературу, включающую только произведения, написанные женщинами, или чернокожими, или гомосексуалистами; эти голоса старались заглушить или изменить неслышный сегодня голос, который, как считалось прежде, произносил

лучшее из того, что думали и сказали в мире.

Что женщин сводят в какую-то второсортную группу, ей как женщине претило. Претило и то, что все эти отдельные различия в порыве гнева сваливают в одну разнородную кучу. Третий мир не один, их много. Они объединяются, лишь когда противостоят общему врагу, Первому миру, к которому принадлежит она.

— Да, нам, пожалуй, нужно изучать литературу Третьего мира. Нужно думать об империализме. И об экономическом империализме.

В городе было место, которое, как предполагалось, обязательно должно ее привлечь, место, где из открытых дверей будочек проворные девушки и энергичные бабушки хватают вас за руку — купи, купи, сумки от Гуччи, куртки от Сен-Лорана, цейсовские фотоаппараты, плееры «Сони», куклы с капустной грядки[44] — имитации, порожденные экономическим чудом, неотличимые от своих первообразов и в десять раз дешевле. Там можно купить майку с томатно-розовой и медной «железной леди» или майку с грибовидным облаком и резвящимися мутантами, объявляющими: «Бомба нам нипочем». Ярмарка

---

[44] Примечания: 44

Мягкие куклы, чрезвычайно популярные в США с середины 1980-х гг.

тщеславия, свысока подумала Селия и тут же сама себя поправила: нет, экономический рост.

Она с улыбкой повернулась к своему молодому соседу-радикалу:

— Вам, наверное, стоит ее изучать. Пожалуй, стоит. Мне тоже советуют. Но Мильтон и Джордж Элиот — это мои корни, и я не хочу, чтобы они исчезли без следа.

— Я тоже не хочу. Но если исчезнут, это, возможно, не так и важно.

Она снова повернулась к нему:

— Я вас понимаю.

Он прикрыл нижнюю часть лица рукой:

— Понимаете? Вряд ли.

* * *

И тут она совершила ошибку — спросила, как его зовут. На его лице отразилась — она это увидела — недоуменная обида, которая сменилась негодованием и презрением. Он безмолвно достал из кармана диск, который во время предыдущих бесед был приколот к его пиджаку и который он потом снял: они ведь уже все познакомились, они обмениваются мыслями, они уже знают друг друга, так ведь? Он не был *похож* на профессора Сана, это *был* профессор Сан. Не

узнать его означало перечеркнуть все, что было сказано и сделано, разорвать те непрочные связи, которые успели установиться. Не сумела она различить восточные лица. Будто сказала: все они одинаковые. И потеряла лицо. Рука ее потянулась ко рту.

— Вы сегодня выглядите на двадцать лет моложе, — произнесла она, и это была правда.

Он ледяным тоном, все так же вызывающе отрезал:

— Мне сорок шесть. Для профессора я молод.

— А выглядите на двадцать шесть.

— Да. Конечно.

* * *

Всю дорогу домой, весь растянувшийся на целый день полет сквозь ночную тьму она думала о своей неудаче. Она размышляла о том тонком процессе, благодаря которому мы распознаем лица. В нашем сознании лицо складывается из окружностей — зрительный эквивалент гипотетической глубинной структуры языка. Специалисты по психологии восприятия дразнят и тормошат лежащих в кроватках младенцев, трясут над ними бумажными солнцами и лунами, на которых иногда изображены глаза или

улыбающийся рот, пририсованные для сходства с человеческими лицами. А дальше? Как мозг переходит к конкретному, частному? В национальном музее той страны было множество залов, заполненных улыбающимися буддами и бодхисатвами — неизменными и разными. Их жесты — язык, которого Селия не понимала: это мудры, призывающие силу земли, взывающие к бесконечности. Все разные — и все одно. Отсюда, с высоты, Англия представлялась маленькой, замкнутой, неприятной и ненужной, хотя для чего именно — она в точности сказать не могла. Чтобы разобраться, надо увидеть ее глазами всего мира, а это невозможно. Потом, из уважения к профессору Сану, она прочтет книгу франкоговорящего автора из Западной Африки, в которой есть любопытный ключ к загадке башен со сбитой нумерацией этажей. Чернокожий автор возмущался, что его сограждане смирились с тем, как чуждая западная космография подчинила себе живой анимизм его народа. Их поэты и учителя, говорил он, раболепствуют перед тем, что ошибочно называют универсальными ценностями западной литературы, а на самом деле — продуктом идеологии и суеверия. Возьмите сияющие стеклом и сталью небоскребы, построенные

на африканской земле западным буржуазным капитализмом. В этих нелепых зданиях отсутствует тринадцатый этаж, чтобы умилостивить иностранных призраков, ведьм и духов. Доктор Уорфдейл выяснил, что в их лекционной башне четвертый этаж не пронумеровали, чтобы умилостивить враждебных местных духов. Селия представила себе, что миром, наверное, все-таки правит мильтоновский Бог, который ходит среди своих подданных и смотрит, как они строят из кирпичей и черной земляной смолы грандиозную башню универсального человеческого языка, способную затмить башни небесные. И в насмешку Он вселил в них дух различия, который стер у них с языков их родную речь и заменил ее нестройным шумом незнакомых слов.

Селии всегда было жаль дружелюбных жителей Вавилона — они ведь, конечно же, делали это из благих побуждений? Этот ревнивый Бог был всего лишь местным божеством, израилитом и пуританином семнадцатого века. А диалект племени был человеческой речью конкретных людей. Универсалии, над которыми навис этот насмешливый дух различия, — это башни из зеркального стекла, автоматы, разрушительная самонадеянность грамматологов и дуализм ма-

шин. Рациональные искусственные серебристые крылья хрупко висели над пустой темнотой. Где-то там, прямо под ними, к западу от Эдема, лежала равнина, где во времена Нимрода рухнул план строителей и где сейчас в оазисе группа кочевников, хорошо знающих эти места, сидела и безразлично смотрела наверх, на мигающие огоньки пролетающего самолета, на несколько спутников связи и на кажущийся сплошным яркий поток Млечного Пути.[45]

[45] Примечания: 45

В рассуждениях Селии содержатся аллюзии на 12 книгу поэмы Мильтона "Потерянный рай", где описывается строительство Вавилонской башни.

В день смерти Э. М. Форстера[46]

Перед вами рассказ о писательском деле. Рассказ о писательнице, убежденной, помимо прочего, в том, что время писать о писательском деле прошло. «Наше искусство, — сказал Т. С. Элиот, — замена религии, как и наша религия».[47] Сия писательница, которую в тот летний день 1970 года мы видим замужней женщиной средних лет с тремя маленькими детьми, еще на заре жизни близко познакомилась с произведениями искусства об искусстве, причем искусство там понималось и как ключ к спасению. «Портрет художника в юности», «Смерть в Венеции», «В поисках утраченного времени». Или если говорить о вещах более английских и догматических, более учительных, то Д. Г. Лоуренс. «Роман — высшая на сегодняшний день форма человеческого самовыражения». «Роман — единственная яркая книга жизни». Миссис Смит этих книг боялась и

---

[46] Примечания: 46

Перевод Д. Бузаджи

[47] Примечания: 47

В "Диалоге о драматической поэзии" Т. С. Элиота это место звучит так: "Наша литература — замена религии, как и наша религия".

вдобавок уродилась скептиком. Она не верила, будто жизнь стремится к тому, чтобы стать искусством,[48] или будто искусство способно уберечь мир от большинства бед, как извечных, так и приходящих в смутные времена. Она написала три небольшие, изящные ернические комедии о безрассудстве и недопонимании в отношениях между полами. Своего мужа, всерьез интересующегося международной политикой и мировой экономикой и поверхностно — литературой, она любила, хоть между ними случались и стычки. У нее было трое детей, которых интересовали: телевизор, маленькие животные, игрушечные солдатики, другие дети, небо, смерть и — порой — картины и занятные истории. У нее была домработница, чьи интересы вращались вокруг мужниных побоев и диабета (в то самое утро она расстегнула платье и продемонстрировала миссис Смит множество фиолетовых, шоколадно-коричневых и золотых бугорков и припухлостей на грудях и животе). Свою жизнь без искусства миссис Смит не представляла, однако не считала его ни панацеей, ни долгом, ни особой необходимостью. Работа над произведением искусства для

[48] Примечания: 48

Возможно, аллюзия на высказывание английского искусствоведа У. Патера: "Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой".

нее совсем не символизировала борьбу за жизнь и не казалась добродетелью. Ей просто сделали прививку искусства — в виде романа, — не спрашивая ее мнения, еще до того, как она познала самое себя. Так возникла зависимость. Яркие книги жизни стали глотками воздуха, стаканчиками теплого виски, от которых хочется жить, и мыслить, и действовать. Жизнь вступала с этой зависимостью в какие-то сложные отношения. Миссис Смит нередко задавалась вопросом — на который, впрочем, не находила удовлетворительного ответа, — почему ей так нужно искусство и почему именно в таком виде? Ее версии Джойсу, Манну или Прусту показались бы легкомысленными. Потому что, например, в раннем детстве ее приводили в физический восторг строй фразы у Беатрикс Поттер и прилагательные у Киплинга. Потому что она вуайеристка и любит заглядывать в окна и глазеть на чужие миры, где свет ярче и теплее, чем в ее собственном. Потому что на самом деле ей недостает власти и так приятно творить иные миры, где все — и прелестное, и чудовищное — подчиняется ее воле. Серьезнее всего к искусству миссис Смит относилась в те моменты, когда благодаря ему природное любопытство ее сосредоточивалось на предметах

за пределами сферы искусства: общественных вопросах, образовании, науке, смерти. Работая над своими вещицами, она перелопачивала уйму сведений; большинство из них в итоге на страницы не попадали, но процесс ей нравился. На время в ее мировосприятии возникала некая стройность.

Так что наш рассказ, действие которого разворачивается в тот день, когда миссис Смит решилась-таки на длинный и сложный роман, ее бы не устроил. Она о писателях никогда не писала. Более того, на романы, в которых писательство подавалось как метафора самой жизни, она сочиняла остроумные и хлесткие рецензии. Она это называла метафизической клаустрофобией: на коробке с хлопьями фотография коробки с хлопьями и так далее до бесконечности. Ей нравилось действие: происшествия, сюжеты, история, факты. Хоть я не вполне разделяю ее взгляды, весьма им сочувствую. И все же, думается, нашу историю о писательском деле поведать стоит: это настоящий рассказ, и сюжет у него имеется — хоть отбавляй, прямо-таки один сплошной сюжет, сплошной архетипический сюжет, который, по-моему, не сводится ни к нарциссическим размышлениям о том, как рождается писатель,

ни к эстетическому трюку с поставленными друг напротив друга зеркалами.

* * *

Итак, одним летним днем одна тысяча девятьсот семидесятого года миссис Смит отправила детей в школу и, по обыкновению, работала в Лондонской библиотеке. (Быт и творчество она предпочитала не смешивать. Писать ей нравилось в окружении книг, в закрытом пространстве, где книгам отведена главная роль. У себя на кухне она думала о еде и уборке; в гостиной — о детях, их несхожих характерах и образовании; в спальне — о муже, по большей части.) В голове у миссис Смит вертелось несколько потенциальных сюжетов. Можно, к примеру, описать житейские перипетии разных людей во времена Суэцкого кризиса и вторжения СССР в Венгрию. Или создать трагикомедию о художнике-реалисте, большом оригинале, которого не признают в академии, зацикленной на абстракционизме. Или на основе рассказов мужа о госслужбе сочинить — тактично изменив подробности — рассуждение о том, как запутанное иммиграционное законодательство нынешней Великобритании коверкает любовь, брак и семью. А можно — своего рода

пародию на «Властелина колец»: вплести обороты Средиземья в чуждый контекст «реальных» событий современности и показать, чем этот эпос зацепил столь многих. Но по-настоящему увлечься ни одной задумкой не получалось. Так она сидела на жестком, неудобном стуле с шелушащейся кожаной обивкой и переводила взгляд с расставленных по полкам словарей на бордовый ковер, на деликатно дремлющих в кожаных креслах пожилых джентльменов, на высокие окна, выходящие на Сент-Джеймс-Сквер. Одно из них словно рамой обхватывало большой и опрятный флаг Великобритании, что висел на соседнем здании. Пространство других заполняла синева ясного неба да зелень веток, вскидываемых деревьями на площади. (Летом обмен веществ у нее в организме шел иначе. К мозгу приливал кислород, и мыслям бежалось особенно привольно.)

Ей вдруг пришло в голову, что все ее задумки оказались бы куда интереснее не по отдельности, а в одном произведении. Эстетические переживания художника усложнялись на фоне политических переживаний чиновника, а толкиновская линия выигрывала, если ей противопоставить или даже ввести в нее венгерских беженцев, интеллектуалов и бюрократов старой

гвардии, британских призывников в Суэце и рассерженных молодых людей. Их всех что-то связывало. Связывала общая принадлежность к сфере ее опыта. Миссис Смит, женщина средних лет, прожила определенную жизнь — не слишком богатую на события, но полную вдумчивых наблюдений. Повидала на своем веку достаточно, есть о чем писать. В библиотечной тишине, смотря то на белую бумагу, то на деревья, миссис Смит замерла на своем стуле, а перед нею, словно змея из корзины факира, словно телеграфная лента с результатами футбольных матчей, вздымал витки сюжет — запутанный, фантастический и все же правдоподобный в своей невероятности.

Книга получится длинная. Пришел на ум Пруст, его отделанная пробкой комната, в которой массивы бытия перегонялись в слова, фрагменты его опыта: перья на шляпках и цеппелины, музыкальная форма, чтение и живопись, порок, чванство, внезапная смерть и медленное умирание, любовь и безразличие, еда, салфетка, телефон, плиты баптистерия — целая жизнь человеческая.

Такие моменты — если позволить себе их прочувствовать — потрясают до глубины души, словно любовь с первого взгляда, словно удар,

предшествующий перелому кости, словно выигрыш или потеря огромной суммы денег. Миссис Смит, как ей казалось, относилась к разряду людей, способных себе ничего такого не позволять. Она могла — и доказала это на практике — благополучно игнорировать любовь с первого взгляда: до замужества — из самолюбия, после — из страха моральных терзаний. И вот она сидит в залитой солнцем библиотеке и наблюдает, как покачивает головой змея и как скручивается телеграфная лента, и змеиный танец не надоедает, а, напротив, становится все сложнее, притягательнее, повелительнее. Ей вспомнился Кекуле,[49] к которому ответ на фундаментальный вопрос физики твердого тела пришел в виде фантастического видения — огненный змей кусает себя за хвост. И почему сгущение мысли — взять, к примеру, сны-предупреждения или сны-приказы — оказывает такое могучее воздействие? Конечно, миссис Смит могла бы сказать, что все ее мысли — часть одного целого, часть ее самой, очерченной и ограниченной своим жизненным опытом, полом, родным языком, социальным происхождением, образованием, телом и энергией. Но такие

[49] Примечания: 49

Фридрих Август Кекуле (1829–1896) — немецкий химик-органик, открывший циклическую формулу строения бензола.

насыщенные переживания, такое острое наслаждение, когда границы ее «я» вдруг дали выход силам, облекли ее властью, были не в привычках миссис Смит. Надо полагать, тоска по такого рода эстетическим удовольствиям посещала ее и раньше. Но она соблазн отвергала. А то с чего бы ей так бояться тех ярких книг?

Она взялась за перо, и между разрозненными сюжетами протянулись связи, из первоначальных посылок будто сами собой родились продолжения; они ветвились и давали плоды, словно в ускоренном фильме: из зерна — сразу росток, из весны — лето. Миссис Смит писала торопливо, не поднимая головы, и примерно за час успела больше, чем в периоды апатии и рассеянности — за неделю. Неделю? Да нет, месяц. Даже целый год. Хотя работа работе рознь. Сейчас миссис Смит чувствовала, что новый труд — это и правда движение вперед, особая форма жизни, ее жизни, своя самостоятельная жизнь.

Когда мысли нашей героини описали круг и вернулись на исходную (от планирования — связка за связкой — добрались до первоначальной идеи о том, что линии стоит связать), она встала, вышла из библиотеки и направилась по улице. В крови было слишком много адреналина, возбуж-

дение требовало выхода в действии.

* * *

Она прогулялась по Джермин-стрит — сперва в одну сторону, потом в другую; сквозь сумрачный портал вступила в рассеченную окнами шоколадно-коричневую тишину Святого Иакова; вновь оказалась на залитом солнцем церковном дворе (поток людских ног выгладил и обезличил его могильные плиты). Прошла по Пикадилли, мимо «Фортнума и Мейсона», мимо показной роскоши в благопристойных витринах. Свернула в Пассаж — пещеру Аладдина с блистающими за стеклом сокровищами. И вновь попала на Джермин-стрит. Все переменилось. Все принадлежало ей. То есть — тщательно выбирая выражения, мгновенно истолковала эту мысль она — пришла полная уверенность, что теперь она может все увиденное перевести в слова, свои собственные слова, английские слова, английские слова одна тысяча девятьсот семидесятого года, — каждое со своим значением, и своими границами, и своей бесконечно богатой историей, такой же индивидуальной, как жизненный опыт миссис Смит. Нет, она не была как Адам, который в райском саду нарекает имена всему сущему, придумывает

существительные. (Не то чтобы она отрешенно, словно впервые в жизни, произносила: «дерево», «камень», «трава», «небо» — или хотя бы такие частности, как «омнибус», «газовый фонарь», «кюлоты».) В основном ей на ум приходили прилагательные. Узловатая кора, о-де-нильский фасад «Фортнума»… Eau-de-nil — салатовый оттенок цвета нильской воды, модный в эпоху нельсоновских побед, когда Пикадилли обретала нынешний вид. Цвет викторианских гостиных, а также — если судить по витрине косметического магазина — еще и новых теней для глаз: «Глазки-сказки», «Западный нефрит», — какой вздор, сколько энтузиазма! Чудесно. Существительные, пришла ей в голову диковатая мысль, — слова поэтические. Вот как у Вордсворта: «Суда в порту, театры, башни, храмы, река в сверканье этой мирной рамы…» А романам с их частностями приличествуют прилагательные. Они ограничивают существительные. Но в то же время придают им сил. У Диккенса одни сплошные прилагательные. И у Бальзака. И у Пруста.

Теперь, поняла миссис Смит, что бы там отвлеченная мораль ни говорила о важности жизни по сравнению с литературой, писательство станет для нее главнейшим делом. Это прозрение само

собой пришло с возрастом. Романы — по сравнению с песнями, например, или математикой — удел средних лет. Длинный роман, который она задумала, покажет и как долго она живет на свете, и как скоротечна жизнь. Нет, она, конечно, не собирается писать всемирную историю или даже какую-нибудь историю современности, а уж тем более — боже упаси — собственную историю. Автобиографии врут почище самой разнузданной беллетристики. Но по роману будет ясно, что его создатель стал свидетелем, и чутким, определенных исторических событий. Перед ее глазами прошла война и социальные реформы, появилась и угасла вера в то, что каждому воздается по трудам его, началось объединение Европы и усилились призывы к самодостаточности Англии, установилась эпоха общественной справедливости, общего среднего образования и женского равноправия, настал конец индивидуальности и произошло обнищание либеральной идеи. Чудесно было бы описать события человеческой жизни, по которым, словно по вехам, удастся проследить стоящие за этими словами триумфы и промахи, ужасы и нелепости, надежды и опасения. А биологическая история! Миссис Смит на себе испытала рождение (собственное), поло-

возрелость, болезнь, секс, любовь, брак, рождения (детей), иные разновидности любви, чувство семейных уз, родства; познакомилась с местными трактовками этих всеобщих феноменов: доктором Споком, Боулби,[50] Винникоттом;[51] пережила демонстрации хиппи, увидела, как обшарпанные рабочие районы прихорашиваются и дорожают под наплывом понаехавших богачей и как прилагательное «голубой» превращается в существительное с идеологическим подтекстом. Как это все интересно и удивительно и как удачно со всем этим совладал язык — долгие нити письменных текстов, которые то плотно обхватят какое-то явление, то свободно его обогнут; где соединят и свяжут узелком, где разведут… А если метафору сменить, то язык окажется ящиком Пандоры, пещерой Аладдина, бездонным темным мешком, в который можно вместить и из которого можно вынуть все, что угодно, и вещь окажется и той же, и в то же время другой. «Nel mezzo del cammin di nostra vita», — пришла ей на

[50] Примечания: 50

Джон Боулби (1907–1990) — английский психолог, специалист в области психологии развития, основоположник теории привязанности.

[51] Примечания: 51

Дональд Винникотт (1896–1971) — английский детский психиатр и психоаналитик; занимался проблемами взаимоотношений младенца и матери.

ум иностранная цитата. Половина за плечами, и вот новое начало. На мгновение миссис Смит, до половины перешедшая Джермин-стрит, почувствовала себя Данте.

* * *

А где же тот насыщенный сюжет с переплетением линий, который я обещала? Он вот-вот объявится, он уже идет по Риджент-стрит, наперерез миссис Смит, полуденный кошмар. Дабы не быть заподозренной в безвкусице, сразу оговорюсь: речь совсем не о срикошетивших пулях, террористах и кознях ИРА. Слишком уж часто истории в литературе и жизни обрываются из-за подобных вещей.

* * *

А пока на стойках с газетными заголовками миссис Смит прочитала: «Скончался знаменитый писатель». Она купила утреннюю газету и узнала, что умер Э. М. Форстер. Ему был девяносто один год. Долгая жизнь, которая, впрочем, с двадцать четвертого года ни в одной его художественной строчке не запечатлелась. «Соединить, — напи-

сал он, — соединить прозу и страсть».[52] Сломал писателя, судя по всему, распад мира, который он знал: определенная общественная иерархия, жизнь большой семьей, в собственном доме, на лоне пасторальных пейзажей. Представлениям миссис Смит об идеальном английском романисте Форстер отвечал в гораздо большей степени, чем Лоуренс. Форстер писал сдержанно-иронические книги о ценности индивидуума и его обязанностях. Он знал об опасностях, угрожающих индивидуальности: неразумии, воинствующем энтузиазме, политическом угаре. Он верил в терпимое отношение к ближним, в упорядоченность искусства, в то, что в мире действуют трудные для понимания силы, по отношению к которым искусство не имеет значения. В Кембридже у миссис Смит была подруга, чье окно выходило как раз на окна Форстера. Она смотрела, как тот неспешно ходит по комнате, перекладывает бумаги. Но никогда не пишет. Она его уважала чрезвычайно.

Так что миссис Смит с некоторым удивлением отметила, как при виде заголовков в душе у нее мелькнула рефлекторная радость: а я жива! «На-

---

[52] Примечания: 52
Известная цитата из романа "Говардс-Энд".

конец-то, — сказала она себе (мысли по-прежнему неслись с невиданной скоростью и четкостью, так что словесные формулировки приходили с запозданием), — наконец-то будет посвободнее. Наконец-то можно делать что хочется и не бояться: а вдруг он проигнорирует? Вдруг отмахнется?» Нелепость какая-то: он о ее существовании и не подозревал. У него и желания не могло возникнуть игнорировать ее или отмахиваться.

Понимать эти чувства надо так, решила миссис Смит, расхаживая по Джермин-стрит, что смерть устранила Форстера — в каком-то глубинном смысле слова — как критерий оценки. Утихло чувство, не дававшее покоя и тянувшее в разные стороны, что надо сделать не хуже, чем у него, но обязательно по-другому. Теперь, когда его труд официально завершен, когда за ним окончательно захлопнулась дверь истории, он в каком-то смысле стал ближе, у него легче учиться. Вновь прошла мимо церкви. Форстер… агностик, строгий блюститель принципов. Она завидовала определенности его взглядов. Но радовалась, что сама другая. Промелькнула мысль: «В день смерти Э. М. Форстера решила я написать большой роман». И церковный двор ответил библейским эхом: «В год смерти царя Озии видел

я Господа...»[53]

Форстер сказал: «Те, кого я уважаю больше остальных, живут так, словно они бессмертны, а общество вечно. Оба эти допущения суть ложь, но оба должны быть приняты на веру; а иначе как есть, работать, любить? Как не дать человеческому духу задохнуться?»[54]

* * *

Восторг в душе у миссис Смит не затихал. Для человека, обуреваемого страстью, все вокруг летит стремительным зигзагом, будто разматывается из катушки полосатая лента: газеты, смазанный шрифт заголовков, Святой Иаков, плакаты с призывами помочь голодающим, выстроившиеся в витринах Джермин-стрит принадлежности мужского обихода, светозарные ботинки, вышитые домашние туфли из бархата, пестрые рубашки, сырная лавка, источающая бодрый запах тлена, парфюмерный «Флорис», неуловимо-душистый, как мешочек-саше. А для уха — еле различимая барочная музыка на ор-

---

[53] Примечания: 53
Ис. 6: 1.

[54] Примечания: 54
Цитата из эссе Э. М. Форстера "Во что я верю".

гане. Не то уголок цивилизации, не то выставка потребления. А вот и магазин ювелира Гримы. Этот нарочитый, богатый в своей примитивности фасад тут недавно; к каркасу витрин привинчены как бы в случайном порядке грубые каменные плиты типа кремневых — получилось что-то вроде современных декораций, мрачных, тяжелых, к старинной драме: «Царь Эдип», «Король Лир», «Макбет». А в просветах меж суровых каменных плит — крошечные яркие витрины, выстланные алой лайкой, пурпурным шелком, киноварным бархатом. Расставленные в изящном беспорядке украшения не блещут педантичной полировкой: золото и серебро скорее истерто, будто камень или кость в волнах прибоя. Огромные, дикие, бугристые, сияющие жемчужины, огненный грушевидный опал, россыпь лунных камней, как брызги воды на золотой кольчуге, — эти примитивно-роскошные сокровища украшают диадемы и ожерелья, будто извлеченные из погребальной ладьи в Саттон-Ху, или гробницы фараона, или Музея современного искусства. «Окна, рамы, оправа, — думала миссис Смит, которой во всем виделись метафоры. — Из окна библиотеки я увидела государственный флаг и летние деревья. В этих же поместилась пещера фей и все легенды

шестидесятых, а в витрине магазина готового платья — родная для Форстера Эдвардианская эпоха с рубашками и домашними туфлями ручной работы. Окна наводят порядок. Но беспорядка нет. Даже эти названия — „Тёрнбулл и Ассер“, „Флорис“, „Грима“ — вполне годятся и для саги в духе Толкина, и для реалистического романа, и для фантастической истории на современном материале. Все уже имеется. И время есть».

* * *

В этот момент мужчина, свернувший на Джермин-стрит, тронул ее за рукав, окликнул по имени и сказал, что рад видеть. Она его не сразу узнала: с момента их последней встречи он здорово постарел. Миссис Смит не записала бы его в разряд близких людей, хотя в те редкие моменты, когда их пути пересекались, он вел себя так, будто они старинные закадычные друзья. История этого человека, к которой я сейчас приступлю, во многом являет собой полную противоположность истории миссис Смит, особенно если учесть, что существо с другой планеты — или хотя бы из Японии, Бразилии или Турции — нашло бы истории почти всех англичан с университетским образованием похожими друг на друга как две

капли воды. Миссис Смит и Конрад учились в одном университете, ходили на одни и те же вечеринки, и в Лондоне начала семидесятых у них в сферах искусства и образования имелись общие знакомые и пара общих друзей. Правда, миссис Смит изучала английскую литературу, а Конрад учился на психолога. В свое время он пытался было с ней заигрывать, но с кем только он не заигрывал! В общем, за особый знак внимания она это не приняла. Как раньше, так и сейчас Конрад оставался для нее знакомым знакомых.

Конрад, по обыкновению, прямо-таки светился от удовольствия: будто никого в целом свете так не жаждал встретить в настоящий момент, как ее, будто, сведя их вместе, судьба, или Провидение, или Господь Бог удовлетворили его насущное желание, да и ее, надо полагать, тоже. От возбуждения он прямо-таки подскакивал на тротуаре Джермин-стрит, плотный мужчина с недавно выкатившимся грушевидным животиком, который нависал над джинсами, как крупное яйцо всмятку над подставкой не по размеру. Под джинсовой курткой у него была надета хлопчатобумажная водолазка, на которой там и сям проступали ржавые пятнышки и торчали жесткие волоски. Конрад пританцовывал с мальчишеским задо-

ром, хотя лет ему было немало; макушка и лоб совсем лысые, а на воротнике лежат длинные сальные курчавые пряди. Поначалу внимание миссис Смит привлекли именно волосы. В университете Конрад ходил с настоящей гривой, обладателя которой трудно было не заметить.

— Тебя-то мне и нужно, — сказал он. — Выпьешь со мной кофе? Столько всего надо рассказать.

* * *

В прошлом она бы отказалась: из страха или отвращения перед тем, что сейчас к ней будут прижиматься, гладить коленку, а деться будет некуда. В прошлом она его приглашения чаще отклоняла, чем принимала. Правда, бывали и такие моменты, когда писатель в ней, набравшись мужества, решал потерпеть и поглаживания, и похлопывания, и пыхтение ради сведений, которые Конрад мог сообщить о вещах, ей малознакомых. Например, что-нибудь на тему психологии. Именно Конрад поведал об экспериментах по сенсорной депривации: человека помещают в наполненную теплой водой темную камеру, и у него сперва пропадают зрительные ощущения, потом он перестает воспринимать свое тело, а под конец уходит ощущение времени

и собственного «я». По словам Конрада, от погружения в бестелесную темноту личность у многих студентов-добровольцев распадалась навсегда, но статистику таких случаев не раскрывали. Миссис Смит было интересно, благодаря чему частички личности держатся вместе, что представляет собой человеческое «я». А еще Конрад, обладатель весьма многогранного жизненного опыта, рассказал ей, когда она созрела для таких вещей, о пытках и насилии; об экспериментах, из которых выяснилось, с какой готовностью обычные люди причиняют боль другим, стоит лишь приказать. Миссис Смит была страх как любознательна, однако журналистской готовности задавать вопросы ей недоставало. Так что болтливость Конрада была в известном смысле очень кстати.

Но в тот июньский день она пошла с Конрадом пить кофе благодаря музыке. Благодаря музыке она чувствовала к Конраду особую симпатию.

* * *

История с музыкой была — да и есть — сюжет, которому и действующих лиц почти не требуется. Чтобы ее поведать, о Конраде надо сообщить вот что: это был человек поразительной физи-

ческой, эмоциональной и умственной энергии. Никогда не останавливался, ни на минуту не замирал, все время пребывал в движении. Женщин затаскивал в постель с какой-то жадной прожорливостью, которая казалась миссис Смит физически отталкивающей, но о которой интересно было послушать. Женился на молоденькой девушке, красивой и с состоянием, но интересовался всеми женщинами подряд. Его привлекало действие: полученные в университете психологические навыки он пытался применять и в армии, и в пенитенциарной системе, и в коммерции. Скажем, пробовал консультировать телевизионных рекламодателей. Как я уже упоминала, у них с миссис Смит были общие знакомые, и, пока наша героиня рожала детей, до нее доходили слухи о похождениях неуемного Конрада: то он уехал на континент и участвовал в венгерском восстании, то устроил себе медовый месяц в «Ритце» и три недели не вылезал из постели, то вместе со съемочной группой отправился в самое сердце Новой Гвинеи изучать каннибалов. По рассказам, у него родилось несколько детей — от студенток, актрис, гувернанток, приехавших из-за границы по обмену. Деятельной жизнью жил человек. Как-то раз, когда он работал уже с дру-

гими тележурналистами и ему для заграничной командировки понадобилось пройти медосмотр, у него обнаружили туберкулез. Конрада отправили в санаторий, и на несколько лет он пропал. Жена от него ушла. Все эти сведения через друзей и знакомых просачивались к миссис Смит, которая тем временем вела себе хозяйство, варила обеды и читала Джордж Элиот и Генри Джеймса.

В санатории принужденному бездействовать Конраду было откровение. Он осознал, что жизнь его конечна, что другой не будет и что человеку следует выбрать самую главную для себя вещь и все отпущенные ему силы отправить на нее, и только на нее. Конрад заключил, что для него главная в жизни вещь есть музыка. В санатории этот вывод не вызывал сомнений. И когда, притихший и осунувшийся, Конрад покинул стены санатория, он уволился со всех своих высокооплачиваемых работ и пошел учиться музыке: записался на курсы композиции. Женился второй раз, на тихоне. В те годы миссис Смит как-то раз его встретила — человека, в середине жизни всего себя поставившего на службу новому идеалу, — и испытала смесь зависти и опасливого недоверия. Конрад излучал благостную определенность. Дежурное поползновение вышло у него чуть ли

не как прелюдия к религиозному возложению рук. Миссис Смит не соблазнилась и вернулась домой, где ее ждали: сломанная стиральная машинка, муж, получивший письмо с угрозами от вышедшего на свободу торговца наркотиками анархистских взглядов, а также мысли о том, что в прошлом немало великих произведений искусства были созданы под влиянием особого рода озарений и подъема сил, вызванных туберкулезом. Теперь его, конечно, лечат; с человеческой точки зрения можно порадоваться, с эстетической — посетовать.

* * *

С тех пор и до сегодняшнего дня она видела Конрада только раз: он постучался к ней в дверь и пригласил на обед. Обед вышел дорогой: мидии, тюрбо, сабайон, вино. Миссис Смит внимательно наблюдала за Конрадом, а тот ел и пил от души. Проглотил и всю ее молодую картошку, и всю свою, блестящую от голландского соуса, — под конец в соуснице не осталось ни капли. Конрад вытер губы камчатной салфеткой (лицо у него тоже лоснилось от пота и масла). Вторая жена, сообщил он, ушла и забрала детей. Приходится платить огромные алименты. Он сочинил мотет,

который исполняли на Фестивале современной музыки в Лимингтон-Спа. Еще он работает на одну сигаретную компанию: придумывает, как в рекламе намекнуть, что курение приносит сексуальное удовлетворение, но прямо ничего не утверждать. Теперь женщины редко пользуются помадой, так что задача усложнилась. Раньше можно было показать роскошные алые губы, влажные такие, а сегодня в моде губы чистые и здоровые. От работы Конрад не в восторге: всякого насмотрелся в легочном отделении санатория, но алименты… Она не знает, есть какие-нибудь хорошие современные стихи, которые стоит положить на музыку? Ему хочется писать простые вещи для одного голоса, без выкрутасов. Познакомился тут с потрясающей певицей из Израиля. Диапазон потрясающий! А женщины пишут стихи о любви? Она в курсе, что мидии женщинам нравятся потому, что напоминают о сексе? Это что, запах морской воды? Или на эмбрион чем-то похожи? А может, ударим по бренди? Или арманьяк? Или билет на Штокхаузена в Королевский фестивальный зал? Наши представления о музыкальном звуке, музыкальной форме сейчас в корне меняются, что-то невиданное. А еще он разрабатывает вопрос о том, как увлечь женщин

креплеными винами. Само собой, с физиологической точки зрения, много они все равно не выпьют. Элитный портвейн с лимоном. Что предпочитают представители разных сословий, зависит не только от доходов. Может, ей сигару? Притерся коленом. Большим и горячим. Она ловко увернулась.

И все же миссис Смит не забыла о музыке. Человек побывал на краю бездны и выбрал музыку.

* * *

Они сидели в непритязательной кофейне с чашками капучино. Теперь миссис Смит заметила, что выглядит Конрад неважно. На подбородке застарелая щетина, на лице — паутина расширенных сосудов, покрасневшие белки глаз, на шее обозначились жилы. Плечи присыпаны волосами и перхотью.

— Как с музыкой? — спросила миссис Смит.

— Отлично! Прекрасно! Как никогда. Масса нового. Выглядишь замечательно. Прямо светишься. Прекрасно, что встретились и что ты так замечательно выглядишь. Ни капельки не изменилась, ни капельки, будто вчера только

гуляли с тобой по Задам[55] и сидели рядышком в библиотеке.

Миссис Смит не помнила, чтобы они такое проделывали. Может, память, от которой в ее жизни отныне столько будет зависеть, все-таки подводит.

— Я как раз думала, как приятно быть женщиной средних лет.

— Ты не женщина средних лет. Возраст — дело самоощущения. Это правда, я не просто так. Я молодой, ты молодая, мы можем горы свернуть. Я раньше никогда не чувствовал себя таким молодым, таким здоровым!

По переносице у Конрада протянулись полоски пота; жидкость выступила в ямочке подбородка и на липком бледном лбу. Безжизненные кончики пальцев, под ногтями грязь. От него пахло. Помимо свежего запаха кофе, несло свежим потом и старым потом — запах близкой смерти.

— Расскажи, как с музыкой.

— Я же сказал, замечательно. Каждый день новые открытия. Революционные приемы. Новая техника. Новые горизонты. Ну как же свежо ты выглядишь!

---

[55] Примечания: 55

Зады — живописный участок по берегам реки Кэм в Кембридже, на который выходит задняя часть территории нескольких колледжей.

Миссис Смит знала, что в волосах у нее седина, что от уголков глаз веером разбегаются морщины, что шею лучше прикрывать, а тело после родов размякло. Языком ей вслед не прищелкивали. Рассчитывать или надеяться на какие-то поползновения в свой адрес, как правило, не приходилось.

— Не надо. Я как раз думала, как удачно, что молодость бесповоротно прошла. Потому что за плечами время, потому что я окружена временем. Слушай, я решила написать большую книгу — о моем времени, о времени, которое я прожила и которое уже не вернется.

Пожалуй, впервые за время их знакомства она открыла ему что-то сокровенное. А все благодаря музыке.

— Когда у нас пройдет молодость, — возразил Конрад, — обязательно что-нибудь придумают, чтобы останавливать старение навсегда. Над этим уже работают. Скоро можно будет побороть смерть. А что? Вполне, в большинстве случаев. Нет, правда; я кое-что выяснял. Надо исключить сигналы, которые дают телу команду стареть: снижение уровня гормонов, вымывание кальция — такие вещи. Тут вопрос политический: обывателям, само собой, ничего не говорят, потому что

не ясно пока, что делать с перенаселением. Но у меня свои источники. Надо просто перехитрить гены и заставить их воспроизводить себя, как раньше, в твоем собственном теле, никакого чужого не нужно. Это осуществимо. Я сделал вазэктомию. Хватит детей, хватит алиментов, хватит тратить генетический материал на других. Будем копить. Воспроизводиться. Жить. А ты говоришь, молодость прошла.

— Но мне нравится как есть! — еще раз попыталась достучаться до него миссис Смит. — Я вдруг поняла, что моя форма искусства требует средних лет. Нужен временной диапазон. Время — ключевой параметр.

— Времени нет. Время — иллюзия. Новая музыка это понимает. Всё — в настоящем. Сейчас. А прошлое, гармония, метр, темп — это неинтересно. Мы разрушили понятие времени и порядка. Вся игра — на случайности, на хаосе. Эйнштейн развенчал иллюзию линейного времени.

— Ну а как быть с биологическим временем? — храбро возразила миссис Смит, которой уже приходилось слышать эти доводы, хоть и не от Конрада.

— Звуки — мгновенные, одноразовые, — продолжал Конрад в экстазе. — Постоянно меняются

и всегда пребывают в настоящем. Биологическое время тоже иллюзия. Умирают только сложные организмы. Простые клетки бессмертны. Это можно изменить. Мир надо улучшить — вот самое главное. Мы должны выжить. Тебе можно доверять?

Миссис Смит, не говоря ни слова, опустила веки. Сейчас будет очередное откровение на половую тему.

— Знаю, что можно. Потому и встретились. Такие вещи просто так не случаются. За мной следят. Я в опасности.

* * *

Сюжет принимал шпионский оборот. Не зная, как реагировать, миссис Смит продолжала понимающе смотреть и неопределенно молчать.

— Там напротив, через дорогу, темная фигура с мерзким зонтом. Только не смотри пока.

«Паранойя», — пронеслось в голове у миссис Смит.

— А в чем дело? — спросила она нейтрально.

— Я достал, — Конрад наклонился к ней через ламинированный столик и дыхнул в лицо застарелым дымом и кислым страхом, — папку с секретными планами. Дело жизненной

важности. Нужно доставить ее в израильское посольство.

Он выложил перед ней затертую, грязную папку, перетянутую разномастными веревочками, из-под которых вылезали пожелтевшие углы ксерокопий.

— Может, благодаря этому удастся предотвратить атомную войну. У них ведь есть бомба. Не ровен час, взорвут. Ты же понимаешь: весь мир против них, постоянная война за выживание, на протяжении веков…

— Но послушай…

— Ты ничего не знаешь. Я работал на нашу разведку. Сверхсекретные исследования. Все эти поездки на Восток, на научные конференции, — они были не просто так. Я знаю, что к чему. В Израиле на разведку работают все. Иначе им не выжить. Как только увидел Мириам, понял, что и она тоже. Но только она мне не доверяет. Хочу вот это передать израильтянам. В знак дружбы. Со стороны Великобритании.

Миссис Смит не удержалась и тихонько спросила, что такое «вот это», хотя и постаралась придать своему вопросу равнодушный тон. На той стороне улицы мужчина в темном плаще закурил, переложил зонтик из руки в руку, бросил

взгляд на окно кофейни и вновь принялся изучать выставленные в витрине мужские рубашки во всем их буйстве красок: в алую полоску, в розовый цветочек, с черно-золотыми огурцами. Не похож он был на человека, который носит такое.

— На музыкальном факультете одного университета создали инструмент — построили машину, которая звуковыми волнами разлагает твердые тела. За счет вибраций. От этих звуков на определенных частотах люди впадают в полную прострацию. Съезжают с катушек. Особенно арабы: у них слышимый диапазон шире. Пытаюсь переправить эти документы в израильское посольство.

— Какой ужас, — сказала миссис Смит.

— Конечно ужас. Жизнь ужасна. Не убиваешь ты — убьют тебя. Но я хотел кое о чем попросить: посторожи копии документов, ладно? Просто посиди здесь и посторожи. Если не вернусь через час, отнеси кому-нибудь в музыкальном отделе Би-би-си. В Би-би-си полно шпионов. Я их знаю, у меня есть список.

— Ужас, — продолжила было миссис Смит, — в том, что используют музыку. Музыка…

Но Конрад не дослушал:

— Я тебе дам сто фунтов. Пятьсот фунтов. За

полчаса. В качестве страховки, а?

— Не стану я связываться, — поднялась из-за стола миссис Смит. — Не нравится мне это все. Я ухожу.

— Э, нет! Никуда ты не пойдешь. Твоя роль еще, пожалуй, не сыграна. Сиди здесь, чтобы я тебя видел.

Он схватил миссис Смит за руку. Человек на противоположном тротуаре вновь посмотрел на них, потом надвинул шляпу на глаза и погрузился в созерцание домашних туфель из черного бархата с вышитыми золотом оленьими головами. Ей вспомнился находчивый шпион из «39 ступеней».[56] Желание выпутаться из этой истории — международного инцидента, бреда параноика — стало невыносимым. Она попробовала освободиться:

— Надо идти, извини. Дела.

— На улицу нельзя! У этих людей зонты стреляют отравленными дротиками. Укол смертелен. Противоядия пока не нашли.

— Ничем они не стреляют.

---

[56] Примечания: 56

"39 ступеней" (1915) — неоднократно экранизированный, в том числе Хичкоком, приключенческий роман шотландского писателя и политического деятеля Джона Бакена (тж. Бьюкен; 1875–1940). Герой этого и ряда последующих романов Ричард Хенней отличался умением выкручиваться из самых неприятных ситуаций.

Миссис Смит дернула руку еще раз.

— Ты должна мне помочь!

Тут миссис Смит замахнулась сумочкой и съездила Конрада по лысой голове и красному уху. С громким сопением он ухватил ее за воротник выглаженной белой блузки и потянул. Миссис Смит рванулась. Блузка лопнула, и в руке у Конрада остался почти весь рукав и левая передняя часть. Заподозрив изнасилование, владелец заведения выскочил из-за барной стойки. Папка упала под стол, Конрад нагнулся за ней, и миссис Смит, с поцарапанным лицом и обнаженной грудью в кружевной чашке лифчика, вылетела на Джермин-стрит. Мужчина у витрины коротко на нее взглянул без тени улыбки. Миссис Смит была уже на углу, когда сзади раздался Конрадов голос, дикий и жалобный: «Вернись! Помоги мне! Помоги!»

Но миссис Смит, не останавливаясь, бежала по Дьюк-оф-Йорк-стрит, свернула на Сент-Джеймс-Сквер и укрылась в краснодеревной твердыне Лондонской библиотеки, в которой, когда ее только открыли стараниями историка Томаса Карлейля, из всей беллетристики была только Джордж Элиот: Карлейль считал, что она настолько глубоко проникла в сущность эпохи и

склад мыслей современного человека, что зачислил ее труды по разряду философии.

В отделанном красным деревом женском туалете миссис Смит умылась водой из латунного крана викторианских времен и заплакала о музыке. Надо будет попросить у кого-нибудь жакет — поехать домой в приличном виде. Была задета ее честь (и в более современных значениях, и в старинном смысле слова тоже). Ее трясло. Вообще, миссис Смит, как женщина решительная и практичная, вернулась бы к работе, но эмоциональный подъем безвозвратно ушел.

Конрад сошел с ума. Не станет она ввязываться в его историю с музыкальными инструментами-убийцами и смертельными зонтиками.

Как же все это зыбко — чувство собственного «я» в темном боксе неизвестности, момент прозрения, уверенность в том, что музыка — единственное искомое.

«Смерть уничтожает человека, — сказал Форстер, гуманист, либерал и реалист, умерший в тот день, — идея смерти его спасает».[57] Частное сумасшествие Конрада не заставит миссис Смит отвлечься или повернуть назад.

---

[57] Примечания: 57
Цитата из романа "Говардс-Энд".

* * *

И все же вынуждена сообщить, что всего две недели спустя миссис Смит пошла в клинику на Мэрилебон-роуд к хирургу. В правом боку побаливало, не сильно, ничего особенного, небольшая припухлость, грыжа.

У нее, сказал хирург, что-то вроде опухоли, утолщение ткани на месте старого рубца. Лучше удалить.

— Но только не сейчас, — запротестовала миссис Смит. — Сейчас я занята, у меня полно дел. Мне как раз летом работается лучше всего, когда в школе каникулы. Давайте осенью.

— На следующей неделе, — твердо сказал хирург и прибавил, как бы отвечая на незаданный вопрос: — Конечно, доброкачественная.

Правда, мистеру Смиту он сказал кое-что другое. Да и потом, откуда он мог с такой уверенностью знать до операции, злокачественная она или доброкачественная?

В итоге миссис Смит легла в больницу только через три недели, а пока ждала, ходила, как обычно, в Лондонскую библиотеку. Она много смотрела в окно и пыталась думать о коротких рассказах, о сжатой, спешной форме письма, а то

кто его знает, много ли осталось?

Подменыш[58]

На нем красовался старомодный блейзер цвета мятой клубники в кремовую и черную полоску и соломенная шляпа канотье. Он, впрочем, то и дело ее снимал — видимо, чувствуя себя в ней странно — и вращал обеими руками, будто корабельный руль, чуть пониже пояса, напротив светлых фланелевых брюк.

— На этот раз непростую задачку я вам приготовил! — оживленно обратился он к одной из участниц садовой вечеринки.

Широкие у проймы, узкие в запястьях рукава «баранья ножка» и шелковые солнечные зонтики здесь соседствовали с современными шелковыми платьями-рубашками по колено и вовсе непокрытыми головами — некоторые из гостей нарядились, согласно предписанию на пригласительном билете, в «стиле начала 1900-х гг., времени правления Эдуарда VII», другие же не стали. Даму, с которой вступил он в разговор, звали Джозефина Гамельн. Она была одета в длинную серую хлопковую юбку, блузку с высо-

---

[58] Примечания: 58
Перевод А. Псурцевой

ким воротником и в собственную диковинную соломенную шляпку. Не то чтобы она любила причудливые наряды, просто имела обыкновение исполнять, хотя бы из вежливости, разного рода просьбы.

— Интересно, и какую же? — спросила она, с улыбкой чуть повернув голову к Максу Маккинли и не отводя взгляда от мальчиков, воспитанно и деловито снующих с подносами снеди по ровной, залитой солнцем лужайке.

Миниатюрные пиццы, сосиски в тесте, устрицы, запеченные в беконе, — все это были изделия школьной кухни: в этой прогрессивной школе мальчиков обучали кулинарии. К Максу она относилась с симпатией, и не только потому, что он сердцем принимал и, возможно, понимал ее повести и рассказы, — хотя именно с этого и началось когда-то их знакомство и сотрудничество. В шестидесятые годы, когда ее сын Питер был не старше этих ребятишек, Макс позвал ее, в ту пору еще малоизвестную сочинительницу, рассказать воспитанникам школы-интерната о писательском деле. Потом в эту школу поступил и Питер.

Макс ответил:

— Я хочу, чтобы вы на несколько месяцев при-

ютили у себя паренька по имени Генри Сми.[59] Потрясающе одаренный молодой человек, но очень непростой. Он нуждается в теплом, спокойном доме, интеллектуальном общении. Мне кажется, — Макс доверительно склонился к ее уху, — он нуждается именно в вас!

— Но почему?

— Как только увидите, сразу поймете. Генри Сми — это вылитый Саймон Валле из «Котельной». Сходство удивительное.

— Ужасно… — безмятежным тоном сказала Джозефина, которая придумала Саймона Валле, — ужасно для Генри Сми…

— Да, мало приятного. Но вы обязательно сумеете ему помочь. Не сомневаюсь.

— Вы всегда просите о невозможном, — отозвалась Джозефина, впрочем не без оттенка удовольствия.

— Этой осенью он поступает в Кембридж. На лето я приискал ему работу в библиотеке. Ему необходима нормальная жизнь и человеческое понимание.

— Можно, конечно, попробовать, — сказала Джозефина. — Вы уж представьте нас друг другу.

---

[59] Примечания: 59

Мистер Сми — подручный капитана Джеймса Крюка в сказочной повести Дж. Барри о Питере Пэне и пропавших мальчиках.

Горячность и серьезность, с которой Макс заботился о своих воспитанниках, всегда трогали Джозефину, вдыхали в нее новые силы. Макс чувствовал каждый легкий трепет, каждый неверный стук страдающих юных сердец. Всякий ученик был для него чем-то новым, волнующим. Макс верил, что обо всех воспитанниках можно порадеть, его любовь и забота были неотступны. Пожалуй, оказавшись на его месте — ему об этом она, конечно, не говорила, — Джозефина давно бы уже скатилась в безликую, хотя и усердную работу. Разумеется, она ни на секунду не поверила, что Генри Сми имеет хоть каплю общего с Саймоном Валле; ну, разве что в сверхчутком воображении Макса?... Вышло так, что она была всю неделю занята — то на званых мероприятиях, то собственными делами, — у нее попросту не было возможности проверить на нейтральной территории точность наблюдения Маккинли. А Генри Сми собственной персоной уже доставили к ней на дом.

* * *

Дом был огромным зданием в южной части Лондона — импозантным, викторианской постройки, хотя и с несколько сумбурной, рас-

ползшейся планировкой. Слишком большой — не только сегодня, для одной Джозефины, но и даже в те дни, когда она была матерью семейства и семья какое-то время состояла из мужа и сына, впрочем вскоре там проживали уже только она и сын Питер. Вслед за вспышкой удачи — приглашением от Макса выступить перед мальчиками в школе имени короля Эдмунда и приемом Питера в это заведение в качестве недельного пансионера — все спальни, а также свободные места за обеденным столом у них в доме постоянно заполнялись гостями, которых она и Питер, оставаясь с глазу на глаз, величали «пропавшими мальчиками», как в сказке про Питера Пэна.

То были подростки-сироты, которые, не получи они у добрых людей крова и приюта, провели бы все лето в опустевших общих спальнях интерната. Или мальчики, чьи семьи находились за границей, по дипломатической или деловой надобности. Не склонный к разговорам зулусский принц. Беспокойный, слезливый индиец с Маврикия, убежденный вегетарианец. Наркозависимый паренек, попавшийся с поличным на краже и сбыте транзисторов и калькуляторов. Подросток, бежавший из интерната к бритым налысо, в облачениях цвета шафрана сектан-

там, по возвращении — рассеянное внимание да внезапные провалы в сон. Джозефина и Питер обсуждали этих мальчиков ночами в их отсутствие, делились друг с другом сведеньями об их страхах, тайных надеждах, отношениях с внешним миром.

Питер рассказывал Джозефине о вещах, которые ей, возможно, знать не полагалось. Потом, в разговорах с мальчиками, она никогда не упоминала эти вещи, но зато ненавязчиво, как она надеялась, делала на них поправку, обходила, как острые углы. Питер очень точно подмечал страхи других людей. Подмечал с искренним сопереживанием, что более соответствовало задушевному подходу Макса Маккинли, чем холодному, практичному — Джозефины Гамельн, норовившей все разложить по полочкам. Год или два Питер преклонялся перед Максом Маккинли, затем внезапно остыл. К тому времени многое в поведении Питера стало трудно объяснить, он просто разбивал ей сердце.

* * *

После ухода Питера Джозефина продолжала давать приют временным «пропавшим мальчикам». Она никогда не размещала их в спальне

Питера: там она регулярно убиралась, вытирала пыль — вдруг сын решит вернуться. Ночевали эти гости, как и все предыдущие «пропавшие мальчики», в уютной мансарде, где они могли музицировать, не мешая Джозефине наслаждаться тишиной. Одну из таких верхних спаленок она и подготовила для Генри Сми, чисто подмела пол, поставила в вазу букет цветов, чтобы создать у мальчика хорошее настроение.

* * *

Макс привез постояльца к Джозефине и сам тоже остался на ужин. Ужинали на кухне, это была уютная комната, наполненная красно-коричневым, алым и медным мерцанием. Здесь стоял шведский стальной калорифер, которому скармливали толстые поленья; из жерла его доносился кисловато-терпкий запах кострища. Тем не менее подделку под деревенскую кухню интерьер собой не являл — напротив, был отражением особой городской практичности. По стенам развешена не декоративная, а вполне полезная в хозяйстве утварь, на деревянных полках размещены карминно-красные блюда и тарелки с орехами и фруктами. За этим первым ужином Макс и Джозефина общались лихорадочно-взвол-

нованно, более половины реплик направляя в сторону Генри Сми. А тот молчал, глухо молчал, даже не кашлянул.

По правде сказать, Джозефина ощутила смятение еще при первом взгляде на нового постояльца. Он был вылитым Саймоном Валле — хотя и не слишком на него походил. Для описания обоих подростков годились одни и те же сочетания слов, и Джозефина их хорошо знала. «Молодой человек был невыразимо тощ и бледен. Его глаза прятались за круглыми очками, прямые бесцветные волосы свисали с вытянутого хрупкого черепа. У него были выступающие скулы и острый подбородок; плечи сутулились». Впрочем, слова эти, и правда вышедшие однажды из-под пера Джозефины, передавали лишь очевидную наружность гостя, но никак не всё сложное от него впечатление. Захоти поиграть карандашом художник, он сумел бы подлинно изобразить уроненные уголки губ, тонкую, откинутую назад капризно-нервную шею. Подобной целостностью и штучной выразительностью никогда не бывает наделена физиономия, вымышленная писателем. Если написать «круглые очки», то их точный вид останется не выраженным в слове; и «подбородок» тоже будет неясным, расплыв-

чатым. Также дело обстоит и с точной степенью бесцветности тонких волос. Джозефина подумала: наверное, Макс теперь, стоит ему вспомнить о Саймоне Валле, сразу видит лицо Генри Сми. Так ей самой когда-то приходилось внутренне сопротивляться, чтобы, думая о литературном герое, детективе Филипе Марлоу, не представлять Хамфри Богарта, сыгравшего его в кино. И то, что она почувствовала раздражение от всех этих мыслей, уже было не слишком хорошим предзнаменованием.

Макс отбыл домой и оставил Джозефину наедине с Генри Сми. «Я, пожалуй, пойду спать», — тут же произнес Генри и стал беззвучно подниматься к себе в мансарду по лестнице, старательно держась за перила.

* * *

В течение следующих недель они завтракали вместе, Джозефина и Генри, а в те дни, что Джозефина была дома, встречались и за ужином. Она пыталась разговаривать с ним, несмотря на сопротивление своей собственной, надо заметить, скрытной, малоречивой натуры: в напряженной вялости гостя таился привлекавший ее парадокс, загадка. Она заводила разговоры об учебе

в университете, куда он поступит, о тонкостях перевода с греческого, латыни, французского на английский и обратно; обо всем этом он ронял глубокие замечания, но тихо, не повышая глуховатого голоса. Он никогда не предлагал помочь готовить — ни завтрак, ни ужин, не пытался вымыть или вытереть тарелку. С ножом и вилкой он обращался так, словно они слишком тяжелы и грубы для его целей. Была у него привычка впадать в ступор: втащившись в какую-нибудь комнату, он непременно замирал — при этом, чувствовала Джозефина, он каждым натянутым нервом стремился удержать в равновесии свое остолбеневшее тело. Казалось, он заключен внутри зеркального стекла или угодил в невидимые злые силки. Ему требовалось особое приглашение, чтобы сдвинуться от двери в сторону стула, сесть, встать, взять свою тарелку и перенести ее; он держал тарелку перед собой, в неподвижных руках, застывшими пальцами игрушечного солдатика, будто это был игрушечный барабан. Иногда Джозефине думалось, что он боится выронить и разбить ее посуду, а иногда — что он охотней вообще бы не прикасался к тарелкам в чужом доме. Он не вступал в разговоры, восхвалявшие человечность Макса, которые затевала

Джозефина, — продолжал молчать, храня свой неизменный вид, не то отстраненно-пренебрежительный, не то исполненный отчаяния: в зависимости от настроения Джозефины, ей представлялось то первое, то второе. Маккинли ей сообщил, что молодой человек музыкален: она предложила ему свободно пользоваться пианино и кассетным магнитофоном Питера. Сми отвечал, что пианино расстроено, а звук магнитофона режет ему слух. Она представляла эту пытку его тонкого слуха и от всей души мечтала, чтобы он хоть улыбнулся или состроил дурашливую гримасу. Она стала бояться общения с ним. Перед очередным совместным ужином испытывала смутную тревогу; вслушивалась в звуки его шагов вверх по лестнице и вздыхала облегченно, когда дверь спальни за ним закрывалась; застывала в невнятном страхе, когда вновь открывалась эта дверь и он начинал медленно, скованно — но, как ей казалось, неумолимо — спускаться по скрипучим ступеням.

* * *

Главным предметом литературного творчества Джозефины был страх. Рациональный страх, иррациональный страх, огромный страх,

подступающий скачками к юному существу, которому неуютно в большом мире… Любой писатель, как заметил Генри Джеймс, довольно рано находит предмет своего творчества и затем всю жизнь лишь подробно исследует, находя дополнительные грани. Стоит ли считать это общим правилом — неизвестно, однако оно определенно подходило к Джозефине Гамельн. Ее излюбленным жанром была повесть, главным героем — молодой человек между отрочеством и поздним подростковым возрастом; ему нечто угрожало, он вынужден был прятаться, пускаться в бега. Некоторые из этих литературных героев и впрямь оказывались изуродованы или убиты. Их увозили в неизвестном направлении на машине, дверцы которой не имели изнутри ручек; они пробирались чуть ли не на четвереньках сквозь каменные джунгли, с ножом, приставленным бандитами к их шее или спине; подвергались ритуальным истязаниям со стороны других, жестоких подростков в спальне частного привилегированного учебного заведения или на игровой площадке государственной школы. Если они испытывали боль, то мгновенную, неожиданную: не боль, не насилие, а именно страх был темой Джозефины. Часто вымышленным маль-

чикам даже и не наносился физический вред: они глубоко страдали от некстати брошенного взгляда, от чувства отверженности, от трещины в оконном стекле, от развязных кондукторов, наводящих порядок на верхней палубе двухъярусного автобуса и страшащихся спуститься в нижний отсек из опасения за свою собственную жизнь. Сочинения Джозефины сравнивали не только с Уилки Коллинзом и Генри Джеймсом, но и с Францем Кафкой. «Котельная», где главным персонажем был Саймон Валле, представляла собой сюрреалистическое повествование о подростке, жившем в школе-интернате. Наподобие Робинзона Крузо, он обустроил себе запасное тайное убежище, однако не в пещере, а в подвале школьной котельной — в пыльном закутке, за трубами котла, топившегося коксом. Со временем он перебрался туда окончательно, лишь периодически совершая по ночам вылазки за едой и питьем. Концовка была зловещей: Джозефина Гамельн не особо стремилась подарить своим персонажам счастливую судьбу. Критики, как всегда склонные к преувеличениям, видели в этой повести обличение безобразий, творящихся в нынешней школе. Обыкновенные парты, груда футбольных бутс, закрытый стальной шкаф в раздевалке,

высокий и узкий, — обыденные вроде бы подробности. Но под пером Джозефины они оживали, ощетинивались, становясь воплощением ужаса, всех мыслимых и немыслимых страданий, какие только можно причинить человеку.

* * *

Она узнавала страх в Генри Сми, хотя понятия не имела, чего он боится, надуманы или основательны его страхи. Она узнавала и кое-что еще, известное ей по собственному опыту: беспокойство, вплоть до болезненного страха, преследующее интеллектуально одаренных подростков. Бедный Генри Сми не мог не получать удовольствие от рассуждений о грамматике, от сложной, строго упорядоченной музыки: он был исключительно чувствителен к порядку и красоте, запоминал формы и модели, он был обречен мыслить. Затворничество не могло оставаться вечным его уделом. Она и сама многого боялась ребенком — с чего бы еще она могла так точно описывать чувства своих персонажей? — и была настолько умна и талантлива, что этого невозможно скрыть в молчании и заикании, тебя все равно заметят; ей приходилось читать, запоминать, копить в душе, чтоб потом, как и Генри,

выйти, по крайней мере на время, к миру, где способности имеют значение.

* * *

Во время обеда или ужина он безмолвствовал, на все вопросы отвечал односложно или просто кивком, так что Джозефина постепенно утратила охоту их задавать. Зато он развил скверную привычку бродить по дому в пижаме ли, в халате в два, а то и в три часа ночи. Пару раз Джозефина просыпалась от шороха и с колотившимся сердцем спускалась вниз — а ну как в дом пробрались воры? Но воров не было, зато был Генри Сми: сидел на кухне, стиснув в ладонях чашку растворимого кофе, вперившись взглядом в духовку. В минуты таких встреч необщительный и недоверчивый Генри Сми вдруг становился чрезвычайно словоохотлив. Говорил он очень тихо, еле слышно, вовлекал ее, Джозефину, в мусорный поток побочных мыслей, разрозненных замечаний — о пользе изучения латинских числительных, о принципе экономии в композиторской манере Стравинского; подробно и утомительно перечислял предметы, которые предстоит ему изучать в Кембридже, скороговоркой, как бы в скобках, ввернув, что хорошо бы ему не приходить на

собеседование к научному наставнику в обществе других студентов, уж больно не любит он находиться в комнате, если в ней больше одного собеседника. Пожалуй, из всего, что сказал ей Генри Сми, это было самое личное, самое откровенное, думала Джозефина, позевывая и чувствуя, как в крови понижается сахар. Но за этими скупыми сведеньями, как и вообще за любыми его словами, — Джозефина прекрасно это понимала — уже стояла вся правда, вся неприкрытая правда о нем: каков он в душе и почему не может жить спокойно. Беда, однако, заключалась в том, что Джозефине не слишком-то хотелось эту правду знать, ведь сводилась она все к тому же страху, и без того отлично ей знакомому. Страх заразен.

* * *

И возможно, передается по наследству. Мать Джозефины страдала агорафобией в легкой форме, доставлявшей неудобство близким, с возрастом болезнь прогрессировала. Отец, человек одинокий, опасавшийся людских пересудов, пребывал в растерянном недоумении от поведения жены и склонен был считать, что она просто-напросто потакает своим слабостям. Закутанная с головы до ног мать водила свою с головы до

ног закутанную дочь, пяти- или шестилетнюю Джозефину, разве что в местную школу и, в особо редких случаях, добредала с ней до публичной библиотеки. В четырнадцать лет Джозефина уже училась в школе-интернате; а мать к тому времени редко выбиралась из спальни, прогулка по собственному садику на задворках дома и то вызывала у нее головокружение. Мать никогда не рассказывала, чего именно боялась, и Джозефина понимала — выспрашивать бесполезно, оставалось воображать. Джозефина помнит ясно, будто это было вчера: она и мать в очереди на автобусной остановке, стоят рядышком молча, ни с кем не заговаривают. Вдруг в страшной панике мать выскакивает из очереди и без оглядки несется по улице. Книги, пакеты с морковкой и сливами — все на ходу падает, разлетается по тротуару! И чего страшного, спрашивается, может подстерегать на автобусной остановке?… Почему вызывал ужас звонок в дверь, было несколько понятней. Джозефине самой приходилось вступать в переговоры то с коммивояжером, предлагавшим средство для чистки ковров под названием «Чистим-бли́стим», то с проверяльщицей электросчетчиков, а то и с самим доктором; честно признаться, все они для нее имели вид угрожаю-

щий. Однако куда страшнее были дюжие девицы, ее одноклассницы. По общей спальне разносился их громоподобный раскатистый хохот. Они швырялись подушками, с размаху плюхались на чужие кровати, улюлюкали, потешались над тощей, маленькой Джозефиной, которая тряслась от страха в своем трикотажном корсете. Она находила спасение — если, конечно, это было спасение — в уединенном чувственном наслаждении изливать свои страхи на бумагу. Уже тогда в котельной школы имени святой Клары сочиняла она неуклюжие истории, исполненные вполне обоснованного ужаса. В этих рассказиках стаи девочек-подростков в несколько прыжков настигали свою жалкую жертву и ненароком выжимали из нее последний вздох. Потерянные бессловесные страдалицы оказывались запертыми в шкафах, о них по нечаянности забывали… Котельная вся была одета толстым слоем угольной пыли, коксовая корочка взбегала по стене до плотно закрытого, в густой паутине окна, расположенного ниже уровня внешней мощеной площадки. Джозефина, случалось, открывала дверцу топки: яростно шипели и ревели на нее языки пламени, мерцала коксовая пыль. Она собирала разные вещи — одеяло, велосипедный

фонарь, старый свитер, жестяная коробка из-под печенья, особая коробочка, приспособленная под пенал, папка для бумаг — и поселяла их в своей берлоге, в дальнем углу, за трубами. Туда она пробиралась по межтрубным зазорам, слишком тесным для девочек покрупнее или для сотрудников хозчасти. Иногда она приносила в жертву прожорливому котлу неудачный рассказ, и тогда злое красное пламя в топке на краткое время вспыхивало золотом. Годы спустя, когда она писала повесть о Саймоне Валле, запах кокса возвращался к ней в своей древней затхлой горечи. И не собственных ли бесов изгоняла она, склоняясь над чистой страницей? Женщина-писатель, которая сумела создать такого персонажа, наблюдать за ним, не стала бы сама впоследствии вести такую же странную затворническую жизнь, как ее мать, — или стала?

* * *

Генри Сми и Джозефина сидели перед кухонной плитой, потягивая растворимый кофе. Генри также ел яблоко, золотистый пепин, которым его угостила Джозефина. Зубы Генри вонзались в упругую яблочную мякоть с хрустом, и, казалось, этот звук, разрушавший тишину, смущал его,

приводил в еще большее молчаливое замешательство. Он сидел на скамейке, плотно сведя колени вместе. Также составлены вместе, белеют из-под пижамных брюк тонкие щиколотки в домашних тапочках. Отставив чашку, Генри сложил ладони и пропустил их между коленями вниз. Джозефине хотелось уже находиться в своей кровати. Как и Генри Сми, писательница страдала от приступов бессонницы, но с гораздо большим удовольствием провела бы это время за чтением. В три часа ночи она отгоняла страхи длинными сюжетными поэмами. Это было непростое чтение, открывавшее путь из ее мира в другие воображаемые миры. Джозефина спросила Генри, как ему работается в библиотеке, какие у него впечатления. Он отвечал, что тамошняя система классификации книг безумна и к тому же заставляет делать кучу бесполезной работы. «Как будто книги — это просто вещи, знай расставляй по ранжиру», — подытожил свои наблюдения Генри.

А потом вдруг сказал:

— Знаете… А я ведь прочитал «Котельную»!

— Вот как?

— Ага. Макс сказал, я и прочитал.

— Что ж, очень рада.

— Саймон Валле… — произнес Генри и, помолчав, снова повторил, через силу: — Саймон Валле… — Его затрясло. Затрясло и чашку в его сведенных руках, он вынужден был поставить ее на стол.

Джозефина, возможно, с удовольствием описала бы в какой-нибудь новой повести му́ку, в которую его повергала попытка высказаться, но помочь ему преодолеть затруднение и не думала.

— Откуда вам всё известно про Саймона? — тихо выпалил Генри. — Он… совершает… маленькие тайные действия… Играет сам с собой в игру. Зачем я вам рассказываю, вы ведь и так знаете. Я думал, знаю только я. Ведь только я… — Генри запнулся.

Джозефина отнюдь не горела желанием продолжать этот разговор. Она бросила, пожалуй, даже с излишней беспечностью:

— Как откуда известно? Из простых наблюдений. Ничего необычного. Все подростки через такое проходят.

— Нет, нет! — воскликнул Генри. Стекла его очков затуманились. Он снял их и обратил к ней лицо, подслеповатое, взыскующее, уязвимое. — Мир так ужасен, что многие люди и вообразить

этого не в силах. Вы согласны?

Тут бы ей и спросить напрямик: «Чего же именно ты боишься, расскажи». Сама она боялась его.

— Но ведь в школе Святого Эдмунда, с таким замечательным директором, как Макс, всё по-другому, — произнесла она непререкаемо. — Я отправила туда своего сына Питера, там так уютно, такая дружелюбная атмосфера.

— Нет, нет!.. — Генри свил свои бесполезные руки, выпростав их из пижамных рукавов. — Дружелюбная атмосфера — она не для всех. Она невозможна. Люди там невозможные.

— Я преклоняюсь перед Максом как перед педагогом, — внушительно проговорила Джозефина.

— Все равно, мне там не было радостно.

— Ничего. Ты это перерастешь. Всем пришлось через это пройти.

— Ох, нет. Вы не понимаете. Нет, понимаете… раз написали. Только сейчас понять не хотите.

— Трудно в три часа ночи. Я устала.

— Конечно. Я сейчас лягу. Пора. — Он рывком поднялся и побрел прочь, наверх, своей шаркающей неверной походкой.

Макс прислал его к ней, надеясь на помощь. А у нее не хватило духу помочь.

Джозефина положила огрызок в мусорное ведро

и все протирала, протирала тряпицей кухонный стол, засверкавший привычным тихим блеском.

* * *

После этого случая Джозефина начала непрестанно бояться Генри Сми. Работая, она прислушивались к его тихим шаркающим шажкам по дому; готовя еду, ждала: вот-вот он проскользнет в дверь и бесполезно застынет в проеме, будет стоять и стоять там, словно в ожидании чего-то, неизвестно чего. Больше всего ее пугало, что он действительно прочитал повесть о Саймоне Валле. Саймон Валле был Джозефиной Гамельн, незачем посторонним вставать между ними. У писателей часто спрашивают, каким они воображают своего читателя. Но есть писатели, а Джозефина определенно относилась к их числу, которые могут успешно работать, лишь когда вообще не воображают никакого читателя. Саймон был не чем иным, как ее собственным страхом, которому она обозначила пределы, дала отдельное, отчужденное существование. Генри же присутствует у нее в доме, прочел повесть о Саймоне и — здесь это ужасное, расхожее выражение литературоведов вполне уместно — «ассоциирует себя с Саймоном». Тем самым Генри наносит удар

по ее самостоятельно созданной, кропотливо выстроенной независимой личности. Впервые за всю кипучую писательскую жизнь у нее возник творческий ступор. Она пыталась вылепить очередного персонажа, но у него неизменно оказывалось лицо Генри Сми, его нервные жесты, его тихий, презрительно-испуганный голос. Джозефина утратила свободу, заветную свободу смотреть на мир глазами нового Саймона Валле, видеть всё ту же — и одновременно иную котельную, ту же — и иную груду кокса, вдыхать новыми ноздрями ту самую затхлую горечь.

* * *

Джозефина была собственным исчадием, как и отделившийся от нее Саймон, как и вся вереница предшественников, предвоплощений Саймона. Усилием воли она сотворила себя в противовес тому страху, который испытывала ее мать, в противовес будущему, которое ожидало бы ее, поддайся она этому страху сама. Она сказала себе: у меня непременно будет славный теплый дом, с дружелюбной атмосферой, люди смогут свободно, без стеснения, приходить и уходить, наслаждаться беседой в приятной обстановке. Однако нынешнее теплое и приветливое место,

которое она звала своим домом, *не было* — и она это прекрасно знала — подлинным отражением ее личности. Дом стал таким, каким она назначила ему быть. Сама же она в душе оставалась все тою же дикой отшельницей в котельной, дышала запахом коксового нагара. Ее муж, отец Питера, пять лет прожил в этом уютном доме, ел вкусную домашнюю еду, но затем взял и ушел к другой, куда менее умной женщине — неряшливой, взбалмошной, коротавшей досуг в основном в безделье, чрезвычайно смешливой. Многие знакомые спрашивали друг друга и даже спрашивали у Джозефины, почему он так с ней поступил. Джозефина не задавала себе вопросов. Ибо знала ответ. Муж ее раскусил. Но она не очень горевала о потере. Исчез один из смыслов существования, но с ним вместе — и часть внутреннего напряжения. И еще у нее был Питер. Значит, дом — для Питера.

Питер был таким жизнерадостным. Таким открытым. Даже маленьким мальчиком он бесстрашно подбегал к людям на автобусных остановках и вокзалах, заговаривал с ними. Притаскивал в гости приятелей одного за другим, с удовольствием угощал, развлекал. Джозефина всегда была начеку: не давала Питеру увидеть

или учуять ее страх. Много и часто общалась с сыном, кроме него — практически ни с кем. Он сделался ее товарищем в деле отбора и развлечения «пропавших мальчиков». Возможно, она не заметила, что у него были собственные страхи. Не обладая дисциплинированным умом Джозефины или Генри Сми, он с трудом сдал выпускные экзамены в школе, еле-еле получил аттестат. После чего отправился учиться в политехнический колледж в одном из портовых городов Южной Англии. Специальность они тщательно выбирали вместе, им хотелось, чтобы профессия была «человечная», в итоге остановились на «связях с общественностью». Спустя несколько месяцев, однако, Джозефине стало известно, причем из чужих уст, что мальчик не посещает занятия. Оказалось, он влился в группу активистов, которые раздают суп бродягам, обосновавшимся в парках и подземных переходах; а еще — помогают бездомным проникать в порожние муниципальные квартиры, пустующие особнячки респектабельных буржуа и самовольно их заселять. Более того, активисты не прочь нахально прихватить, не платя денег, необходимые им предметы и продукты из супермаркета. Лишь однажды Джозефина приехала его проведать: он сам к тому времени

жил с компанией бродяг в сквоте, носил длинную бороду и был облачен в несколько слоев дырявых, неприятно пахнущих свитеров и кардиганов. «И тебя устраивает такая жизнь?» — спросила Джозефина, а Питер только мило улыбнулся и сказал: «Вполне». Словно ему было само собой очевидно что-то, недоступное Джозефине. Он казался беспечным, неестественно расслабленным — у него были размашистые жесты, ноги чуть шаркали. Не новая ли это форма страха? — подумала Джозефина. Неужели эти оборванные бородачи, балующиеся метамфетамином, — закономерная концовка эпопеи с «пропавшими мальчиками»? А что, если Питер, пусть и позже, чем его отец, понял, что все это было не настоящим — тепло камина, чистая одежда, открытый дом, запахи домашней кухни? От него, ее сына, пахло канализационными трубами, грязной шерстью, отсыревшей золой. В этом превращении Джозефина винила себя, но почему-то затруднилась на сей раз ясно определить — в чем же именно ее вина, ее ошибка? А может, и нет никакой вины? Ошибка — она сама.

* * *

Спальня, в отличие от остального дома, была ее сугубо личным пристанищем. Она и не заметила в свое время, как из просторной супружеской опочивальни перебралась в эту небольшую каморку по соседству с детской; тут, должно быть, в стародавние времена обитали няни, спешили отсюда ночью на младенческий плач. Чего здесь только не было: собственная детская кроватка Джозефины с литым чугунным изножьем и изголовьем, поставец с висящим над ним зеркалом, стол с рабочей лампой, самодельный коврик из разноцветных полосок ткани поверх начищенных половиц. Книжного шкафа нет, спальня слишком мала — книги вносятся и выносятся; полок, приятно оживляющих стены рядами цветных, неброских корешков, хватает в других комнатах.

Однажды вечером — должно быть, минула примерно неделя с тех пор, как Генри Сми попытался поговорить с ней о Саймоне Валле, но не был выслушан, — Джозефина вернулась домой со званого ужина в заказном такси, развозившем гостей. Пока такси отъезжало, она боязливо прислушивалась: не раздастся ли на лестнице неуверенная и в то же время неумо-

лимая поступь Генри? На кухне было пусто и темно, плита холодная. Джозефина отправилась наверх, блаженно вздохнула, закрылась в своей комнатушке — и завопила не своим голосом. Нет, Генри не делал ничего страшного: просто, расположившись на краешке *ее* кровати, изучал собственное, озаренное светом уличного фонаря лицо в квадрате зеркала. Входя, она и увидела лишь это отражение, пристально глядящее на нее из темного квадрата, прихотливо подкрашенное еще и светом, лившимся сквозь стекло двери у нее за спиною. Один из ящиков комода слегка приоткрыт, как будто он пытался найти там перчатки или чулки, чтобы примерить на себя, хотя — она отдавала себе в этом полный отчет — примерка, *присвоение* ей лишь чудились. Единственная улика — приоткрытый ящик, и, как знать, не оставила ли она его сама, собираясь в спешке? Такая забывчивость, особенно в этой заветной комнате, не очень в ее духе, но ведь все бывает. Его луноподобное, смятенное лицо влажно блестело в зеркале, глаз не разобрать, так как очки отражали отражение. Рот открыт в крике, но крик — беззвучный. Воздух содрогается только от ее собственного вопля. Генри был белее мела; она вновь подумала: а не взял ли он что-то

из ее косметики, в комнате стоит тонкий запах туалетной воды и фиалковых духов. Но белизна кожи Генри Сми определенно была естественной: та самая бледность, благодаря которой так запоминался читателям Саймон Валле, здесь лишь подчеркнутая уличным натриевым фонарем.

— Убирайся!!! — проклекотала Джозефина Гамельн, теряя самообладание, которым гордилась в себе более всего (не считая, конечно, отличного ритма прозы). — Убирайся вон из моего дома, с меня хватит! Не могу выносить твоих мерзких повадок, чтоб ноги твоей больше не было, сию же минуту. Ну или, по крайней мере, завтра…

Генри закрыл рот, а потом вдруг улыбнулся скованной, но удовлетворенной улыбочкой.

— Разумеется, — произнес он. — Обязательно. Сию же минуту или завтра.

Он стал бочком обходить ее.

— Я просто от неожиданности, — опомнилась Джозефина. — От неожиданности.

— Это ничего, — сказал Генри Сми.

* * *

Он ушел на следующий же день. Удерживать его она не стала. А через месяц или два Макс Маккинли сообщил ей по телефону, с обычными

осмотрительностью и тактом, печальную новость: Генри Сми погиб, проглотил целый флакон аспирина — как раз перед тем, как занять свое место в Кембридже. Воображение Джозефины мгновенно нарисовало ей Генри Сми как живого: вот он крадется куда-то, еле переставляя тонкие ноги в широких, обвислых штанах, на бледном лице тоскливая гримаса, губы плотно сжаты — точная внешняя оболочка Генри, чье внутреннее существо так и осталось неведомым, неразгаданным. Потому что Джозефина тогда не пожелала его разгадать. А сейчас воображению уже не проникнуть — да это было бы и не по чести — *туда*, за подробностями: как именно принималось решение, сколько таблеток аспирина находилось во флаконе, как ему ждалось? Память услужливо превратила Генри Сми в удобный мнемонический код: приблизительная кровать, приблизительный флакон, примерная поза тела с выкинутой рукой. Максу Маккинли она сказала: «Ни за что бы не подумала. Понятия не имела, что им движет, такой скрытный мальчик. Ужасно». А Макс сказал: «Да, мы все его упустили. Все виноваты». Джозефина согласилась.

Зато ее писательский ступор прошел. Уже на следующий день она сидела за любимым ра-

бочим столом: никто и ничто теперь не стоит между нею и очередным Саймоном Валле, нет больше неудобного читателя, докучливого персонажа у нее в доме; можно писать, творить свой самодостаточный мир. И один лишь призрак тех самых, вялых и все же необычайно чутких рук прилепился к нынешнему обличью Саймона (которого на сей раз звали Джеймс), но прилепился так незаметно, что никому и невдомек.

Разлито в воздухе[60]

Атмосферное давление в Брайз-Нортоне достигало отметки в семьсот пятьдесят девять миллиметров ртутного столба, уровень стабильный. В четверг ожидается солнечная погода, кратковременные дожди, местами ливни, возможны грозы. Благодарим за звонок.

Миссис Сагден неохотно повесила трубку. Сегодня служба погоды говорит голосом школьной учительницы. Ее доброжелательная интонация и умиротворяющий тембр нравятся миссис Сагден больше других. Она вообще больше любит женские голоса. Кроме этой учительницы, бывает еще торопливая девчонка с шумным придыханием и немного заунывная тетка, по голосу похожая на какую-нибудь мидлендскую кондукторшу. Из дикторов-мужчин один говорит неприятно резко, по-военному, другой чуть ли не запинается, как робкий студент. А третий — нахальный ливерпулец, которому словно доставляет удовольствие пугать ее градом и штормовым ветром; чем страшнее прогноз, тем ему веселее. Миссис

---

[60] Примечания: 60
Перевод С. Бранда

Сагден на память не жаловалась, запоминала все с первого раза, но ей так нравился женский учительский голос, что она иногда с некоторой стыдливостью звонила два раза подряд, чтобы послушать еще. Похожую стыдливость она испытывала и оттого, что в последнее время стала много смотреть телевизор. Когда-то давно, работая в школе, она всячески призывала детей не засиживаться перед ящиком. Живите своей жизнью, говорила она тогда, общайтесь с друзьями, делайте что-то настоящее, свое, не навязанное с экрана, не дарите ему свое время. А теперь находила, что голоса в комнате, оказывается, удовлетворяют подспудную жажду человеческого присутствия. День за днем тянулась эта светящаяся лента из передач по садоводству, боевиков, чемпионатов по фигурному катанию, шекспировских постановок и бесконечных новостей. Но вот смотреть ток-шоу миссис Сагден считала ниже своего достоинства. Она терпеть не могла всех этих белозубых заводил, которые, кажется, вот-вот затащат тебя на первый ряд непременных трибун или же вторгаются в твое личное комнатное пространство с гадкими признаниями и навязчивым самолюбованием. Одно дело — просто человеческие голоса, и совсем другое

— ложные друзья, это уже граничит с кошмаром.

Из кухни в прихожую, вихляя задом, слегка извиваясь и погромыхивая коготками об пол, прибежал пес Вольфганг. Он хорошо знал, что звонок в метеорологическую службу — к прогулке. От радостного возбуждения Вольфганг вдруг разинул пасть и принялся с тоненьким писком зевать.

Миссис Сагден задавалась вопросом, выйдет ли в такую погоду тот мужчина. Делать свое дело — ведь об этом думалось именно как о деле — ему, конечно, приятнее, когда на улице ясно и сухо. С другой стороны, чем лучше погода, тем больше людей, нежелательных наблюдателей. От недавнего дождя в районном парке должно быть мокро. С возрастом миссис Сагден приобрела свойства ходячего барометра. Тазобедренные суставы надежно давали знать, что скоро упадет давление или похолодает. Перед грозой начиналось нытье в носовых пазухах, когда еще только набегали первые тучки. От расплывшейся шеи к ключицам и дальше к плечам будто протянулся своеобразный громоотвод. «Здорова, и слава богу», — часто говорила она. Эту фразу слышали Джеймс и Элисон, когда звонили, фармацевт из аптеки, соседка из квартиры напротив. Соседку

миссис Сагден категорически недолюбливала. Разве может понравиться, если несет табаком? Что более прискорбно, грубоватость и худшие лондонские манеры. Ни то ни другое не было свойственно миссис Сагден, хоть она и прожила здесь, в Лондоне, бóльшую часть своей шестидесятитрехлетней жизни. Но сохранить здоровье еще не значило, что разные части тела не будут то и дело о себе напоминать. Тело, как ни досадно, уже напрочь лишилось былой гибкости и все больше становилось обузой. Между ним и окружающим миром появились многочисленные препятствия. Словно спящая в холодную погоду улитка, оно отгородилось заслонкой. В детстве миссис Сагден нередко наблюдала за такими улитками. Да, зрение уже не то, стала плохо видеть вдаль, фокусировать взгляд труднее. От долгой ходьбы тянет в пояснице. И на прогулке в парке уже только через силу получается задрать голову, чтобы посмотреть, как копошится в гнезде серая ворона или парит в вышине пустельга.

— Ну? Что он сегодня делать будет? — обратилась она к Вольфгангу, который прильнул к полу, нетерпеливо скалясь и торопя с выходом. — Где будет дожидаться?

Как и каждый день, она мысленно перебира-

ла самые подходящие для него места в округе. Вот неопрятный подземный переход с темными лужами и вечным запахом мочи — безобразно, на его месте она бы сюда не заходила. Но он-то не она, вот в чем вся штука. Он темноту, может быть, любит, а то и запах такой считает уютным. У пруда — рощица. Все кусты унизаны пестрыми пакетами из-под чипсов и крекеров, на шипастых ветках торчат обрывки выцветшей ткани, жестянки из-под колы, прочая мусорная мишура. Да, такую обстановку он, надо думать, и любит, земля поблизости разрыта коммунальщиками, у воды — пышные заросли рододендронов.

Однажды в этой рощице появился мужчина на велосипеде — да, таким он вполне может быть. Медленно-медленно проехал мимо нее. Был погожий, кажется, полдень. Вольфганг возился в кустах. Мужчина огромного роста, в спортивной майке, джинсах и грубых ботинках, катил еле-еле, неровно и смотрел на нее в лоб — наверно, учуял, что ей не по себе. Он был кудрявый, с проседью, а кожа — желтушного глинистого оттенка. Она ловко вынула свисток и позвала Вольфганга. Свисток у нее остался от работы на школьной спортплощадке: с его помощью она, бывало, разгоняла хулиганские потасовки, а

чаще — давала сигнал к началу нетбольных матчей. Шарик — сухая горошина — пронзительно забился в горлышке свистка, и собака тут как тут. Мужчина уехал прочь, но не успела миссис Сагден выйти из рощицы, как вернулся и снова миновал ее, так же угрюмо уставясь. Мужчина знал, что она боится, это было ему приятно. Но и только. Миссис Сагден неуклюже побрела дальше в своих сапожках на молнии. Но тот, кто появится, может быть, и не велосипедист. Он вообще не всегда один и тот же. Он то негр, то белый, то мулат, то какого-то неопределенно-землистого цвета, то худой угреватый юнец, то пожилой любитель прогулок, с круглой бритой головой, в кожаной куртке и кроссовках. С собой он мог нести портфель, полиэтиленовый пакет с добычей из мусорных баков, иногда — нож. В его распоряжении было сколько угодно времени, чем не могла похвастаться миссис Сагден. Ее одинаковые дни, словно леска, продергивались сквозь череду эмалированных бусин, в каждой из которых светится включенный телевизор. С каждым днем ее страх перед неизвестным мужчиной понемногу нарастал и умозрительные картины встречи с ним становились все ярче, занимали все более значимое место в ее воображении. Как

женщина благоразумная, миссис Сагден понимала, что этот человек — не более чем навязчивая идея. Но изгнать его было выше ее сил. Вот вчера в местной газетке написали про изнасилование в парке. Жертва — женщина (48 лет) — вышла на пробежку, ее повалили на землю регбийным приемом. Затем — изнасилование малолетки (15 лет) на бетонном пустыре за супермаркетом. Кто поручится, что и ее он не поджидает, что она ему случайно не подвернется?

Миссис Сагден боялась выходить из дому. Вольфганг недоумевал, к чему эти новые промедления перед каждой прогулкой. На всех книгах уже не оставалось ни одной пылинки, серебряный заварочный чайник натерт до блеска, но она считала нужным еще раз все обойти и обмахнуть, еще немного полить фикус. Квартира была опрятная, хоть и маленькая: две комнаты и тесная кухня. Там стояла стиральная машина и сушилка — подарки Джеймса и Элисон на новоселье. Она сюда въехала после смерти Брайана и продажи большого дома. Из-за стиральной машины миссис Сагден тоже чего-то беспричинно стыдилась: это был автомат, от нее ничего не требовалось. Раньше, с полуавтоматом, раз в неделю всегда устраивалась большая стирка, хозяйка брала

деревянные щипцы и заботливо извлекала из дымящейся мыльной пены тяжелую одежду и бережно перекладывала из одного отделения в другое. Лучше бы Джеймс и Элисон сами почаще приезжали, а без новой стиральной машины она обошлась бы. Но Джеймс работал в Саудовской Аравии, а Элисон с утра до вечера преподавала. К тому же она считала, что миссис Сагден на нее давит. Как они ни пытались, ничего поделать не могли, ясно было, что это само собой так складывается. На Рождество и иногда на Пасху дочь оставалась у нее, но уже через пару дней они сторонились друг друга и злились по мелочам. Миссис Сагден раздражало, например, что дочь не вытирает столовые приборы полотенцем, а кладет их на сушилку и на них остаются от воды разводы. Элисон же едва не выходила из себя, когда мать вмешивалась в ее кухонные дела, предлагала помочь с посудой, почистить картошку. Дочь видела в этом укор и напрягалась, ожидая замечаний. Обе они в силу рода занятий давно привыкли вести себя так, чтобы никто даже не подумал возражать.

Вольфганг заскулил. Он был настоящий бордер-колли, обученный для пастушьей работы. Красивый пес с умными янтарными глазами,

острой мордой и ушками, окрас — черный с белыми пятнами и подпалинами, хвост был правильной изогнутой формы и с белым кончиком, а шерсть вокруг шеи и на груди образовывала сияющий воротник. Часто вел себя неуравновешенно. Однажды прокусил носок почтальону, цапнул за задницу участкового полицейского, заглянувшего к ним во время обхода. Тот перенес нападение стоически и великодушно отметил, что собака полезная. Элисон говорила, что эта собака не для квартиры. Миссис Сагден соглашалась. Но с собакой ей жилось спокойнее, и в обмен на чувство защищенности ей приходилось, выгуливая пса, появляться в парке, спускаться в грязный переход, проходить замусоренную рощицу, бродить среди упругого вереска, по песчаным ямам.

Она понимала, что нежелание выходить из дому — иррационально, хоть и по-своему логично. Сколько было случаев, когда женщину поджидали в темноте или шли за ней до двери, а когда она, ни о чем не подозревая, открывала, заталкивали внутрь; и сколько раз с презрением преодолевались запертые окна и двери. И все же миссис Сагден было спокойнее в четырех стенах. Среди прочего потому, что это были владения

Вольфганга и на любой стук и шорох или просто когда чуял человека за дверью он закатывал скандал с лаем, рычанием и воплями. Бросал грозный вызов неизвестным посягателям. Миссис Сагден слышала, что в одном из районов Лондона — в Бренте или еще где-то — злоумышленники вламываются лишь в 2 % домов, где есть собака, и в 75 % домов без собак. Так что у них с Вольфгангом в их закутке сохранялись неплохие шансы остаться невредимыми. Но там, на улице, все иначе. У других женщин, кстати, подобного рода страхи были устроены совсем не так. Они боялись, что в квартире отступать некуда, что их настигнут в собственной постели, осквернят их родной ковер и что даже верные кухонные ножи будут обращены против них. Но у миссис Сагден дома сердце билось ровно, как ее же часы. Тревожно было, только когда она запирала дверь или, закрывая окно, касалась ладонью его холодного стекла, за которым тяжелел мрак ночи со всеми ужасами мира внешнего. Страх просачивался даже через рифленое стекло окошка уборной. Но все-таки опасной встречи она ждала именно на открытом воздухе. Именно там ее дыхание делалось короче и отрывистее, сердце словно разбухало и стучало маленькими резкими толчками. Все внутри, как

паутиной, затягивало какой-то тревожной дурнотой. В случае чего миссис Сагден физически не смогла бы даже убежать, она знала это и опять-таки стыдилась. Страх и стыд — неужели в жизни больше ничего не осталось? Привычно отогнав от себя эти чувства, миссис Сагден надела пальто. Вольфганг завился вокруг хозяйки, высоко подпрыгивая от радости. Она нацепила шерстяную шапочку и смотала поводок.

Ее путь лежал в горку, по двум улицам с обычными для окраин аккуратными викторианскими домами красного кирпича, которые выводили к широкой и закрученной шоссейной развязке. Она, пустая и мертвящая, была врезана в пространство районного парка. Тайным ходом на неосвоенные территории за всем этим бетоном служил подземный переход. Бодрый, сияющий здоровьем Вольфганг бросался то туда, то сюда, поднимал ногу у фонарных столбов и припаркованных машин. Когда миссис Сагден засмотрелась на чьи-то ирисы за изгородью, на проезжей части вдруг резко перестроилась легковушка и с визгом остановилась у тротуара на встречной полосе. Сейчас выскочит из машины? Водитель был восточной внешности, с квадратным и непроницаемым лицом. Он здесь живет,

просто-напросто парковался и забыл включить поворотник. Миссис Сагден, глядя в асфальт, направилась к подземному переходу. Над входом кроваво-красной краской был неряшливо начертан благодушный лозунг «Мясо — это убийство». Большинство граффити на стенах малевал явно какой-то педант, обвел все надписи белым распылителем. Теперь все имена — Джулия, Лоис, Шерон — и пронзенные сердечки оказались в аккуратных рамках, к которым без орфографических ошибок было приписано «проститутка», «эксгибиционистка», «ненавижу тебя» и т. д. Этому блюстителю нравственности миссис Сагден поставила бы «4» за почерк и «5» за грамотность. Она вообразила, как он приходит сюда в белом дождевике-стекляшке, под цвет краски, уставясь из-под очков в металлической оправе куда-то поверх мысков своих начищенных до блеска ботинок. Миссис Сагден подумала, что тот, кого она опасается, вполне может быть таким. Судя по буквам, рука твердая, намерения яснее некуда. Любит, видимо, молодых и хорошеньких, да вот со своей только что поссорился. Никто не поручился бы, что он не заметит полноватую фигуру в шерстяной шапочке, лохматую и полуседую, с трудом бредущую по лужам.

Кто знает. Однажды вечером она устроилась на диване, рядом недовольно пыхтел Вольфганг, а по телевизору шла целая передача на эту тему. Показали разговор с осужденным молодым насильником. Лицо его было затемнено, говорил силуэт на ровном бирюзовом фоне. Рассказал среди прочего, что всегда выбирал женщин отталкивающей внешности или по крайней мере некрасивых. Вдруг он прикрыл рот рукой и прибавил: надеюсь, никто из них эту передачу не смотрит, а то еще обидятся… Объяснил, что поступал так из чувства неполноценности, из желания доминировать. Сейчас проходит интенсивное лечение в группе. Все эти приличные слова так легко слетали с его уст, будто его вызвали отвечать к доске. «Хорошеньких-то я побаиваюсь, — говорил он, — из-за страха, может, и отступил бы». Миссис Сагден слушала эти слова, шедшие из этой черной дыры на экране, и знала, что этот приятный молодой голос — да, это голос *того* человека, это *его* она слушает. Он был похож на мальчишек, ее школьников, которые спустя годы приходят в школу похвастаться, как устроились в жизни. В те давние времена мальчишки ее как учителя любили. И они ей тоже нравились. Нагловатый юнец-рабочий

— любитель посвистеть со строительных лесов девушкам, студент на педпрактике, благодарный за хорошие наставления. Изменился мир, изменилась и миссис Сагден.

* * *

У дальнего выхода, на лестнице к свету, ей встретился мужчина. Шел быстро, был смугл и высок, нахмурен. Под низко опущенной шерстяной шапкой виднелись впалые щеки с мощной щетиной. Военного покроя куртка, линялые джинсы, грязные кроссовки. И снова взор миссис Сагден заволокло пеленой тревоги. Она шла дальше наверх, мимо него. Он был насторожен, смотрел в другую сторону, точно сам так же занервничал. Может быть, просто вел себя как все англичане: зачем лезть в чужую жизнь? Но ведь были же времена, когда люди на улице просто так здоровались, обменивались парой дежурных фраз, хотя бы в знак нейтралитета. Конечно были. А вот сейчас… Она — боялась его спровоцировать, он — что она неправильно поймет. А может, он просто не в духе или вообще толком ее не заметил.

Раньше, когда страхи еще не окрепли, миссис Сагден заставляла себя отвлекаться, думать о чем-

то другом. Обещала себе маленькие радости. Если я по пути на пруды дойду до тех вон кустов и ни разу о нем не подумаю, то, значит, придет письмо от Джеймса. Или, пожалуй, куплю себе шоколадный эклерик. Так по-детски себя уговаривать она давно перестала. Все равно ни эклера, ни письма она особенно не хотела и не ждала, а ждала она только вечера, чтобы лечь спать. Уговоры эти вылились в настоящую битву в сознании миссис Сагден. До тех кустов она так и не доходила, резко разворачивалась, с тревогой клича Вольфганга, и отчаянным шагом направлялась в сторону дома — с мечущимся взглядом и пылающим сердцем. Нет, нет, страхи надо встречать честно. Выходить в *его* мир можно, если ты способна анализировать свой страх и если знаешь, кто это может быть и что́ может произойти.

* * *

Вот показались уже ближние деревца рощи — серебристые березы и лещины с их сережками. Почти как за городом, разве что не смолкая гудит шоссе по ту сторону тишины. Продвигаясь вдоль дороги к роще, миссис Сагден спрашивала себя, всегда ли было так. Раньше тоже случалось насилие над девочками, а пожилых женщин настигал

удар по голове и лилась их нежаркая кровь? Или раньше было как-то иначе и меньше, чем сейчас? Во всяком случае, в наши дни об этом приходится больше думать, отвечала она себе. Если даже и не насилуют сейчас больше прежнего, то деяния эти разрастаются оттого, что о них больше думают и чаще вспоминают. Похоже, что так. Да, мы стали цивилизованнее — такие вопросы обсуждаются открыто, потерпевших никто не винит, наоборот, им легче найти утешение. Но от всего этого, рассуждала миссис Сагден, мне только страшнее. Нарастает не только страх, но и то, что *он* чувствует. Им обоим знакома эта завороженность при виде человека в капюшоне, оцепенение от беспомощности, брошенности. Она знала, что он, тот, видит по телевизору и в кино всякие бесчинства, о которых в противном случае, может быть, и не помыслил бы. Вот и она, глядя по ночам на экран, возвращается в мыслях к сценкам, ранее невообразимым. А к вообразимым и того чаще. Все это будто разлито в воздухе.

Одно было ясно — думы о нем, об их возможной встрече питались страхом. Ей хотелось бы, чтобы это было ясно не ей одной. Простой и беспримесный страх, без всяких там вытесненных желаний. Возможно, он этого и не знал, хотя ей казалось,

что он жаждал бы прежде всего ее страха. Даже будь у нее скрываемые от себя самой желания, он бы отнесся к ним с отвращением, он сам бы захотел ее за такие мысли наказать. Как-то она включила по телевизору популярную комедию: падение Рима или там Джайпура, средних лет дамочки сидят и вопрошают, когда же придут варвары и начнутся грабежи и насилие. Сразу выключила. Нет, желание тут ни при чем. Ее желание умерло намного раньше, чем не стало Брайана. Он умер во сне. Они спали рядом, и вдруг его рука в последней судороге нечаянно упала ей на грудь. Она помнила, что когда-то хотела его, а еще раньше ее охватывал трепет нетерпения от тяги к мужчине, мужчинам. Теперь-то она была как вчерашний молочный пудинг — остывший, неприятный. В доме без Брайана стало так тихо — и хорошо, что тихо, — хотя и одиноко. Он совсем недолго побыл на пенсии, и время это проходило в маете и беспорядке, в каждодневной борьбе характеров, борьбе за пространство стола, а то и жизненное пространство. Конечно, ей было очень жаль Брайана. Нет больше его интересов, надежд, любимой еды. Некому высказываться о Маргарет Тэтчер и любить георгины. Но что касается ее самой, то, скажем так, ее все более

или менее устраивало.

Нет, к желаниям это никак не относилось. Так размышляла миссис Сагден, минуя привычную рощицу в направлении пруда, рябоватого от ветра. Тут гулял старик с толстой терьершей, две по-спортивному изящные девушки с далматинцем да стайка мальчишек, которые сбежали с уроков и сгрудились, слегка сутулясь, покурить. У пруда он не осмелится, это точно. Место открытое, народу слишком много. Тут даже можно иногда попросить какого-нибудь собачника в твидовом пиджаке бросить в пруд палочку для Вольфганга. Ей самой в этом году бросать палки уже стало трудно, артрит крепчает. А Вольфганг в расцвете сил, ему поплавать в пруду, побарахтаться в упругой воде — лучше не придумаешь. Без купания он так хорошо не выгуливается. Она подошла к мальчишкам: «Не бросите ли палочку для собаки? Мне это уже трудно». Детвора молниеносно переглянулась: помочь или повыпендриваться? Подшутим над кошелкой или в этот раз вредничать не надо? Ребята были пока маленькие, тихие. Наверно, уже издевались понемножку над кем помладше. А может, и сами чего боялись. «А чего ж не помочь? Сейчас бросим», — фамильярно отозвался один. И запустил Вольфгангову

палку со всей силы в воду. Пес рванул туда. Сначала несся огромными прыжками, рывком рассек почти спокойную гладь, а когда дно ушло — резво поплыл к цели, подруливая пушистым белым хвостом, сиявшим из полупрозрачного прудового сумрака. Повернув обратно, хлебнул воды и с каждым движением громко фыркал. Мальчишки взялись развлекать его еще и еще, а он только и рад бросаться в воду. Чуть дальше купалась пара канадских казарок, которых на этом пруду прежде не видели. Хорошенькие они, подумала миссис Сагден, оглядывая птиц, их бочковидные туловища, расписанные волнистыми серыми полосами, крепкие черные шеи. Самец, издавая гортанный гогот, подталкивал самку, заигрывал. Раньше миссис Сагден заговорила бы с мальчишками о красоте этих птиц, но теперь промолчала. Некоторые из них, хоть и не все, меж собой ерничали и говорили гадости. Один такой мальчишка не осмелился бы обижать более-менее рослую миссис Сагден, тем более что она с собакой. Но если вся свора сразу — очень даже. Особенно если станут друг друга «на слабо» подначивать.

Что за народ мальчишки, миссис Сагден знала хорошо. Она знала, что и они кое-что знают, многое видят по телевизору, даже и такое, чего она

сама вовсе не видела и не хотела видеть. У мужчин — фантазии, у женщин — только любовь, хотя любовь — это особый вид фантазии, так она считала. Быть может, лет тридцать-сорок назад у нее учились отцы этих ребят. Они не знали того, что эти знают сейчас. В темные ледяные дни она непослушными пальцами заправляла им рубашки, застегивала их маленькие тугие ширинки на пуговицах, как бы прикасаясь к их невинности, и отпускала побегать: «Только не запачкайтесь!» В просторных уличных уборных, зимой насквозь продувавшихся, было холодно до умопомрачения. Их детские конечности синели от холода и были мягкие как воск. Они не знали всякого такого, как нынешние. Сам холодный воздух был другим. Тогда тоже были причины для страха, но она сама знала слишком мало и не настораживалась на каждом шагу.

В те дни, во-первых, шла война, а во-вторых, за тяжкие преступления полагалась смертная казнь. И вот теперь, стоя тут и безжизненно глядя на играющих с ее собакой мальчишек, она говорила воображаемому мужчине, что, если помнить о повешении, легче понять, что страх никак не связан с желаниями. Поймет он это или нет или придется объяснять, зависело от его

возраста. Казнь через повешение в годы войны пугала ее даже сильнее и неодолимее, чем Гитлер. Может, было это от недостатка воображения? Во время войны она верила Черчиллю — Великобритания победит, и всё. А вот камера смертника, мешок на голову, петля на шею… Никто не был от этого застрахован. Знаешь, говорила она ему, мне много раз снилось, что меня должны повесить по ошибке, ни за что; снилось, что мне связывают руки и тащат туда с повязкой на глазах. Веяло абсолютным злом, причиняемым одними людьми другим, об этом писали в газетах, это было в страшных детективах, — зло, разлитое в воздухе. Теперь палач и убийца — это ты. Тот, у кого сила, — жуток. Убийца в камере смертника становился жертвой. Теперь этому положили конец, нет больше эшафота. Теперь жертвами являются лишь женщины и дети в запертых автомобилях, возле свалок и на нехороших окраинах, в кустах у пустырей… Я хочу сказать, что бывает и простой страх, с вожделением никак не связанный. И этот мой страх тебе не увидеть и не понять.

Вольфганг наплавался, и они отправились в рощицу. Пес лизал грязную землю и копался в прошлогодней листве. Почва, поросшая губчатым мохом, под ногами слегка проседала и сочилась

влагой. На поверхности появлялась темная, как кровь, торфяная вода. Поднявшись, она окружала ярко-зеленые мшаные островки. Здесь всегда обнаруживалось что-нибудь необычное. Вольфганг как-то раз откопал розовую туфлю с высоким каблуком. А сама миссис Сагден чуть не наступила на огромные темно-синие с белым кантом трусы, набухшие от сырости и лишь слегка погруженные в воду. На вид — почти новые. Она обошла их стороной. Ее как будто током дернуло — даже не током, а резко так перехватило дыхание, на долю секунды замерли легкие, и в голове без кислорода похолодело.

Она могла себе представить — вот от внезапности испуга ты цепенеешь и ничего не можешь сделать. Предчувствовала: спазматическая судорога, потом несколько диких ударов сердца и тут же — безвольный покой. Когда думаешь, как это будет, легче преодолеть страх. Она воображала кого-то с пятидневной щетиной, неприятно пахнущего. Как он чуть-чуть сторонится, когда подбегает Вольфганг, скалясь от любопытства. Представляла себе кого-то молодого и мускулистого, не робкого десятка. Вот он убирает нож от ее горла, чтобы с ухмылкой отбиться от Вольфганга. Да и прыгнет он или нет, тоже еще не известно,

честно говоря. Это был сварливый пес, кусался просто так, для забавы, не защищая. Когда был маленький, часто кусал других собак. Лез всегда к вялым и медлительным псинам покрупнее, которые не убегут и самого не тяпнут. Приходилось оттаскивать. Его глаза наливались кровью, белки становились алыми, как цветущий мак. Такой цвет миссис Сагден видела по телевизору на прошлой неделе — был репортаж из больницы, и показывали одну пенсионерку с отекшими веками, жертву уличного ограбления. Запомнилась каждая черточка, подробность: все морщинки землисто-лилового лица, жидкие седые с желтизной волосы, темные неснятые швы поперек брови и щеки, бледно-голубая шаль, но особенно — эти ярко-красные белки глаз.

За рощицей пролегала прямая дорожка. Часть ее была покрыта где битумом, где асфальтом, а дальше ровное покрытие заканчивалось и от него оставались лишь проступавшие из песка островки. По краю асфальта неторопливо бежала, можно даже сказать — гарцевала, кремового цвета лабрадорша. Это была собака-поводырь. Вольфганг ее знал и часто к ней лез. О чем миссис Сагден, конечно, помнила. Собака-поводырь сейчас наслаждалась недолгой пробежкой без

поводка. Ее высокая хозяйка и одновременно подопечная, одетая в аккуратную твидовую двойку, шла прямо и уверенно по той же дорожке. Она не поворачивала головы ни налево, ни направо, ее глаза смотрели только вперед. Над воротником светился безупречный узел седых волос с металлическим отливом. В одной руке она несла поводок-шлейку, в другой сумочку. Двигалась вперед ровными, не слишком быстрыми шагами. На ногах у нее были практичные туфельки на шнурках. Миссис Сагден разговаривала с этой женщиной только однажды, когда за ними увязался Вольфганг, лез к лабрадорше и мешал хозяйке надеть на поводыря шлейку. Миссис Сагден тогда извинялась, а слепая сказала, что Элси полезно общаться с другими собаками и что все в порядке. По ее голосу и этим кратким репликам миссис Сагден поняла, что перед ней человек культурный. Женщина хотела погладить Вольфганга, но миссис Сагден отсоветовала: характер у собаки неровный. Новой знакомой стало интересно, как он выглядит. Миссис Сагден стала с удовольствием рассказывать про его белый с черными пятнами окрас, озорные глазки, здоровый блеск шерсти. Добавила, что Элси, наверно, очень умная и хорошо дрессирована.

Хозяйка ответила, что Элси слишком уж серьезная, все время настороже, никогда не заставишь ее побегать и поиграть. Повторила, что поэтому и хорошо, что встречаются другие собаки. Увы, она не могла видеть роскошный воротник Вольфганга и его улыбку, когда у него с одной стороны морды приподнималась щека и щеголевато показывались зубки.

Миссис Сагден решила не идти на эту дорожку и осталась в тени деревьев, чтобы Вольфганг не досаждал ни поводырю, ни хозяйке. Лучше так, чем потом опять извиняться. Они с Вольфгангом пошли рядом, но на расстоянии и чуть позади. Наблюдали, размышляли.

* * *

За слепой женщиной кое-кто шел. Причем не впервые — даже миссис Сагден уже видела этого человека минимум дважды, и тогда он шел за ней же. Во внешности и поведении этого человека даже в те разы проглядывало что-то слегка и неуловимо неправильное. Он шел как-то слишком осторожно, совершал подчеркнуто крадущиеся движения, так что можно подумать, будто хозяйка Элси на ходу играет с ним в игру «море волнуется раз» и сейчас водит. Это был

очень высокий, худой и довольно нескладный юноша или молодой мужчина. Длинноволосый кудрявый блондин. Одет в ярко-голубой спортивный костюм с белым кантом, на ногах — довольно дурацкого вида кроссовки с девчачьими розовыми шнурками и пастельными радужными полосками. Все его движения и жесты были какие-то карикатурные: он не просто вслушивался в крик сойки, он прикладывал ладонь к уху, а то вдруг останавливался у какой-нибудь маленькой ивы, складывал руки на груди, расставлял ноги шире плеч и делал вид, что разглядывает деревце. Миссис Сагден еще и раньше замечала, что он никогда не обгоняет слепую, но следует строго за ней, то почти крадучись, то трусцой. Сегодня, однако, он вел себя иначе. Он напоминал мальчика-марионетку Энди-Пэнди из детской передачи на Би-би-си и явно был настроен покривляться. Как чокнутый лепрекон, он бегом описывал огромные круги вокруг женщины с лабрадором и при этом очень высоко поднимал колени и оттягивал носки к земле. То безвольно наклонялся, точно лишаясь сил, то распрямлялся, как пружина. Ох уж эти кривлянья и ломанья, подумала миссис Сагден. Она почти не видела его лица, но все же он, казалось, улыбался. Еще этот человек

экзальтированно жестикулировал: раскидывал руки, словно готовился обнять кого-то, или перебирал ими, взбираясь по невидимому канату. Слепая наверняка слышала его шаги, но никак не реагировала. Она продолжала идти вперед — упорно и равномерно, как метроном. Собака шла рядом, обозначая край ровного асфальта. Миссис Сагден и дальше бы спокойно наблюдала, продолжая идти за высокой травой и вересковыми кустами, но вдруг заметила, что долговязый незнакомец сужает круги. И когда выбегает на солнце, видно, что в кисти марионеточной руки будто бы сжато нечто блестящее.

* * *

Ее мысли сейчас напоминали то суеверное самовнушение, когда она обещала себе письмо от Джеймса или шоколадный эклер. Она подумала, что вместе — безопаснее. Если сейчас не подойти, то и меня никто не выручит, когда надо будет. Сама — неуклюжая старушенция, но все-таки с собакой. И свисток есть. Удивительно, сколько мыслей. Было слышно, как бьется сердце, но его глухой стук раздавался ровно и деловито, без спотыканий. Она скомандовала Вольфгангу: «Гулять!» — и тот молнией припустил к Элси. В эту

минуту юноша-дергунчик шел уже почти рядом со слепой женщиной, заглядывая ей в лицо.

Миссис Сагден поздоровалась с хозяйкой Элси:

— Мы здесь однажды встречались; может быть, вы и не помните, я вам про мою собаку рассказывала. Про черно-белого бордер-колли. Кажется, ему нравится играть с вашей собакой.

— Да-да, помню, — ответил прохладный голос как бы издалека и из темноты, — ваш колли здесь?

Острый нос Вольфганга уже глубоко погрузился под хвост Элси.

— Здесь, вон, нюхаются.

— Она кобелей стесняется немного. Когда Элси на работе, ей с ними общаться не положено.

— Можно мне пройтись вместе с вами? Нам вроде бы по пути.

А он сейчас двигался в прогулочном темпе позади них, на некотором расстоянии. Женщины шли плечом к плечу, он не отставал. Собаки совершенно увлеклись взаимным обнюхиванием.

— Я пойду до конца дорожки. Пожалуйста, скажите мне, когда она закончится. Дальше я не хожу.

— Хорошо.

И они продолжили прогулку вместе. Темп зада-

вала слепая, и шли весьма ходко. Миссис Сагден начала разговор и сперва рассказала о себе:

— Меня зовут Марджери Сагден. Я сейчас на пенсии, раньше была учительницей в школе.

— А я Элеонора Тиллотсон. Тоже на пенсии, а работала в социальном обеспечении.

Незваный спутник все не исчезал. Интересно, мисс или миссис Тиллотсон вообще знает, что он там? Причем даже не первый раз, да и ведет себя весьма странно. Миссис Сагден продолжала рассказывать. Собаки. Вот они так мило бегут вместе по этой дорожке. У лабрадора очень приятный цвет.

— Как пенка на капучино, — отозвалась мисс Тиллотсон.

— Оттенок все-таки более кремовый, — резонно заметила миссис Сагден, — погуще, ближе к сливочному маслу.

Если уж описывать для миссис Тиллотсон то, что видишь, то как можно точнее.

— Вот, до конца дорожки уже недалеко. Я пройдусь с вами обратно?

— Что вы, я и сама дойду.

— Но все-таки не возражаете? Я рада, что встретила вас.

— Совсем не возражаю, пройдемся. На пенсии

каждый день такой длинный… Иногда с утра до вечера ни с кем, кроме Элси, и словом не обмолвишься. Когда я работала, все, конечно, было по-другому. Я много ездила, много общалась с людьми, бывала в разных домах, что-то у них спрашивала, узнавала. Люблю, когда много дел.

— Вот и у меня так же. Время сейчас летит так быстро, только летит в никуда, оно ничем не наполнено и ни к чему не устремлено.

— Вы хоть о здоровье заботитесь. И о Вольфганге. Это заметно.

* * *

Словно край волнореза в морской бухте, вдали внезапно показался конец асфальтовой дорожки. Миссис Сагден думала о слепой женщине и поражалась ее бесстрашию. Та уверенно шла вперед твердой походкой, словно прокладывая безопасный путь между водоворотами и незримыми пропастями жути куда более безразмерной, чем мелкие боязни миссис Сагден. Возможно, он продолжит их преследовать, когда они вместе пойдут обратно. Возможно. Если не продолжит, то все понятно. Но он вдруг заговорил:

— Извините, кто-нибудь знает, сколько времени?

Они повернулись. Незнакомец стоял прямо перед ними, заслоняя обратный путь. На лбу сбились золотистые кудри — мокроватые от пота или слегка немытые. Во всех его чертах, как до того в жестах, проглядывала некая нарочитость. Рот — очень большой, но при этом не дряблый, аккуратный, выразительный, с рельефными изгибами, точно корпус виолончели. Нос — заложенный и оттого гнусавый — с темными отверстиями фигурных ноздрей. Лицо массивной лепки, но как бы скругленное. Широкие скулы, заметные надбровья, выступающий раздвоенный подбородок. Большие светло-голубые глаза, густые ресницы. Мисс Тиллотсон, конечно, ничего этого не видела. Не знала даже, негр это или белый. Только рост можно определить более или менее четко — по голосу. Однако она ответила ему, который час, четко и ясно:

— Без тринадцати минут три.

Миссис Сагден увидела, что время она узнает, трогая кончиками пальцев циферблат больших наручных часов без стеклышка.

— Спасибо. Значит, мне пора обратно. Собачка у вас что надо, я тут посмотрел, как вы гуляете.

— Я знаю.

— Она хорошо вам помогает.

— Это верно, — ответила мисс Тиллотсон и улыбнулась, — она очень ответственная, серьезная, даже слишком. Никогда не убегает и даже не отходит поиграть.

— Но наверняка задаст перца любому, кто попытается вас обидеть, да?

— Не знаю, она обучена на поводыря, то есть ведет меня, куда идти можно, и не пускает, куда не надо. Она добрая.

По мнению миссис Сагден, сообщать все эти подробности незнакомцу было неосторожно. Она вступила в разговор:

— А вот мой Вольфганг совсем другой. Очень неуравновешенный. Но для его породы это нормально, как мне говорили.

Он улыбнулся ей всем лицом, как будто читал ее мысли. Миссис Сагден взяла мисс Тиллотсон под локоть, чтобы обеим было спокойнее. Та не привыкла к прикосновениям и поначалу напряглась, но лишь на секунду и отстраняться не стала. Молодой человек шагнул в сторону и зашагал с другого бока мисс Тиллотсон.

Миссис Сагден, подталкиваемая своими страхами, в общем-то, и раньше хотела с ней заговорить, и теперь формальности этикета остались позади, разговор шел сам собой. *Его* навязчивость

раздражала миссис Сагден, и удивительно, как точно это раздражение совпало с неприязнью к его циркачествам и блестящему предмету в руке.

— Я часто вас здесь вижу, вы всегда ходите по этой дорожке, — сказал он.

— Да, здесь ровно, я могу идти сама и отпустить Элси побегать.

— Ах да, конечно. Вы тут каждый день?

— Да, собаке нужно побольше двигаться.

— Отлично. Просто отлично!

— А вы? Тренируетесь? Я слышу, вы то подскочите, то присядете.

— Да, стараюсь быть в форме. Я вообще безработный. Ну, пока что. Вот, нашел занятие.

— Безработный? Сочувствую.

— Не стоит. Я бы с ума сошел в магазине или офисе. Мне и так неплохо, гуляю то здесь, то там. Так свободно тут на воздухе… Меня в жизни привлекала только одна профессия.

— Какая же?

— Я хотел стать летчиком. Летать высоко в небе. Я всегда любил самолеты, с самого детства. Но в летчики меня не взяли.

— Жаль, а почему?

— Да много чего. Медкомиссию не прошел. Ничего серьезного, просто не взяли. Ну может,

потом возьмут. Я одно время был в учебном авиакорпусе, мне нравилось. Посмотрим еще, может, своего добьюсь.

Возникла пауза. Мисс Тиллотсон двинулась вперед, миссис Сагден мелкими шажками поспевала рядом, поддерживая спутницу под локоть. По другую сторону пристроился он, бежал самой медленной трусцой со скоростью их ходьбы, высоко поднимая от земли ноги. Бежал боком, как краб, не сводил глаз с мисс Тиллотсон.

Миссис Сагден говорила об Элси. При безработном молодом человеке ей неловко было рассказывать, что ей нечем заняться. Увязался этот бегун, и, как бы ни было интересно, теперь уже неловко расспрашивать мисс Тиллотсон о том, как она обходится с простыми повседневными делами: с готовкой, транспортом… Было очень любопытно, а главное — она чувствовала, что та не станет отмалчиваться. Еще очень хотелось разузнать, боится ли мисс Тиллотсон чего-то, а если не боится, то почему и как вообще может так быть. А пока она узнала, что Элси в день полагается фунт свежего мяса, чуть-чуть сухого корма из отрубей и непременно два часа активной прогулки, не считая выходов в магазин. Миссис Сагден стала жаловаться, что у нее уже не

то здоровье, чтобы за ним, Вольфгангом, таким резвым, поспевать. Но ей так хорошо с ним. Ну и ощущение хоть какой-то охраны, хотя про это она вслух не сказала. О чувстве безопасности сказал новый знакомый:

— Скажите, а вам не страшно одной? Столько всего творится вокруг… Вы не боитесь?

— С Вольфгангом не страшно, — ответила миссис Сагден с большой неохотой, будто тем самым выносила приговор своей прекрасной собаке. Воображение мгновенно нарисовало, как нож с хрустом входит бедному псу под грудину.

— В моем случае, — заговорила мисс Тиллотсон, — вполне естественно опасаться всего подряд. В каком-то смысле действительно: что ни возьми — все опасно. Поэтому, кажется, жить можно, только если вообще ни о чем таком не думать. Вот я и не думаю. Если бы я все время беспокоилась, то и сделать ничего не могла бы. Пришлось бы просто жить на меньшей территории, в более узких границах. Ограничить мою жизнь я всегда успею. А пока лучше пройдусь на свежем воздухе. Вот и гуляем, да, Элси?

— Уважаю. Вы молодчина! — произнес с показным восхищением, чуть ли не пропел незнакомец.

— Ну, это громко сказано, просто стараюсь как-то жить, хоть я и незрячая.

Миссис Сагден тем временем размышляла, что произойдет на том конце дорожки, когда надо будет расставаться. Видимо, лучше на всякий случай проводить мисс Тиллотсон до дому. И притом так хочется скорее к себе, в свои четыре стены. Еще думала, что парень, кажется, дразнит их, улыбаясь и что-то утаивая. Ее голос вдруг зазвучал теплее и с большей прямотой, чем если бы не возникшее тревожное обстоятельство.

— Хорошо, что я подошла к вам, с вами очень приятно общаться. Собаки, по-моему, тоже довольны. Наверно, можно еще пройтись?

— Может быть, зайдете ко мне на чай, если не торопитесь? — предложила мисс Тиллотсон.

— С удовольствием.

— Хорошо. Я живу тут недалеко, рядом с парком, в одном из домов в комплексе «Бельвью». Только по переходу пройти.

Молодой человек был сейчас немного поодаль, медленно бежал по слегка возвышавшейся дорожке, широко расставив руки по диагонали и раскачиваясь из стороны в сторону. Прямо человек-самолет какой-то. Даже шум дыхания, слетавшего с его огромных губ, напоминал гуде-

ние авиационных двигателей. Когда заговорили о чае, миссис Сагден хотела было предупредить свою спутницу каким-нибудь быстрым и доходчивым «Тсс!», но было уже поздно: бегун снова очутился рядом и сказал:

— Пройдусь еще с вами. Мало ли что.

— Не беспокойтесь, со мной пойдет миссис Сагден. Я пригласила ее на чай.

— А можно и мне с вами?

— Вы вроде бы говорили, что вам надо куда-то возвращаться, — вмешалась миссис Сагден, — когда время спрашивали.

— А куда возвращаться-то? Мне идти некуда.

— Конечно, присоединяйтесь к нам, если хотите, — разрешила мисс Тиллотсон.

— Да, присоединюсь, пожалуй. А как я буду рад, вы даже не представляете.

Это уже было слишком.

* * *

Когда зашли в подъезд, миссис Сагден удивилась, как ловко ее новая знакомая управляется с лифтом. Нажимает кнопку вызова, открывает наружную дверь и дверь кабины, потом закрывает, все вручную и все без колебаний, хотя в лифте впятером было тесновато: три пары ног, восемь

лап, огромные колени этого человека, который не стоит спокойно, как все, а качает размашистыми плечами.

Удивление ждало миссис Сагден и в квартире. Она была обставлена со вкусом: стулья, обитые оранжево-красным бархатом, светильники из китайских ваз; на темном персидском ковре со светло-бежевыми собачьими шерстинками — журнальные столики со стеклянным верхом. В прихожей и над камином в гостиной красуются зеркала. На стенах картины и репродукции: китайский рисунок тушью со скалой и водопадом, веласкесовские «Менины» — многофигурный портрет инфанты, придворных фрейлин и карликов, собравшихся у мольберта художника, который пишет портрет королевской четы.

В больших чашах стоят весенние цветы и пахучий жасмин.

Сейчас, уже сильно за полдень, в квартире сгущались сумерки. Мисс Тиллотсон включила свет и указала гостям на стулья. Интересно, включает ли хозяйка свет, когда она здесь одна. Хотя, может быть, для Элси?

На небольшом бюро стояли несколько фотографий в серебристых рамках.

— Это ваша семья?

— Да. Мужчина в парике — мой брат Клайв, он адвокат. Две девушки в мантиях — мои племянницы, они тогда только-только защитили диплом. Малыша зовут Морис, он мне внучатый племянник. А в том доме я выросла, это наше семейное гнездо в Сомерсете. Элси на снимке так похожа на себя теперешнюю, правда?

Молодой человек смотрел на фотографии из-за спины миссис Сагден. От его горячего дыхания лица адвоката и выпускниц слегка туманились.

— Фотография Элси недавняя, да?

— Нет-нет, представьте себе, Элси почти десять лет. А выглядит как совсем молодая собака. Сейчас налью ей и вашему Вольфгангу водички, а нам чай заварю. Будете китайский, индийский или «Эрл Грей», миссис Сагден? И… Кажется, вы не представились…

— Барри. Зовите меня Барри. Буду вот что вы последнее сказали, «Эрл Грей» буду. И два кусочка сахара, пожалуйста.

Миссис Сагден спросила, нужна ли помощь на кухне. Но настаивать не могла: не хотела показаться невежливой, потому что навязываться со своей помощью означало сомневаться в бесспорной самостоятельности мисс Тиллотсон. Поэтому села, где предложили, и стала наблюдать

за Барри. Тот в своих несусветных кроссовках бесцельно перемещался по комнате, среди уютной мебели.

Слепота мисс Тиллотсон странно действовала на миссис Сагден: ей стало казаться, что она сама вроде невидимки. Мисс Тиллотсон время от времени оборачивала к ней свое вежливое, не выражающее никаких чувств лицо: их глаза почти встречались, но именно что только почти, линия невидящего взгляда проходила где-то у виска или щеки миссис Сагден и упиралась в пустую стену. Тогда миссис Сагден быстро вспоминала, что третий присутствующий ее прекрасно видит, и срочно сгоняла с лица смущение и беспокойство. А он в это время трогал всякие предметы в комнате. Приподнимал, рассматривал, ставил на место чернильницу, лакированную шкатулочку, пресс-папье. Хозяйка ушла на кухню.

— Неплохие тут штучки, да? Ценные, небось, — начал он.

— Это мне не известно. Но приятные, да. С большим вкусом.

— Кто-то ей помогает, наверно, — сказал он, как ей показалось, жестко. — Не сама же она подбирает цвет штор к этим стульям? Помогают, помогают. Вон, брат с фотки и жена эта его, они

и помогают, ага. Вообще здорово она тут управляется, а? И руками ни разу не шарит, не путает ничего. Ну дает вообще! Обалдеть.

— Да уж, — более резко отозвалась миссис Сагден.

Мисс Тиллотсон вернулась в комнату с чайным подносом, который очень аккуратно поставила на низенький журнальный столик со стеклянным верхом. На подносе стоял большой серебряный заварочный чайник и очень изящные чашки. «Краун Дерби»,[61] не иначе, подумала миссис Сагден. На внутренней поверхности чашек темнел стойкий чайный налет. Сам поднос был китайский, декорированный черной нитроэмалью. На нем отчетливо виднелись следы от посудной губки. Чай гостям наливала мисс Тиллотсон.

— Барри, будьте добры, передайте эту чашку миссис Сагден. Спасибо. А это вам, с двумя ложками сахара. Вот печенье. Пожалуйста, угощайтесь.

После этого она вопросительно обратила на Барри свои невидящие глаза и попросила гостя рассказать о себе поподробнее. По ее словам, она,

---

[61] Примечания: 61

"Ройял Краун Дерби" — один из старейших английских производителей фарфора, известный особенно высоким качеством изделий. История фирмы насчитывает более 250 лет.

возможно, смогла бы чем-то помочь, когда-то у нее было много знакомых работодателей. К радости миссис Сагден, она не могла видеть, какая презрительная — так миссис Сагден ее определила — ухмылка нарисовалась на лице Барри.

— Да вряд ли. Нужен я им. Да и мне что они предложат, зачем? Скукота. Упаковщиком я работать не буду, катать тележки в супермаркете тоже, госпрограмма обучения молодежи — еще хуже, фигня это все.

— Но сидеть без работы вы тоже, наверно, не хотите.

— Да не знаю я. На воздухе вот много гуляю, есть время подумать… Попить чаю в хорошей компании.

Собаки важно переместились из кухни в комнату. Элси подошла к мисс Тиллотсон и спокойно уселась, прислонясь к ее колену. Вольфганг стал рассеянно бродить по комнате, обследуя углы. Барри отломил половинку печенья и протянул ему.

— На-на-на, иди сюда. Хороший пес! Как там его зовут?

— Вольфганг.

— О, забавно как. Сурово.

— Это немецкое имя, так звали Моцарта. Не

знаю, почему я его так назвала. Вообще-то, печенье он не ест.

— Хм, да?

Вольфганг тем временем осторожно подошел и взял угощение.

— А вот и ест. Просто вы его не балуете. Хороший пес, старина Вольфганг!

— Элси всегда кто-нибудь предлагает печенье, если я не слежу, — сказала мисс Тиллотсон, — но ей нельзя, растолстеет. Барри, не давайте ей, ладно?

— Конечно нет, что вы! — отозвался он, глядя на Вольфганга. Тот подбирал с ковра последние крошки.

* * *

Чаепитие вышло долгое. Говорили в основном Барри и мисс Тиллотсон. Он много спрашивал, причем спрашивал прямо. Миссис Сагден на такие вопросы бы не отважилась. Оказалось, что мисс Тиллотсон ослепла в раннем детстве. Бóльшую часть жизни она работала с инвалидами, а училась в Лондонском университете на социолога и соцработника. У нее есть маленькое устройство со шрифтом Брайля, с помощью которого можно делать записи во время телефонных

разговоров. Живет она одна, до Элси у нее было еще три собаки, и смерть собаки или отставка по возрасту для нее всегда тяжелая травма.

— Привыкать к новой собаке — очень тяжело и страшно. Надо идти в специальный центр, мы гуляем по улицам с разными собаками. Некоторые останавливаются слишком рано или слишком далеко от парапета или вообще не пошевелятся даже, когда надо. Ну и много чего еще. Они нервные и чересчур осторожные, как и я сама. Когда я наконец беру собаку домой, нужно еще очень много времени, чтобы все пошло по-старому. А для меня, как вы понимаете, самое главное — чтобы все было привычно.

— Наверно, никого смелее вас я в жизни не встречал, — сказал Барри, наклонив голову набок и подергиваясь, как вдохновенный гитарист на сцене.

Мисс Тиллотсон ничего не ответила, лишь попросила у гостей чашки и унесла поднос. Можно было слышать ее шаги в прихожей, уверенные шаги по кухонному линолеуму, сопение крана и звук льющейся воды.

Барри подался вперед и заговорил с миссис Сагден:

— А что вот, если переставить тут что-нибудь

— стулья там, столы, чайник на кухне, а? Или коробки с печеньем. Она запутается, спорим? Вообще все перепутает.

— Никто так делать не будет.

— Да запросто, если, например, случайно. Легко. Вот подвиньте тот столик с телефоном для интереса.

Сразу несколько слов промелькнули в голове у миссис Сагден: «жестоко», «подло», «гадость», «идиотизм»... Но сказала она просто и по-учительски:

— Не надо такими глупостями заниматься.

— Да я и не собирался. Она классная. Я так, просто подумал.

Он взглянул на миссис Сагден:

— Вот на чай меня пригласила. Она добрая. Вы-то не пригласили бы.

Она не ответила. Тяжело билось сердце.

— Вы бы побоялись. Что ж, разумно. Вдруг я какой-нибудь маньяк, никто ж не знает. И ей откуда знать. Надо быть осторожной, как же.

И для большей убедительности он протянул руку Вольфгангу. Тот понюхал пальцы, дал почесать себя за ушком.

* * *

В этот момент миссис Сагден твердо решила, что уйти от мисс Тиллотсон, не забрав этого человека, нельзя. А это значит, что ей придется какое-то время оставаться с ним один на один. Получалось что-то вроде головоломки про лодочника с капустой, козой и волком. Она поднялась со стула и решительно объявила:

— Мисс Тиллотсон, мне, пожалуй, пора, Барри, наверно, тоже. Спасибо за гостеприимство. Мы пойдем. Да и у вас, видимо, есть дела.

Можно подумать, у нее самой были какие-то дела. Или у бездельника Барри. Или, в конце концов, у хозяйки. Мисс Тиллотсон тоже встала попрощаться с изяществом и некоторой отчужденностью:

— Очень рада, что вы зашли. Приходите еще. Пальто найдете?

Барри, развалясь как у себя дома, продолжал сидеть в бархатном кресле, у его ног на красивом домашнем ковре виднелась собачья шерсть и валялись крошки. В голосе миссис Сагден зазвучала учительская нота:

— Пойдемте, Барри, пора по домам.

Он в этот момент играл с пресс-папье: хлоп,

шлеп — перекладывал он его из руки в руку. Хорошо, что хозяйка не видит, думала миссис Сагден. Она чуть не сказала: «Положи сейчас же туда, откуда взял». А он будто прочитал эту мысль, потому что действительно положил. Ухмыльнувшись, с ленивым усилием поднялся на ноги.

— Хорошо, хорошо, иду я, — ответил он, словно школьник, подыгрывая ей.

Мисс Тиллотсон повторила, что будет рада увидеть их снова. Миссис Сагден сделала ответное приглашение, хотя от волнения у нее во рту пересохло.

— Спасибо огромное, я так удачно зашел, — попрощался Барри.

А что мисс Тиллотсон думала, что понимала и чего не понимала, миссис Сагден сейчас знать не могла.

* * *

На улице она взяла Вольфганга на поводок и повернулась к Барри. Как теперь действовать, она продумала заранее. Она спросит, куда он направится, а сама пойдет совсем в другую сторону, даже если придется сделать большой крюк.

— Вам куда, Барри?

— Я вон там живу. Уэстфилд-парк, в общем.

— А нам с Вольфгангом вон туда. Мы пойдем.

— Да-да, счастливо, идите. Рад знакомству. Люблю поболтать со старушками. С ними интересно.

Он стоял, нескладный, держа руки в карманах. В одном из них явно что-то было. Вдруг он вынул руки, в одной — огромный охотничий нож. С улыбкой он принялся перекидывать его из ладони в ладонь, как пресс-папье у мисс Тиллотсон.

— До свидания, — негромко и хрипло выговорила миссис Сагден, глядя на изгиб лезвия. Она еле держалась на ногах.

— Ну до свидания, еще увидимся. Я тут много гуляю, брожу туда-сюда. Уж вас-то точно найду.

Миссис Сагден повернулась, бессильно увлекая за собой Вольфганга. Барри стоял на тротуаре и с улыбкой поигрывал, посверкивал ножом.

— До скорого, — сказал он им вслед, и миссис Сагден прибавила шаг, — до скорого.

«В оправе пропасти...»[62]

Догадка — расправляет правде
крылья?
Примысленное к были — ста-
нет былью?...
Не просто «как-то», в точно-
сти вот так?!.[63]

Р. Браунинг

I

Женщина сидит и смотрит в широкое окно. Внизу — канал с его вонью, а если поднять взгляд, то над силуэтами домов громоздятся серо-стальные тучи и висит в прогале туч заходящее солнце. На вязкой поверхности канала извиваются длинные темно-зеленые косы водорослей; чиркают о воду резвые чайки, обретшие здесь приют от штормов Адриатики. Это приятно полноватая женщина в

---

[62] Примечания: 62
Перевод Д. Псурцева

[63] Примечания: 63
Из поэмы "Кольцо и книга".

нарядном шелковом капоте, на шее — нитка жемчуга, на голове — изящный кружевной чепец. О ней известно многое с высокой вероятностью. У нее тонкие, чуть расплывшиеся черты лица; маленький поджатый рот с опущенными уголками, изящный нос, двойной подбородочек; в глазах застыла печаль, во всем облике неуловимое разочарование. Все это мы знаем из портретов, их несколько, более или менее достоверных. Послеполуденные часы она провела в постели; здоровье ее слабое, но она мчится очертя голову на веселые званые обеды, пикники, прочие занимательные сборища. Теперь же она посиживает у окна, или предположим, что посиживает, любым осенним днем, в любой из тех нескольких лет последней четверти прошлого века… Ей несут преданную службу три гондольера, домашний мастеровой, повар, горничная и судомойка; есть и собственная экономка. Еще она имеет дочь, молодую, на выданье, и мужа, который загадочно болен и проживает в Париже, она не в разводе с ним, лишь в разъезде. Дочери сейчас нет дома, — возможно, дочь отправилась к друзьям на веселый ужин, и мать с порога просила вернуться и вручила свой новый зонт с рукоятью в резных изображениях бабочек и сверчков. Глаз и сердце

этой дамы лежат к хрупким, искусно исполненным изделиям, неспроста же говорили про нее, что она, пожалуй, променяет полотно Тинторетто на поставец с крошечными позолоченными бокальчиками. Она знает толк в моде: в этом сезоне украшают одежду чучелками колибри или других, более пугающих созданий — мышей, ящериц, жуков, мотыльков, — и вот она уже устраивает у себя бал, где каждый приглашенный обязан прицепить к платью вереницу птах или гирлянду бабочек на мантоньерку — «каков шик!». Комната, где она сидит, полна отделанных перламутром шкафчиков и поставцов, набитых под завязку разными затейливыми вещицами. Она — автор неопубликованной образцовой истории венецианской корабельной архитектуры. А также ряда ничем не примечательных стихотворений. Ни один из современников-сочинителей не вывел ее главным действующим лицом, зато на окраине повествования она возникает нередко, причем очерчена двумя-тремя резкими узнаваемыми штрихами. Она питает страсть к мопсам и пекинесам; и сейчас, в этот сумрачный день, у ног ее лежат в полном сборе, слегка похрапывают, как свойственно их породе: Фелиция, Тележка,

Хабиб, Фисба[64] (допустим, такие у них клички). Она питает страсть к мятно-шоколадным помадкам; интересно, собачкам они тоже нравятся или собачки едят их из послушания? В одном рассказе она и обозначена этими тремя признаками — приятно полноватая, повелевает мопсами, угощает гостей мятными помадками. Генри Джеймс[65] — так принято считать — подумывал, не сделать ли ее главной героиней задуманного, но так и не воплощенного романа, — не собирался ли он пустить при этом в ход и таинственного мужа, превратив его в один из мнимо второстепенных джеймсовских образов, смутно и томительно значимых, электризующих атмосферу? Это ее личность, как полагают, Джеймс врисовал в канву «Писем Асперна», отдав ей роль вспомогательно-техническую: тип богатой американки, приятельницы рассказчика, не образ даже, скорей двигатель повествования; то, что сам писатель называл *ficelle*, ниточка, экономно

---

[64] Примечания: 64

Пирам и *Фисба* — вавилонская пара, герои "Метаморфоз" Овидия, прообразы Ромео и Джульетты.

[65] Примечания: 65

Генри Джеймс (1843–1916) — американский писатель, проведший основную часть жизни в Европе, друг И. С. Тургенева, один из основоположников новейшего психологического реализма, письма с позиций героя.

связующая нас, читателей, с нужными людьми и бурным развитием событий. Она одолжила рассказчику свою гондолу. Она дама с большой душой. Будучи горячей поклонницей поэтического величия, она коллекционирует пряди волос, срезанные с виска знаменитых поэтов, и хранит затем благоговейно внутри медальонов из оникса. Она ожидает Роберта Браунинга. Привечать Браунинга в Венеции — такая у нее прекрасная забота вот уж несколько лет и в ближайшие годы. Это ее стараниями поставляются поэту лучшие постельные принадлежности, достаются отличные ванные, туалетные комнаты. Она, правда, пеняет ему на то, что слуги при нем не знают своего места и знать не собираются. Она посылает ему стопки отменной веницейской бумаги ручного изготовления (эти листки раздает он знакомцам — художникам и поэтам). Она выбирает для него серебряные подносики, на которые лягут визитные карточки, письма. Записывает все его необдуманные и обдуманные речения о пейзаже, атмосфере Венеции. Она смотрит теперь на чаек с интересом, который он в ней пробудил. «Не знаю, отчего в описаньях этого города не встретишь упоминания чаек; для меня они даже интереснее, чем голуби на площади Святого Марка». Так он

сказал, и она записала его слова. А еще записала, что изредка он позволял ее дочери, «к вящему нашему удовольствию», угостить его чаем. «Обычно же поэт воздерживался от этого напитка, который полагал несколько варварским, по крайней мере если употреблять чай до ужина».

II

Милые, уважаемые покойницы, думает исследователь, вглядываясь в невнятные черточки на читальной плоскости аппарата для микрофильмов, притененной зеленым светозащитным кожухом. Или, может быть, он переворачивает побуревшие листки, целые пачки вежливых записок о том, что нечто получено, с благодарностью принято или по-прежнему ожидается с нетерпением. Эти пачки, наверное, сохранились в одной из шкатулок, которых у нее за жизнь было множество, изящных шкатулок с тоненькими сигарками, на инкрустированных перламутром восьмиугольных столиках. Или, может быть, перебирает драгоценные списки стихотворных отрывков, сделанные поэтом для альбомов автографов. Ученый по крохам собрал ее собственные словеса — из Канзаса и Кембриджа, из Флорен-

ции, Венеции и Оксфорда, он прочел ее очерк о кружеве и заметку, в которой она велеречиво склонялась перед величием гения; он слыхал порхание младых юбок на празднествах, о которых давно нет помина. Он сподобился постоять более или менее на том самом месте в Азоло, где стояла она с поэтом в 1889 году, и отлетал при этом мыслями к первым размышлениям Браунинга об этом городке в 1838 году, к истребительным страстям гвельфов и гибеллинов,[66] под неукротимое стрекотание кузнечиков. Он видел, как ее кровь румянцем проступает в лице ее высокородной итальянской внучки, открывающей перед ним те дома, в которых отобедывал, читал стихи, вел беседы, с кем-то пикировался, погружался в воспоминания сам поэт. Приятно полноватая дама стала ученому по душе, не потому ли, что он теперь ее знает, сложил по кусочкам. «Вновь возвратил к жизни», так сказал бы, верно, сам Браунинг; собственно, Браунинг и сказал это, не обинуясь, в отношении своих римских убийц, пристрастных судей, девочки-жены, мудрого дряхлого папы Иннокентия XII, пылкого молодо-

[66] Примечания: 66

Две враждующие феодальные группировки, возникшие в ряде итальянских городов в начале XIII в., во время борьбы папства с германскими императорами из дома Гогенштауфенов.

го священника, то есть всех, кого отыскал в своей знаменитой, ветхой, дышащей жизнью «Желтой книге»[67] или воссоздал из нее. Хорошему ученому тоже позволяется что-то воссоздавать, основываясь на гипотезах, только вот вымысел ему запрещен. Наш ученый думает, — не без оснований, — что его неустанный хрупкий объект исследований занимает в свои пятьдесят четыре года положение скрытой фигуры в любовной комбинации, будучи предметом — хотя и недогадливым — дремлющей страсти со стороны все еще красивого семидесятисемилетнего Браунинга. Ученый отмечает силу и стать, выразительные руки, прекрасную шапку белых волос героя. Отмечает вероятные чувства героини, не переходящие за грань возвышенного поклонения, удовольствие, с которым она касается — не живой плоти поэта, но памятных вещиц, доставшихся от него. В доказательство приводится известное стихотворение «Недогадливость», где поэт упрекает

[67] Примечания: 67

"Желтая книга" (названная так по цвету обложки) — большой том письменных судебных показаний, относящихся к делу графа Гвидо Франческини (1690-е, Рим), обвиненного в убийстве молодой жены и ее родителей, — была куплена Браунингом случайно на книжном развале во Флоренции в 1860 г. и легла в основу его монументальной драматической поэмы (или романа в стихах в 12 частях) "Кольцо и книга" (изд. 1868–1869); поэт работал над этим произведением 5 лет, в нем 21 000 строк.

некую спутницу за «взгляд недогадливый»; все ее внимание поглощено характерной волнистой формой, которую принимают «самопосеявшиеся деревца» на «руинах стен», она пытается припомнить, кто подметил это первым, не Джон ли Рёскин?[68] — и попросту отказывается видеть «страсть дремлющую, ждущую лишь взгляда, / Чтоб жизнью расцвести…». И вот уже научно установленные факты принимают форму сюжета, не новый сенсационный оборот, а скорее дополнительный оттенок, вполне жизненно достоверный. Исследователь вглядывается в микрофильмы, в желтеющие буквы, вот сейчас вдруг мелькнет золотая пылинка, драгоценное волоконце, и все вместе разом сложится в заветный узор. В 1882 году поэт был в Альпах и после предполагавшейся поездки в гости к одной английской семье, проживавшей в Италии, должен был посетить Венецию. Там ждала его дама. В контексте этого сюжета — ждала понапрасну. «Печальное происшествие», приключившееся бог весть где, «случайное несчастье» вкупе с

[68] Примечания: 68

Джон Рёскин (1819–1900) — влиятельнейший искусствовед Викторианской эпохи, автор книг об искусстве, сыгравших роль в становлении новейших его направлений; акварелист, рисовальщик, геолог-любитель; учился и позже преподавал в Оксфорде.

проливным дождем в Болонье, пишет ученый, протягивая дальше свою ниточку, — заставили поэта вернуться в Лондон. Возникала опасность охлаждения дружбы, пишет ученый, как будто волнуясь за даму в Венеции, а может, за поэта, а может, за собственную свою догадку.

III

Человек, полагал он всегда, в наибольшей мере является самим собой, когда остается одинешенек в своей комнате в гостинице. Если, конечно, не исчезает как личность вообще в тот же самый миг, как перестает быть охвачен другими сознаниями, как лишается опоры той привычной обстановки, которую создал по собственному устоявшемуся вкусу, как понимает, что лишен всех за жизнь благоприобретенных вещей. Ему нравилось странствовать, это изощряло дух. Комната была ему по нраву — на третьем этаже, в конце длинного коридора, с балконом прямо на огромный, уходящий под небеса первобытный ледник. Гостиница, так писал он, сидя за столом и слушая снежную тишину и такой панибратский звук колокольчика незримых, в хлеву топчущихся коров, «чрезвычайно хороша, имеет

все возможные удобства, лишена недостатков». Путешествие сюда, в горы, впрочем, было не из легких: два часа в экипаже, а после еще семь часов непрерывных подъемов, карабканья на муле верхом. Письма он писал отчасти из долга перед обширным кругом жаждущих от него вестей — добрых знакомых, почитателей, — но более от желания вновь взять в руку перо, увидеть на бумаге чернильные крючки, загогулинки, вместившие в себя целый мир, гостиницу, мулов, эту райскую тишь и прохладу. Гостиница, конечно же, не безупречна. «Здешний почерк мой не вполне разборчив из-за комковатых чернил да царапающего пера». Завтра он отправится на прогулку. Четырех- или пятичасовую, вдоль склона горы. Неплохо для старика, старик еще хоть куда. От тряски на муле что-то, правда, сделалось с тазобедренными суставами, с длинными мышцами спины. В моем возрасте прислушиваешься к малейшему намеку на боль, словно он может стать началом последней, худшей боли, которая рано или поздно наступит… И вот так обе эти вещи разом происходили в его сознании: легкая озабоченность болью в мышцах, суставах и — одновременное ожидание облечения в свое личное «я». И впрямь, оно было как плащ, это «я»,

как накидка-невидимка, одевавшая его теплыми, уютными складками. Но порою оно представлялось потревоженным колодцем, чьи чернильные воды вдруг всколыхивались, вскипали и тут же успокаивались, становились черным, ясным зеркалом. Иногда же внутреннее «я» ему виделось чем-то вроде барочной домовой церкви-капеллы, угнездившейся в сердце современно-благоприличного, но маловыразительного дома.

Свое общественное «я» он тоже почитал. И сказать по чести, дивился тому, как это он сумел обзавестись столь удачным, налаженным вторым «я» — основательным, по-свойски обжившимся в мире, похожим на подобные «я» других людей. Когда совсем еще молодым человеком он обитал в южном пригороде Лондона, Камберуэлле, в родительском доме, пронизанном духом книжничества и евангелистского нонконформизма, обитал затворником-набаловышем, прочитавшим всю уйму отцовских книг, то полагал почему-то, что все это будет не про него — званые обеды, салонная болтовня, большой мир. Но, конечно, мира ему хотелось, не напрасно же мир существует, и хотелось все познать. Своего отца — которого он любил — он описывал как человека обширных знаний, огромной начитанности, обладавшего

великолепной памятью, но совершенно не сведущего в жизни. (По причине этой несведущести и пришлось отцу впоследствии, уже вдовцом преклонных лет, навсегда покинуть Англию из-за иска, связанного с нарушением обещания жениться и грозившего потерей собственности.) Отец с непревзойденным идеализмом освободил сына от бытовых забот, позволил служить искусству. Мой отец хотел, чтоб я делал в жизни лишь то, что мне нравится; но моего сына я бы лучше уберег от подобного воспитания.

Французские романисты не ведают о привычках высших английских сословий с их полной замкнутостью в себе. Он же видел эти привычки, всё приметил. «Я, кажется, знаю немало — по какой-то причине. Может быть, просто потому, что, кроме наблюденья за жизнью, никогда не был занят ничем?» Тем не менее он пожелал, чтобы собственный его сын приобрел настоящее занятие: мальчик, милый, но пустоватый, пребывал в отцовской непомерной, неуменьшаемой тени, не выказывая признаков призвания или тяги к какому-либо делу. Конечно, и это было вполне естественно, мальчик с удовольствием выходил в свет, в котором он сам вращался истово: посещал званые обеды, отдавал визиты (не уставая каж-

додневно удивляться этой своей общественной способности). Элизабет, конечно, пожелала бы, чтобы все было по-другому. Элизабет была великая поэтесса, принцесса, томившаяся в темнице, освобожденная, ставшая женой. Она обладала огромной нравственной силой, но в каких-то вещах была не слишком умна: чего стоили длинные локоны, которые она желала отпустить сыну, или ее беспочвенная вера в обетования, в фальшивые видения на спиритическом сеансе… Она тоже не знала реального мира, не понимала его важности. Как обмолвился он кому-то однажды в порыве откровенности: спознайся она хотя бы с одним новым человеком, как я спознался с многими, это научило бы ее жизни… если б она хотела узнать жизнь. Хотя сомнительно, чтобы она стала пачкать руки в научных целях. Его общественное «я» действовало как раз с научной целью, и если руки его теперь грязны, то ему будет легче легкого за минуту до встречи с нею как бы вымыть их начисто, с упованием. У него, разумеется, были *разумные сомнения* по поводу этого события, о котором он отважно писал в стихах, о шаге из этого мира — в иной мир: встает клок тумана в гортани, заволакивает дымкой лицо, хлопья снега ударяют в глаза… взрыв, боль и

тут же — извлечение из боли в покой, в любящее объятие.[69] Время истины, неоспоримости пока еще не настало, но почему бы хоть изредка не пробовать увериться в спорном. Пришло время сомневаться, действительно, чем славен человек, как не сомнением? Трудно, однако, представить, каким образом все это цепкое самосознание, средоточие знаний, борений, любознательности и силы обратится в ничто. Что такое человек, что такое душа человека?

* * *

Декарт[70] считал, пометил он у себя на листке, что вместилищем души является эпифиз, шишковидная железа. Для такой трактовки имеется прекрасная причина — все прочие образования, связанные с нашим органом восприятия мира, — парные, а именно у нас два уха, два глаза и т. д., более того — две доли мозга. Декарт рассудил, что в каком-то месте нашего тела все разнообразные, сдвоенные впечатления должны объединяться

---

[69] Примечания: 69

Пересказ строк из стихотворения "Prospice" (1864, год смерти Элизабет Браунинг).

[70] Примечания: 70

Рене Декарт (1596–1650) — великий французский философ, математик, механик, физик, физиолог.

в одно целое, прежде чем попасть в душу, ведь душа — единственна. Он частенько подумывал, не написать ли стихотворение о Декарте, как тот грезит в своей накаленной комнате-печке о мудрецах, о церквях, окутанных грозовой дымкой, и как мгновенно сводит весь мир к твердой целостности наблюдающего ума: *cogito ergo sum*.[71] Человек способен пробраться в сознание другого человека, в его тело, чувства, историю, может снова растолкать их — так гальваническая сила заставляет сокращаться мышцы лягушки. Хороший поэт может вселиться в сознание Декарта, во все эти куриозы с печкой, с ипохондрией, с любимым луковым супом в деревянных плошках, с какими-нибудь свиными рульками; и вновь в воспаленном сне возникнет образ дыни, которую предлагает философу некий мудрец, и вся эта диковинная утварь обращается вокруг обнаженного познающего когито, точно планеты вокруг Солнца в орарии. Лучшая часть мой жизни, сказал он себе, часть, в которую я жил наиболее остро и яро, была та, когда примерял я на себя личность

[71] Примечания: 71

По сведениям биографов Декарта, 10–11 ноября 1619 г. он, будучи на военной службе, спасаясь от холода в Баварии в комнате с раскаленной печкой, имел три известных мистических виде́ния, легшие в основу его дальнейших философских и научных изысканий.

другого человеческого существа, мужчины или женщины, ладился в нее проникнуть, заново изобретал ее, ловко и туго заполнял собою, как пальцы входят в перчатку. Это я был Калибан[72] с перепонками на ногах, барахтавшийся в изначальной тине; это я был безумец, и святой, и граф-убийца, и чувственный прелат; вдохновенный псалмопевец Давид — и угодливый медиум Сляк, коего наградил я для чего-то именем псалмопевца, Давид Сляк, не то иронии исполнясь, не то двусмысленности. Чертоги, в которых размещалась его отдельная личная сущность, звенели также голосами других сущностей, жаждавших воплощенья, подобно тому как рыдала толпа теней у глубокой ямы, вырытой мечом Одиссея, пожелавшего оживлять, вопрошать мертвецов. Томы отцовских энциклопедий в Камберуэлле были хранилищами бумажных жизней и обстоятельств, но также — могилами, яминами, откуда взывали бесплотные тени, причем каждая из теней была совершенно особой и по-своему замечательной. Набор взглядов, ограниченные временем воззрения на добро и зло, история ран

[72] Примечания: 72

Калибан — персонаж пьесы Шекспира "Буря", герой драматического монолога Браунинга "Калибан о Сетебосе" (из сборника "Действующие лица", 1864).

и пристрастий, гардероб, еда и питье, любимый цветок, свет на серебристых рогах Монблана, на кристаллических зубцах, — все это соединилось, допустим, в одном точном месте, дав целую личность. А потом — разложилось. Я ж всё это, я их всех — ухватил и удерживаю, я даю им всем связность и новую жизнь, я и никто другой! Но что такое я? Разве не так же случайно объединились во мне: язык, его мерные ударенья и голосовые протяжки; некое ограниченное знание, мной почерпнутое из отцовской библиотеки; мои опыты жизни, мои самые заветные желания; моя битва с драконом и любовь; все мои неприязни; и два глаза, в меня льющие мой особый цветной мир; и слепая, пребывающая в темноте, очень крепкая, упругая, маленькая, всем единственная движущая суть — душа.

В итоге он этим скребущим гостиничным пером записал всего две или три мысли к стихотворению о Декарте, о его метафорическом орарии — беспомощных покамест. Но зато от писания пробудилось в нем жадное ликованье. Он добудет необходимые сведения, впитает их как губка, проберется, как гребешок, сквозь «Рассуждения о методе» и «Страсти души», изучит фламандские печки!.. Его личное «я» из дремы перешло

в состояние лихорадочной деятельности. Он чувствовал, как у него участилось дыхание, как на загривке поднялись белые волоски. Человек *устремленный*, написал он однажды, способен изметнуть избыток своей души в поиске подходящего другого тела, прибавить свою личную сущность к иной личной сущности… приобрести сокровища несметные, нечто наполнить собою всецело, присвоить себе новые формы… В подобном состоянии человек — одно сплошное сердце и око, отверстое в жадном любопытстве, чтобы все творение, от прекрасного до уродливого, от низменного до велемудрого, было можно постигнуть. Восхитительным и неуклонным путем влеклись в своих орбитах самые дорогие, самые возлюбленные им создания. Вот кто были они.[73] Юная герцогиня, которая погибла из-за холодного себялюбия герцога Альфонсо, не желавшего смириться с тем, что радость Лукреции вызывают не только его знаки благосклонности, но и — в неменьшей мере — краса заката, ветка спелых вишен, белый мул, оседланный к прогулке… Арабский врач Каршиш, который, отличаясь немалой любознательностью по

---

[73] Примечания: 73
Далее названы герои поэм Браунинга.

отношению к изделиям рук Божьих, дотошно описывает то хищную рысь, то голубоцветную огуречную траву, то поведение воскрешенного Лазаря… Псалмопевец Давид, радостный оттого, что сумел музыкой успокоить страсти в Сауле и вся природа, вся земля пребывает в ликовании; и Кристофер Смарт,[74] безумный гений, чья поэма «Песнь Давиду», подобная удивительной барочной часовне среди прескучного дома, отразила чудеса Божьего мира: китовью тушу средь соленых вод, перисто опушенные семянки виргинского ломоноса, жизненный образ тубероз… И наконец, сам воскресший Лазарь, бывший короткое время в присутствии Бога и в вечности; в стихах он возвратил Лазаря к жизни, придав ему эту особую черту, способность смотреть с живым и вместе безразличным любопытством на все на свете: на мула, обвешанного бутылями из тыквы, на смерть ребенка, на цветы в полях, любые пустяки, на кои глаза Лазаря взирают «в остолбененье восхищенном от их малости».

---

[74] Примечания: 74

Кристофер Смарт (1722–1771) — английский поэт религиозного направления; несколько лет провел в сумасшедшем доме.

* * *

Он попытался нащупать, что же ему представляется, что же стоит за всем этим разнообразием, питающим любознание человека. А стоит там изощренный, необычайно плодовитый творец. Порой, вслушиваясь в тишину, наедине с собой, он слышал неравномерные, но бесконечно повторяющиеся удары морских волн о прибрежную гальку. Его тело было витой раковиной, словно из тонкого фарфора, неведомо каким образом сделанной, в нем жил этот рев и плеск морской. А еще — движение луны, правящей приливами, и движение планет по некруговым своим орбитам. Гораздо чаще его безумно-хитроумному внутреннему зрению виделись, как будто сквозь увеличительное стекло, крохотные перемещения частиц плоти и крови. Острая боль превратилась в дергающую и тянущую в правом подреберье, как он того и опасался, как он и знал, в печени. Печень издревле использовалась в гаданиях, вавилоняне полагали, что еще дымящаяся, ярко-глянцевая печень и есть вместилище души; его собственная печень, кажется, взбунтовалась, словно таинственно сведалась с крюком, на который подвешивают за ребро душу Инаны

в шумерской легенде. И не менее таинственно все это связано с внутренним глазом, который помещается или, может, не помещается в шишковидной железе, которую полагал жилищем души Декарт. Человек, подумал он, измерил тайны гудочков и свисточков своего организма не лучше, чем основания Земли или природу смертей. Был у него секретный принцип: вкладывать свое истинное мнение в уста отпетых лжецов; и, в частности, не кому иному, как Давиду Сляку, «медиуму» — еще одному не вполне честному воскрешателю душ, умевшему также наполнять плотью перчатки во время спиритического сеанса, — поручил он высказать мысль о мельчайшей разумной сущности, близкую к собственной его мысли. «Великое — не состоит ли в малом? — вот что говорит у него мистер Сляк. — А малое, все больше уменьшаясь, / Не явит ли нам Бога?»

Не то же ль Имя встанет за амебой —

Созданием-желудочком простейшим,

Что разом — сердце, рот, живот и ножки —

Живет и чувствует… Сильней же упрости —

Как жизни чувствующей в нем не ста-

нет.[75]

«Да, ежели пойти еще дальше, вглубь, так глубоко, как заблагорассудится и как настаивает мой Давид Сляк, — писал он, — то найдешь там (и в это верую уже *я*!) творящий разум, действующий как материя, но не производный от материи. Будучи запущенными, шары находятся в движении, соударяются друг о друга и могут разбегаться по столу в самых разных направлениях; но я верю в кий, чей удар направляет рука». Весь мир возвещает одно Имя, как подлинно ведал истинный Давид; весь мир, включая даже больные воспаленные клеточки моего тела. В самой глубине — что-то простое, нераздельное, безразлично-разумное, живоносное!

Мое самое истинное, лучшее состояние — это когда я приближаюсь…"

* * *

Она положила ладонь на ручку двери и вошла без стука. В комнате было темно, но как-то слегка, дымчато-темно; занавеси не задернуты, и окна — парой смутных, освещенных звездами отвер-

---

[75] Примечания: 75

Из поэмы "Мистер Сляк, "медиум"" (сборник "Действующие лица", 1864).

стий. Всюду вещи, на стул небрежно брошена накидка, на полу дорожный баул; за письменным столом что-то непонятное, горбатое, к ней спиной, с серебристым венчиком, ее брат. "Ты работаешь? — сказала она. — Прости, не буду мешать... — И тут же: — Роберт, нельзя писать в темноте, это вредно для глаз". Он встряхнулся всем сильным своим телом, точно большой тюлень, поднявшийся из глубин, и глаза его, темные впадины под кудлатыми бровями, невидяще повернулись в ее сторону. "Я не хотела тебе мешать", — снова сказала она, терпеливо ожидая, когда он вернется в страну живых. "Ты и не мешаешь, дорогая Сарианна,[76] — мягко проговорил он. — Я немного задумался о Декарте. И наверное, давно уж пора ужинать". Они пошли по коридору, мимо слуги, разносящего свечи. "Там ждет одна дама, — сказала Сарианна извиняющимся тоном, — на голове у нее целый птичий вольер... Она обожает твои стихи и желает поступить в Общество почитателей Браунинга".[77] — "Il me

[76] Примечания: 76

После смерти жены Элизабет (1861) спутницей поэта в путешествиях стала его младшая сестра Сарианна (1814–1903).

[77] Примечания: 77

Подобные общества стихийно и во множестве создавались в Англии и США еще при жизни поэта, имея целью изучение и пропаганду его творчества.

semble que ce genre de chose frise le ridicule",[78] — прорычал он; она же улыбалась в душе, зная, что, будучи представлен ужасной миссис Миллер, он будет сама вежливость и приятность.

* * *

И действительно, на следующий день на террасе гостиницы он вполне чарующе беседовал с миссис Миллер, облаченной в корсет и турнюр. Поклонница просила написать что-нибудь в ее именинном альбоме, который почтили уже своими записями сэр Лейтон и Томас Троллоп;[79] ее умилило, что он не мог вспомнить, на какой из двух дней полагается его точный день рождения — 7 или 9 мая, и пришлось отнестись к Сарианне, та, конечно же, знала. Он успел разжиться чернилами получше и сделал теперь список подходящего стихотворения, как имел обыкновение, микроскопическим почерком:

---

[78] Примечания: 78

"Мне кажется, подобные вещи — на границе нелепости" *(фр.)*.

[79] Примечания: 79

Фредерик Лейтон (1830–1896) — знаменитый художник Викторианской эпохи, в 1878 г. получивший за свои достижения дворянский титул. *Томас Адолфус Троллоп* (1810–1892) — английский писатель, младший брат романиста Энтони Троллопа, автор более пятидесяти книг о путешествиях, значительную часть жизни проведший в Италии.

"О некоей звезде мне лишь известно..."[80] — и прибавил с обезоруживающей улыбкой: "Ну вот, всегда я всем пишу одно и то же; разница только в размере букв. Надо мне быть изобретательнее". Миссис Миллер была в полном восторге. "У вас, должно быть, изумительно отчетливое зрение!" — проговорила она воодушевленно, тут же скрывая под надушенной кожаной обложкой "Мою звезду" и предшествовавшую запись в венке акварельных фиалок. Шляпа миссис Миллер была поистине величественна: вкруг тульи шли прицепленные крылья настоящих птиц; поэт принялся с восхищением, подробно расспрашивать о смысле этой композиции, где сова, ястреб, сойка и ласточки как бы окружали целое чучело голубки на возвышении. Завязался живой разговор, в котором проявились отменные знания поэта о парижских журналах моды и причудах тамошних модисток. Его общественное "я" обладало в своем роде той же всеядной и несколько безразличной любознательностью, что отличала его героев — покойную герцогиню, Каршиша, Лазаря и Кристофера Смарта. Ему невдомек было, какое раздражение вызывала эта его черта у

---

[80] Примечания: 80

"Моя звезда", хрестоматийное стихотворение Браунинга из книги "Мужчины и женщины" (1855).

Генри Джеймса, который нарек ее буржуазной и чье вымышленное альтер эго — рассказчик — признавался, что чувствовал отчаяние от того, как поэт "любит один предмет — по крайней мере, на взгляд наблюдателя — точно так же, как любой другой". К женщинам обращался он в той же манере, что и к мужчинам, жаловался этот глубоко обиженный повествователь; со всеми мужчинами толковал на одинаковой ноге, не делая разницы между умным и посредственным собеседником. Был он шумен, жизнерадостен, словообилен. Мнения, которые он высказывал, были неизменно благоразумны, истинные же его представления пребывали в полной тайне от окружающих. Компанией неотвязной миссис Миллер он казался вполне доволен, принялся рассказывать о предполагаемой поездке в гости к семейству Фишвик, которое поселилось на время в Апеннинах. Заслышав слово "Апеннины", миссис Миллер усиленно закивала птичьей своей шляпой и немедля продекламировала выразительно, чуть подвывая:

Всех в мире замок мне милей —
В оправе пропасти, камней

Средь острых, в ветре апеннинском.[81]

"Именно", — подтвердил старик благодушно-невозмутимо, потягивая портвейн и глядя на дальние горы; Сарианна же украдкой посматривала на него, зная: он предубежден против этой пробной поездки в Апеннины, ведь ни разу со смерти жены он не отваживался подобраться так близко к городу, где они были счастливы вместе и в который он заказал себе ступить еще хоть раз. Вилла Фишвиков, впрочем, располагалась в отдаленной окрестности города, в некой горной деревне, которая не посещалась в ту счастливую пору. Он решил, что попробует одолеть крутой подъем, как попробовал одолеть этот. Ему необходимо было чувствовать себя несгибаемым, неустрашимым. В неустрашимости заключалось его представление о себе. Он и правда ничего не страшится, подумала Сарианна с любовью. "А потом мы отправимся в Венецию, — говорил поэт даме в птичьей шляпе, — там проживают наши добрые друзья, да и множество дорогих воспоминаний, знаете ли. Я не прочь бы умереть в Венеции. Когда выйдет мое время".

---

[81] Примечания: 81
Из стихотворения Браунинга "De Gustibus..." (1855).

IV

"Как-то ему о нас рассудится?" — задумчиво спросила мисс Джулиана Фишвик, подразумевая ожидаемого вскоре Роберта Браунинга, но в действительности более волнуясь о том, как уже рассудилось — о семействе Фишвик, обо всем укладе их жизни на вилле "Коломба" — мистеру Джошуа Риделлу. Вилла "Коломба" прилепилась на полке величественного утеса; лужайка перед домом, неровная, поросла дроком; комнаты имели мощеные полы; мебель была самая что ни есть тяжелая и старинная. Среди обитателей небольшого поместья Джулиана была, пожалуй, единственной, кого не в шутку занимало, как оценивают люди друг друга; прочие же были для этого слишком взрослыми, праздными либо, напротив, слишком молодыми и прыткими, поглощенными затейливой игрой или погоней за личными открытиями. Джошуа Риделл отозвался с полной правдивостью, что находит их всех пленительными, равно как и самое место, и поэтому ничуть не сомневается, что мистер Браунинг также придет в восторг. Джошуа был другом Тома, брата Джулианы. Оба были студен-

тами в Бейлиол-колледже,[82] изучали греков и римлян. Отец Джошуа служил настоятелем собора Святого Павла в Лондоне. У себя дома Джошуа вел жизнь размеренную и осмотрительную, будучи единственным ребенком, от кого ждали многого. Он и сам от себя много ждал, хотя и не в том роде карьеры, на который уповали его родители, воображавшие его адвокатом-барристером, или судьей, или членом палаты общин. Он же чаял стать великим художником — совершить в живописи что-то доселе невиданное, дающее власть над сердцами. Он уверен был, что, когда *оно* придет, он *его* непременно узнает, только надо прежде понять, в чем именно *оно* может заключаться и как *его* достичь углем и кистью. В настоящее время, весь захваченный этой блистательной, но смутной грезой, жил он в сладко-томительном устремлении, порыве. Своим сокровенным он не делился ни с кем, уж во всяком случае не с Томом, с которым, впрочем, как это ни странно, он сообща предавался обычным проказам и розыгрышам. Что же до общей, непринужденной и даже какой-то шаловливой атмосферы, царившей в семье Тома, Джошуа был

---

[82] Примечания: 82
Один из трех старейших в Оксфорде (основан в 1263 г.).

совершенно к ней не привычен.

* * *

Сейчас он делал набросок с Джулианы. Она сидела в своем розовом муслиновом платье на краю чаши источника. В чашу, подернутую пузырьками, неутомимо-усмешливо текла вода из расселины небольшой скалы. Это был "нижний источник", самый отдаленный от дома, располагавшийся на неровной, поросшей косматой травой лужайке, где также стоял древний, из камня вытесанный стол с каменными же креслами. Над местом исхода источника кто-то вырезал на скале круглый, наподобие солнца, плоский лик, безмятежно улыбавшийся, да две воздетые руки с плоскими ладонями, как бы рвущиеся из камня или повисшие в камне. Никто не знал, сколько этому изделию времени. В "верхнем" саду, с его клумбами и более медленно точившимся, в свинцовые трубы забранным источником, была также колонна или герма, увенчанная головой, в точности схожей с теми, провозгласил Соломон Фишвик, которые венчают собой человекоподобные погребальные урны этрусков. Джошуа успел не раз уж зарисовать все эти куриозы. Живое лицо Джулианы в легкой тени соломенной

шляпки оказалось трудным, по-иному трудным предметом. Это лицо, состоявшее из мягких и вместе цельногладких тканей юной плоти, без выраженных костей, запечатлеть весьма сложно. Белесые брови совершенно не выступали на лбу; глаза не обозначались сенью длинных ресниц, лишь коротенькая серебристо-белая их бахрома прерывчато — то тут, то там — ловила солнечный свет. Верхняя губка чуть поднята кверху, и рот всегда слегка приоткрыт; выражение мягкого вопроса, не требующего настойчиво ответа, словно застыло в облике. Словом, чрезвычайно приятное лицо без ярко выраженных свойств. Как изобразить свинцовым карандашом мягкость, юность, саму *приятность*? Рукам ее очень подошло бы заключать в себе нечто обильное: ветку с яблоками, розы, пшеничный сноп. Пока же ее маленькие ладони были пусты, она неловко сжимала и разжимала пальчиками розовую ткань юбок.

* * *

Джулиана более привыкла разглядывать других, чем находиться под чьим-нибудь взглядом. Она находила себя не слишком хорошенькой, но и не дурнушкой — уж во всяком случае, без карикатурности. Тело ее, однако, будто бы нарочно

не задалось по тогдашним новейшим меркам красоты, требовавшим вытянутости, немалого роста, внушительной груди, плоского живота, осанистости. Была она коротенькая и круглая, хотя и с довольно стройной талией; корсетов она ужасно не любила, да и какие могли быть корсеты знойным итальянским летом? Так что ей приходилось отдавать себе отчет в складочках, дольках и колбасках, которыми она снабжена в тех местах, где охотней бы обошлась без них. Она знала, что у нее стройные лодыжки и запястья, а чулки у нее были чудесного нежно-розового цвета, с вышитыми на них перламутровыми ракушками. Ее старшая сестра Аннабел, находившаяся сейчас в гостях в Венеции, была признанная красавица, за ней ухаживали кавалеры, и определенно ценны были ее советы по поводу дерзких маленьких шляпок. Джулиана с некоторых пор стала думать, что ей будет нелегко найти себе мужа. Она слишком малопримечательна. Она начала опасаться, что из старшей сестры, опекающей младших сестер и братца, сама она может превратиться в полезную тетушку. Она прекрасно умела обходиться с детьми. Играла, возилась с ними, усмиряла, утешала, вытирала носы, но непрестанно хотела иметь что-то совсем свое

— место, мысли, тишину, — свое, и более ничье. Ей уже не верилось, что она когда-нибудь обретет подобное. Она обожала жизненные удобства и отличалась практичностью. Эти качества оказались неоценимыми при переезде всей большой их семьи из раскаленной Флоренции в эту ветреную и солнечную садовую обитель, когда нужно было придумать, как устроить все добро и личную движимость в два тяжеленных, карабкающихся в гору воза. Уместить нужно было все: ванночки и рыбоварки, подушечки для сидения и формы для желе, а заодно собак и кошек, птичьи клетки и кукольный домик… Сама она сидела в детском обозе, с няней старших детей, с няней малышки и само́й беспокойной детворой; Том и Джошуа поехали в переднем экипаже с родителями; прислуга, английская и итальянская, тащилась в самом заднем возу. На жарком этом кожаном сиденье она была прижата с одной стороны тугими крахмальными юбками няни, с другой — в бок ей впивались острые, сцепленные, вечно враждующие локти и коленки Артура и Гвендолен, бившихся друг с дружкой за воздух и за пространство. Когда совсем крутым сделался подъем, подпрягли запасных мулов по прозванию *trapeli*, или *пристяжные*, при каждом

был особый погонщик, принимавшийся охать и кашлять на загибах дороги, все круче берущей в гору; мужчины сошли и шагали, точно на прогулке, обок экипажей, в то время как умные лошади нарочно сами себя одерживали, отваливались назад, вбок, в хомуты, оставляя всю тяжелую работу мулам. Посчитавши примерными терпеливые усилия этих последних, Джулиана скормила им по прибытии на виллу весь свой запас яблок…

Она благоговела, едва ли не трепетала перед Джошуа, но, конечно, не перед Томом, который, по своему обыкновению, добродушно над ней подшучивал. Зато Джошуа разговаривал с ней так серьезно и учтиво, будто ее познания о Горации и Рёскине не уступали Томовым; сразу видно было, что он никогда не имел дела с сестрами, да и с барышнями, вероятнее всего, знался мало. В детстве она чуточку выучилась латыни и греческому от отца, благодаря гувернантке знала по-французски и по-итальянски, умела шить, рисовать, показывать страны на картах полушарий: сейчас она передавала знанья Гвендолен, Артуру и малышке Эдит. Большой пользы в науках она, впрочем, не находила: не то чтоб они не питали ума, но были мертвы, отвлечены от жизни, как перья, украшающие шляпку, отвлечены от живых

птиц. А вот для Джошуа в науках, как она поняла, и заключалась жизнь. Держался он непроницаемо и словно холодновато, но чувства его и мысли обнаружились вдруг в некий день, когда, еще до большого странствия на виллу "Коломба", они отправились из Флоренции на прогулку в деревню Валломброза. Сильное впечатление сделали на него живописные, плавно-крутобокие тосканские холмы с их глубокими разлогами, сплошь одетые в темно-зеленые кущи каштанов. "Это же и есть этрурийская дубрава Валломброзы, о которой сказано у Мильтона! — воскликнул Джошуа. — Те самые листы "высоких кущ, что сводами сомкнулись"! — И прибавил: — Уже сейчас, летом, можно угадать, как угадал Вордсворт, что эти листья, сброшенные осенью, по слову Мильтона, густо усыплют ложи ручьев.[83] Это с ними сравниваются души умерших у Вергилия и сраженные падшие ангелы в "Потерянном рае"!" Она посмотрела на каштаны и впервые увидела в них что-то новое… Каштановые рощи одевают и здешние горы. Для крестьян это источник пропитания: дома их имеют под крышей особую камору для сушки каштанов, крестьянские жены

[83] Примечания: 83

Вордсворт У. "XVIII. В Валломброзе" (из цикла "Память об итальянской поездке, 1837").

толкут каштаны в муку в каменных ступках.

Когда они только ворвались в дом на вилле под радостное чириканье детей и под неодобрительное хмыканье своего же повара и не нашли поначалу ничего, кроме обширной, прохладной и гулкой пустоты между толстенными стенами с их зарешеченными оконцами-бойницами, она в тревоге посмотрела на Джошуа. (Дети между тем вопили: "А где ж стол со стульями?") В нише над великанским, напоминавшим вход в пещеру очагом Джошуа успел отыскать исполинские песочные часы и молвил усмешливо: "Мы, верно, попали в другое время, золотое Сатурново время".[84] Оказалось, что предметы современного быта существуют на втором этаже, хотя повар и принялся жаловаться на дряхлые заржавелые чугунки, на доисторический вращающийся вертел с храповым механизмом, более напоминавший дьявольское орудие пыток. Все в доме было массивным и старинным: дубовые столы с целым лесом ножек-стволов, огромные стулья с кожаными спинками, напоминавшие трон, кровати с тяжелыми золочеными занавесями, сундуки с причудливой резьбой и резными ла-

---

[84] Примечания: 84
Намек на "Буколики" Вергилия (IV эклога).

пами, ни за что бы на свете даже не приподнять такой сундук; это, стало быть, гробницы для любопытных девчонок, тут же пошутил ее брат. "Дом для богов-гигантов",[85] — сказал легким тоном Джошуа, от которого не ускользнуло ни любопытство ее, ни беспокойство. Он указал ей на грубые кованые ручки ключей: "Видите ли, мы находимся явно не в девятнадцатом веке!" На стенах гостиной красовался ряд портретов, все до одного странно похожие люди в серебристых париках, темноглазые и суровые. В спальне Джошуа висела картина, отвратительная и могущая внушить испуг: фрукты и цветы, особо расположенные, составляли некое диковинное человеческое существо, хребет был из ананасов, округлые формы — из дынь, очи же взирали из страстоцветов.[86] "А вот это, — со значением произнесла Джулиана, — непременно придется по нраву мистеру Браунингу, он не равнодушен к вещам карикатурным, причудливым". О семейных портретах в гостиной Том заметил, что их похожесть заставляет заподозрить в художнике

---

[85] Примечания: 85

Гесиод. Теогония.

[86] Примечания: 86

Вероятно, имеется в виду одно из полотен или копий Джузеппе Арчимбольдо (1526/1527-1593).

недостаток мастерства. "Догадка недурна, — живо отозвался Джошуа, — но я бы не исключал возможного семейного сходства. Или еще бывает: иной живописец, сколько ни старайся, всегда изображает свою лишь наружность. Я знаю двух или трех портретистов, кому это свойственно". И вот теперь, сидя на краю чаши источника и видя, как он хмурится над рисунком — посмотрит, поправит что-то, то насупится, то опять поведет своим карандашиком, — она вдруг подумала: не могло бы случиться так, что ее невнятные, малопримечательные черты вдруг, непостижимым способом, превратились в черты его лица, одушевленного и пригожего? В его облике, легкой смуглости ей мерещилось что-то небрежно-цыганское, но, однако же, он привык весьма заботиться о своей внешности, и было в этом некое противоречие. Здесь, в горах, он одет был в просторный жакет, на шею повязывал шелковый платок, но, пожалуй, узлом слишком ровным. Ростом он был меньше Тома и худощавее.

Джошуа отделывал уголок рта Джулианы. Для этой самой нежной кожи взял он другой, мягкий серебряный карандаш-проволочку, потому что ему хотелось не выразить, скупо и резко, сходство, но передать всю подкожную крепкость щеки,

подбородка. Он еще раньше нанес точные круги и овалы всей головы и полей шляпки, и сбегающую вниз кривую косы, уложенной крендельком на шее под затылком, и ушную раковину, и все плоскости широкого спокойного лба. Тень, бросаемая окружностью шляпки на кожу, представляла еще одну приятную, хотя и нелегкую задачу в отношении тона и штриха. Он работал мелкими круговыми движениями, как будто выщупывая своим карандашиком темноватые впадинки и одновременно замечая крошечные блики света, сиявшие на краешке губы или кончике подбородка, оставлял здесь бумагу нетронуто-белой, мерцать. Пухловатое место под горлом он чуть, ласково тронул грифельной полутенью, такое оно было податливое, упругое.

— Жалко, — сказала Джулиана, — что мне не видать.

— Только когда будет готово!

Казалось, что он будто касается ее лица, извлекая на свет из разметочной паутины серебристые очертания, формы. Правая рука его повисла над местом, где должен явиться нос, выкруглила ноздрю, обозначила крыло носа. Стоит только дать темного там, где должен быть свет, и все будет испорчено. Одинаковых художников не

бывает, у каждого особая мета, словно оттиснулся на картине большой палец. За головою у девушки Джошуа решил изобразить краешек, один лишь шероховатый краешек плосколицего солнечного изваяния.

Джулиана сидела тихо. Ее беспокойство о приезде Роберта Браунинга посреди тяжеловесной обстановки нескладного временного жилища улеглось. Осторожно-пытливый карандаш Джошуа меж тем подобрался к области глаз. Глаза заключали в себе трудность особенную. Сперва их надо вылепить в целостности, а уж потом, уловив тонкий спор в них света и тени, исчислив *светотень*, наделить их жизнью. Ему довелось изучать удивительные глаза, написанные Рембрандтом ван Рейном: тончайшее, точнейшее движение — в две щетинки, в один волосок — кончика кисти, здесь упала зернинка алого, тут легло пунцовое волоконце, и вдруг из этой тонкой пестрой лепнины выглядывает душа.

— Посмотрите, пожалуйста, на меня, — обратился он к Джулиане, — посмотрите, вот так, не двигайтесь!

Кончик его карандаша застыл в задумчивости, Джулиана подняла глаза к свету, невольно моргнув, и зрачки ее в зеленоватом венчике радужки

съежились. Она не хотела смотреть на него прямо, в этом было что-то против естества, хотя в его изучающем взгляде, будто снимавшем мерку с ее лица, чтоб перенести на бумагу, не было ничего предосудительного. К ее шее прихлынула густо кровь, горячим румянцем прокатилась по подбородку, по ровностям и выпуклостям щек. Подступили слезы, непрошеные и беспричинные. Джошуа заметил эту краску, прихлынувшую к лицу, и внезапную поволоку и перестал гладить бумагу карандашиком. Глаза их встретились. Какая же сложная это штука, встреча глаз, в потревоженном воздухе меж двумя неподвижными лицами, заставляющая сердце забиться и погнать кровь быстрее по жилам, подымающая волоски на запястье. Сразу делается понятно, подумал Джошуа, отчего поэты пишут о стрелах, о бросаемых абордажных крючьях. Он промолвил:

— Как же странно — посмотреть в конце концов на кого-то и увидеть, как другая душа тебе смотрит навстречу. Можно ль передать это карандашом? И откуда мы узнаём, что узрели друг друга?

Джулиана ничего не ответила, только покраснела еще гуще, еще пунцовей, до корней волос, что укрыты под шляпкой; и одна крупная слезин-

ка перевалилась за кромку нижних ресниц, чью влажную серебристость так старался передать Джошуа.

— Эх, Джулиана. Не нужно плакать. Ну, пожалуйста. Я теперь же перестану…

— Нет, извольте рисовать. Какая я глупая. Я не привычна, чтоб глядели на меня так пристально.

— Приятно смотреть на красоту, — сказал Джошуа, сравнивая живые, переменчивые цвета ее лица со своей уравновешенной попыткой изваять это лицо из серо-серебристых оттенков.

Он отложил рисунок и кончиком чистого платка коснулся слезинки у нее на щеке. Жужжали, гудели в саду насекомые, лепетала вода; он почему-то сознавал себя внутри очарованного круга этого сада — и во все то время, что рисовал, и теперь; он повел взглядом вниз: под тугим розовым муслином — щедрые, округлые груди. Все было частью чего-то единого и живого: теплый камень, вода, косматая трава, розовый шелковый водоворот, юное обеспокоенное лицо. Он прикрыл своими руками две ручки, встрепенувшиеся у нее на коленях, как двух пташек.

— Я встревожил вас, Джулиана. И корю себя за это. У меня не было умысла.

— Не хочу, чтобы вы себя корили, — отвечала она тихо, но внятно.

— Тогда взгляните на меня еще раз. — Это словно кто-то молвил за него; а дальше случилось то самое, напасть ("Едва взглянули — как уже влюбились", — подсказал ему голос из комедии Шекспира[87]); эта напасть была восхитительной, неодолимой и тревожной. — Пожалуйста, взгляните на меня, Джулиана. Часто ли мы смотрим по-настоящему друг на друга?

Она раньше, бывало, поглядывала на него — незаметно, украдкой. Теперь же никак не могла собраться с духом. И поэтому совершенно естественным для него оказалось положить свои руки ей на мягкие, кругло-покатые плечи и пробраться лицом на самое что ни есть короткое время под поля ее шляпки и теплыми губами коснуться ее губ, как до этого касался он их на расстоянии карандашиком. Джулиане же сделалось слышно, как завертелось, заворочалось море, море собственной ее жизни.

— Джулиана, — проговорил он, — Джулиана, Джулиана. — И тут же, согретый улыбкой солнечного изваяния и как если бы наущал его некий

---

[87] Примечания: 87

"Как вам это понравится". Акт V, сц. 2.

дух, *genius loci* этого травистого места, прибавил:
— Джулиана — это имя некой госпожи в одном из любимых мною стихотворений. Может быть, вы знаете? Писано Эндрю Марвеллом[88] и зовется "Песнь косца". Это жалоба косца Дамона.

Джулиана отвечала, что не знает, но хотела бы услышать это стихотворение. Джошуа прочел:

Моим умом я обнимал
Лугов зеленых свеж овал,
В зерцало гладких этих трав
Смотрелся, мысль мою ж узнав,
Как Джулиана вдруг пришла:
Меня — как я траву — в полон, в полон взяла.

— Она была недобрая, — сказала Джулиана.

— Нам неведомо, кто она была и какая, — отозвался Джошуа. — Лишь ведомо, как действовала на косца.

Он сжал осторожно ее пальчики, пальчики ответили на пожатие. И тут же на дорожку под деревьями шумно выметнулись дети, вопя о походе в деревню.

---

[88] Примечания: 88
Эндрю Марвелл (1621–1678) — английский поэт-метафизик.

* * *

Джулиана не сомневалась в том, что произошло. Это была любовь. Любовь, которая расцветает внезапным цветком или сражает как молния, как клюв хищной птицы; такой она описана в романах и поэмах, такой — может быть, благостной или, может, ненасытной, но неизменно действующей стремительно — представала она в жизненных историях, полнивших слух, такой разыгрывалась в ее воображении; более того, соответствовала ее естественным нравственным ожиданиям. Любовь приходила ко всем, кто не был недотрогой или излишне набожной. О себе она почему-то предполагала, что ее любовь, когда явится, окажется угрюмой и невзаимной, не готова была к стихам и поцелуям. В эту ночь она спала неспокойно, ворочалась на пыльном подголовнике, между грубыми простынями, объятая смутным пламенем, странной возвышенной мечтой, совершенно не умеющая пока переживать счастье.

Джошуа был не столь уверен в случившемся. Он также пылал этой ночью, но менее смутно — как ему и положено было пылать, сбив и скомкав постель, весь в болезненном напряжении.

Он, конечно же, узнал старого херувима и назвал настоящим именем, тем же, что и Джулиана, назвал без увиливания, не роняя ни своего, ни ее достоинства мыслью примитивно-похотливой. Он вновь и вновь благоговейно перебирал в свежей памяти каждую подробность: розовый шелк, доверчивые, наполнившиеся вдруг слезами глаза, жилку, бьющуюся в прозрачном виске, мягкие уста — все, что открылось его пытливому карандашу. Но, в отличие от Джулианы, он пребывал уже под игом иного духа; ему было привычно подстраивать тело и душу под бившиеся властно волны другого внутреннего закона. Он чувствовал свою обязанность в первую очередь перед зеленым пустынным окаемом, который до сих пор прочно облегал остров его первобытной невинности. Да, теперь он желал, он любил; но довольно ли велико его желание, его любовь? Не повел ли он себя непреднамеренно бесчестно к этому юному созданию, нынче ставшему для него самым дорогим в целом мире, одетому светом, теплом, обаянием, сулившему сердечную привязанность? Ему было двадцать лет. Не имея достаточно опыта, пребывал он в смятении. И вот наконец он себе положил, что завтра будет делать то, что намеревался сделать уже какое-то

время: покинет дом чуть свет и отправится в одиночестве еще выше на гору, чтобы произвести кой-какие наброски или даже попробовать писать красками. Он должен увидеть землю за пределом человеческого обитания. Джулиане же он так и объяснит — и она, разумеется, все поймет; ведь он скажет ей одну только правду, настоящую честную правду о том, что ему нужно удалиться.

* * *

Он поднялся чрезвычайно рано и пошел на кухню поклянчить у повара походный припас — цыпленка с хлебом, фляжку вина. Джанни послали седлать мула, на котором ехать можно до деревни Луккьо, что виднелась прилепленная к крутому склону противоположной горы. Еще только начинало светать, но Джулиана уже не спала; он повстречал ее в темном коридоре.

— Я хочу подняться на верхушку утеса, написать вид, — сказал он. — Давно имел такое намерение. — И прибавил: — Нам нужно немного поразмыслить. Я подымусь на гору, подумаю там как следует. Понимаете? Мы с вами увидимся… мы ведь поговорим еще — когда я вернусь?…

Она могла бы ответить: мне нету дела до того,

подыметесь вы на гору или останетесь тут. Но она была честна и сказала:

— Да, я буду ждать вас, смотреть на дорогу.

— Джулиана… — только и вымолвил он, — ах, Джулиана.

* * *

Мул оскользчивой поступью шел по камням. Дорога была мощеной, но весьма-таки негладкой: часть камней поднялась и торчала, как неровные зубы. Джанни вышагивал позади молча, с невозмутимым видом. Дорога под сенью каштанов вела все вверх и вверх, поначалу плавными кругами, затем сделалась еще более крутой и неровной и бросалась поворотами то вправо, то влево. Солнце подымалось. Из холодной тени мул выступал на белый ослепительный свет и нырял снова в тень. Жаркий камень страшно горяч, подумал Джошуа, а холодный — отменно холоден. Он слышал запах и того и другого камня, а еще — потного, теплого мохнатого мула и до глянца потертой старинной кожаной упряжи. Он внимательно взглядывал в даль — то назад, то вперед, — на реку, чье русло, прорезанное в камне, змеилось между могучими столпами Апеннин. Небо, такое итальянское, было в этот час ясно-белым и пустым, не мерца-

ло еще покуда ослепительно. Он знал из книг названия горных окрестностей: Либро Аперто (Открытая Книга), Прато-Фьорито (Узорчатый луг), Монте-Пеллегрино (Паломничья гора), эта последняя поросла серебристыми съедобными колючками, и жили на ней некогда отшельники, основавшие на том свое пропитание. Он, как и многие его современники, думал о горах с благоговением и любопытством, и лучше всех это чувство, мысли и настроение выразил Джон Рёскин, который увидел горы, пожалуй, так ясно, как никто другой, и провозгласил, что в ясности этого видения заключены истина, добродетель, настоящее искусство — нераздельные и неслиянные. Горы — кости земли, писал Рёскин. "Однако существует разница между тем, как существует земля и как существует живое создание: напрягаясь, конечности являют кости и сухожилия под одеждой плоти, земля же, действуя, вовсе сбрасывает плоть, и кости-горы выходят наружу". Повторяя эти слова Рёскина, Джошуа приметил, как под тонкой кожей работают подвижные суставы, узлы сухожилий у основания шеи мула, и тут же вспомнил, сначала умом, а потом уже и с живым чувством, как искал кость под круглой щекой Джулианы. Рёскин был геолог. Его

представления об идеальной живописи основывались на сложном анализе отношений воды и суши: как вода кроила и перекраивала сушу, сдвигая с места извечные холмы, как образовывались распады с их отвесными пропастями… Для юного Джошуа было подлинным откровением прочесть у Рёскина в "Современных художниках" о том, сколь юн еще интерес человечества к этим древним формам земной поверхности. Эллины воспринимали горы всего лишь как препятствие или помеху приключениям богов и героев; человек Средневековья в целом недолюбливал все дикое, необузданное, предпочитая порядок и возделанность, с удовольствием променяв дикие леса и мрачные утесы на веселые сады со шпалерами и беседками. Джон Рёскин восхитился бы — такими средневековыми — именами крутых возвышенностей, меж которых тащился на муле Джошуа: Открытая Книга, Узорчатый луг, Паломничья гора, — все они словно пришли в XIX век прямиком из Данте. Рёскин описал современное искусство пейзажа несколько уничижительно — как "служение серым тучам". Средневековый глаз купался в устойчивости, определенности, в небесном свечении, современные же люди словно упиваются сумерками, переменчивым

сумеречным светом. Наше время, язвил Рёскин, и Джошуа с радостным вниманием вслушался в эти слова, это и есть настоящий Темный век,[89] когда все вокруг словно подернуто копотью и над всеми красками господствует жженая умбра. Джошуа прежде не чувствовал глазом необходимости яркости и цвета, покуда не попал впервые сюда, на юг, — хотя ум его воспламенили еще раньше диатрибы Рёскина против викторианской уродливой тьмы, царившей во всем: в одежде, в манерах, в дымящих машинах и фабричных трубах, в грозовых тучах и сумеречных гротах на картинах…

Правда, вот недавно в Париже увидал он нечто, сулившее перемену, и речь была не о жажде яркости, но о новом взгляде на такие вещи, как устойчивость, определенность, на само свечение и свет. Это нечто, пожалуй, помогло бы ему верно написать мягкую волну розового шелкового платья Джулианы… он вспомнил об этом платье, когда дорога сделала еще один загиб и он вдруг снова узрел домики их деревни, но уже на склоне противоположной горы, державшиеся там будто чудом (так вцепляются, с половиной своих

[89] Примечания: 89

Темные века — историографический термин, относящийся к раннему Средневековью.

корней на воздухе, терновые кусты). Все дело в цветовом отношении кожи и шелковой ткани, у них очевидный родственный тон, но есть и независимый тон, их соединяющий: в розовом живет голубизна… она берется от жилки на запястье, на виске, на веке, такое еле уловимое голубое мерцание… тоненькие волоконца… Горячее седло шевельнулось под ним: мул вздохнул; вздохнул и человек. Джанни сказал: "Lucchio, unamezz'ora", значит до Луккьо еще полчаса хода. Белый раскаленный воздух отдавал синевой, все купалось в белом этом и синем свете…

* * *

Когда добрались до Луккьо, то оказалось что-то тревожное в том, как хватко и головокружительно столпились эти дома на склоне, мирно-белые среди утреннего зноя, но с пролегшими между ними глубокими холодными тенями, с наглухо закрытыми ставнями, с темной неизвестной жизнью за крепко запертыми дверьми. Дома стояли так, как могли быть поставлены, чтобы нашлась только опора их нижнему этажу или этажам, и нередко с разных сторон имели разную высоту стен. При многих домах были крошечные садики, не к горе обращенные, а в открытый пу-

стой воздух, и Джанни показал ему и тут и там, в двух местах: дитя, в чепчике, в накрахмаленном платьице, едва выучившееся ходить, бродит по садику на привязи — белая веревка из кусков полотна, один конец привязан вокруг пояса, а другой — к крюку у притолоки двери. Даже колокола были сняты с колокольни и лежали у церковных дверей в особых железных загородках, точно в клетке, в полной безопасности, подумал Джошуа, чтоб не раззвонились, ненароком не раскачали нависший над деревней каменный козырек горы.

Тут Джошуа расстался с Джанни и его мулами; вновь встретиться им предстояло на дороге, близ этих колоколов, примерно за час до заката. Он стал подыматься по извилистой тропе, которая вела прочь из деревни, еще выше, и миновал древний источник, к которому шли за водой босые деревенские девушки и отходили прочь, качая бедрами, с медными кувшинами на голове. Из этого источника он пополнил свою флягу, освежил лицо и шею. После чего направился дальше, еще выше. Над деревней стоял полуразрушенный за́мок, настоящая развалина, его толстая внешняя стена слилась в одно целое с окружающими скалами, внутренний двор завален дробленым

камнем да кирпичом. Он хотел было остановиться, зарисовать древнюю кладку, но по скором размышлении проследовал дальше ввысь. Он чувствовал острую необходимость побыть там, где людей не водилось. Его путь — круто ведущая вверх, то и дело ветвящаяся козья тропа — вился между белесыми отвесными стенами; из-под ноги срывался камешек, взметывался пыльный порошок. Ему нравилось ощущение трудного подъема, поступь у него пружинистая. Если получится подняться вполне высоко и оказаться на верной стороне, то можно будет с выигрышной точки сделать отменный набросок вида далекой деревни, где он гостит. Думал он попеременно то о Джулиане, то о Рёскине.

Рёскину Апеннины пришлись не по нраву: он находил их известняки слишком однообразными по тону, серыми, даже какими-то бесцветно-серыми, наводившими уныние. Рёскин уделил несколько страниц своей лирической, но точной прозы этому сумрачному оттенку, отметил, что как раз такой цвет, тлетворно-серый, Данте придал в "Аду" камню, в котором устроены ямы, куда ввергнуты грешники, и этот тон перекликается, едва ли не весело пишет Рёскин, с одеждами ангела Чистилища, которые были пепельного цвета,

или цвета раскопанной и высохшей земли. *Пепел*, в сознании итальянцев, говорит Рёскин, сидя у своего лондонского заправленного углем камина, это непременно *древесный пепел* — весьма бледный — и по оттенку схожий с цветом почвы, какой наблюдаем мы на подставленной солнцу, выпеченной стороне итальянских холмов, то есть с безжизненным, пыльно-беловатым серым цветом, гнетущим зрение и ум. Апеннинам Джон Рёскин предпочитал Альпы — по-настоящему высокие, трудные для лазанья, мужественные горы, изукрашенные зелеными мхами, своим сложным и тонким великолепием ввергающие душу в восторг. В Альпах Джошуа не доводилось бывать, но здешние горы, пускай и не столь высокие, он находил прекрасными, отнюдь не гнетущими, а мелистую их серость — не унылой, а любопытной в живописном отношении. Разве не сам Рёскин сказал, что великие художники — это те, кто никогда ничто из созданного Богом не воспринимали как ничтожное и недостойное кисти? И если Рёскин почему-то рассудил, что Апеннины не слишком достойны внимания, как низшее творение, то он, Джошуа, основываясь на принципах самого же учителя, не готов был Апеннинами пренебречь. Если бы удалось ему

отыскать способ отобразить живое впечатление от всей этой пеплистой белизны, этих пятнистых, красноватых выходов железа на поверхность камня, и от того, как одно каменное тело не сливается с прочими, как хитроумно зацеплены за тонкую почву корни редких, словно изваянных ветром деревьев, он был бы доволен вполне. И если б отыскалось верхнее выигрышное место, откуда можно "сделать этюд" с дальней деревней… И конечно, разделяя горячий призыв своего наставника — познавать естественную форму вещей в природе, — он примется в точности зарисовывать камни и скудные, незатейливые кустарники вокруг.

Подходящее место отыскал он удачно, вовремя — довольно широкую каменную полку над огромной расселиной, рассеченной надвое высокой остроугольной тенью, тень эта сужалась все более по мере того, как солнце выше и выше заползало в зенит. Здесь можно угнездиться наподобие орла, подумал он. Отсюда хорошо видна на склоне противоположной горы деревня, она лежит чуть ниже прямого взгляда и обнимает собой, как пестрым легким веночком, часть горного конуса, а рамку для всего этого вида представляет фантастическое нагромождение

острых скал, нацеленных ввысь, точно огромные раскаленные перевернутые сосульки, белесые на избела-голубом небе. Все эти формы были причудливы, непостижимы уму, прочнейшие и вместе воздушные, изящные, точно иголки, в них чудилось нечто от легкого кружева, наброшенного как бы сетью на пустоту, но притом они были каменная плоть от плоти земли. Он извлек свой особый стаканчик и налил воды для акварели, расположил рядом поудобнее масляные краски, цветные мелки, карандаши и сделался полностью поглощен преобразованием предполагаемых расстояний в условные размеры и тоны на листе бумаги. Задача заключалась в том, чтобы этот начисто выбеленный мир костей земли передать с помощью тени, вылепить из света и тени целое ослепительное мироздание. Вначале он пустил в ход карандаш и водяные сквозистые краски. Рёскин говорил: "Что у нас в распоряжении? Самые ярко освещенные места мы можем изобразить лишь белой бумагой, как она есть; но ведь и самая глубокая, отдаленная тень — это видимо-подсвеченная поверхность, рефлекс. Как же нам протиснуться в эти узкие воротца, перехитрить природу, для которой свет — это солнце, а темь — его отсутствие?" Джошуа

боролся с этим ограничением как мог, будучи ослеплен столь ярким солнечным светом, что ему трудно было судить даже о яркости поверхности его собственной бумаги. Он чувствовал себя несчастным: его усилия обретали ясность, но на бумаге возникало лишь свидетельство его неспособности постичь и создать единое целое. И в то же время он пребывал в каком-то упоении: совершенно не сознавая самого себя, ощущал зато все горные породы, солнечный свет и зримый пустой воздух, сделался их частью, сперва на какие-то мгновения, а затем и безвременно, так что видимые и чуемые им природные сущности словно текли в его жилах вместе с кровью, чтобы все это длилось дальше.

В какой-то миг он вдруг ужасно проголодался и вытащил из заплечного мешка промаслившиеся, но от этого не менее приятные свертки с хлебом, мясом, яйцами, сыром. Поглотил все это в каком-то изнеможении, точно жизнь его находилась в опасности, а потом завернул и спрятал аккуратно в мешок кости цыпленка и яичные скорлупки, ведь кто, как не сам Рёскин, сетовал, что современный человек поднимается на гору не поститься, а пировать, и на девственном леднике норовит оставить косточки да скорлупки.

Ему представилось, будто он рвал свою пищу, как молодой орел на уступе скалы. Он обтер пальцы, и подлил немного воды в стаканчик для работы, и вспомнил Джулиану, как-то смутно и издалёка, она была мягким комочком в уголке сознания, теплом, к которому он вернется, когда вернется в себя. Джулиане он не нанесет вреда, ни за что… Позади камня, который избрал он сиденьем, валялись побелевшие остатки еще чьей-то трапезы: косточки крыла, лапка, маленький треугольный остроконечный череп, раковины от больших улиток, пробитые и промятые. Он тут же проворно сделал акварельный набросок: самыми любопытными ему показались оттенки белого, кремового, серого — кость, раковина, камень. И тени. Особенно доволен он был тем, как удалась ему раковина улитки: неповрежденный арочный лаз в домик, а через проломленную крышу виден затейливо-спиральный жемчужный проход. Эти малые малости занимали на бумаге столько же места, сколько горы. И тени их были ничуть не менее затейливыми, хотя и в другом роде.

* * *

Когда же он снова взглянул внимательно окрест, то увидал, что изменился самый воздух.

Вблизи воздух клубился; вдали, на горизонте, росла белая туча и словно проворно перебрасывала длинные руки с пика на пик, под этими руками прокладывались толстые лежевесные черные тени, и непонятно, как может быть такое: небо ведь только что светилось там чистым, ровно-ярким светом. Он решительно сказал себе, что зарисует это внезапное и стремительное наступление: вот туча нависает над горным промежутком, точно приглядывается, примеряется к нему, и не успеешь вздохнуть, как она его уже окутывает, поглощает. Задул резкий, порывами ветер, захлопал страницами альбома для рисования. Потемнело извилистое русло реки, и сразу стихли звуки, прежде долетавшие оттуда, но еле им замечавшиеся, — стрекот и жужжание насекомых, птичий голос…

То, что потрясло его в Париже, то, что — он знал наверное — изменит его представления о живописи, было большое полотно месье Моне "Ветёй в тумане", изображавшее именно туман, туманную дымку. Картину отверг некий покупатель, потому что якобы на холсте не довольно красок. В ней не было ясности, определенности. Она была смутная, и все письмо ее состояло, пожалуй что, в легком вращении и мерцании света

на занавесе из белесых частичек воды, сквозь который едва угадывались очертания зданий маленького городка — несколько синевато-серых вертикальных мазков да невнятный жемчужный треугольник, не то крыша, не то шпиль, толком не разобрать. Но при этом неким чудесным образом понятно, что если б удалось как следует различить здания, то в водах реки — в нижней части полотна — находилось бы их отражение, которого, впрочем, тоже не разглядеть. Месье Моне нашел решение задачи, заданной Рёскином: как написать свет, ежели растяжка цветов столь мала? Моне уловил свет в силки на картинной плоскости, сделал свет главным предметом, так что красочная поверхность стала светозарной; он писал не постигнутую умом вещь, а вещь чувственно осязаемую. Вот и я тоже, подумал Джошуа, когда первые тонкие аванпосты тумана начали достигать его насеста, желаю запечатлеть, как движутся и расточаются эти пелёна. Сквозь туманную дымку он различил, как в долине напротив будто набежали или отвесно западали темные лоснящиеся копья ненастного войска, то надвигалась гроза с градом. Скорость ее приближения была великолепна. Он лишь сделал мгновенный чертежик в альбоме: камен-

ные вертикали одеты как бы в руно; туманные слои разной густоты и толщины; а гнездо уж наполнял белый пар. Теперь бы скорее все собрать, спрятать, пока не настало… иначе работа насмарку. А гроза уже была здесь, нанесла один свой яростный удар, выстрел ветра в лицо. В непроницаемой белой тьме, под ледяными пулями, он зыбко качнулся, ступил в сторону, вытянул руку, взмахнул ею, сделал неверный шаг, зачем-то продолжая думать о Рёскине и Моне, — и упал вниз. И все было кончено. Был, правда, один миг или два, невообразимых, когда с диким приливом крови он судорожно вцепился в пустоту, глотая бесполезный воздух, но череп уже размозжился о камни, испустив частицы теплого сознания, заветные мысли и чаяния.

* * *

На вилле "Коломба" меж тем порадовались толстым стенам и маленьким оконцам. Сад исхлестан был ветром и градом, цветы распластаны по земле; белая тьма была непроницаемой. Длилось же все это лишь десять минут, самое большее — четверть часа. Потом дети выскочили во внутренний двор и прибежали назад, крича, что это похоже на чертоги Аладдина. Сорванная ветром

зелень устилала все дивным ковром, и блестели на нем чудесные камни. Листья каштанов, яркие от влаги, изрезаны были вдоль и поперек этими непомерными градинами, каждая с лесной орех. Артур и Гвендолен скакали по двору, набирали полные пригоршни и подбрасывали в воздух, крича: "Смотрите, наши алмазы!" Прочный, знакомый, терпеливый пейзаж словно заулыбался в новом, промытом солнечном свете. Джулиана вышла к брату и сестрице, посмотрела на дальние скалы и утесы, все еще одетые саваном тумана, и тоже наполнила ладони алмазами, холодными, мокрыми, мерцающими, пробегавшими сквозь жадные пальцы.

* * *

Сарианна Браунинг получила письмо и сама написала письмо. Оба письма шли довольно долго, так как погода после первых этих гроз изрядно ухудшилась, мулы не могли ни сойти вниз с виллы "Коломба", ни подняться в горную прохладную гостиницу-обитель. Ливни метались между улыбающимися макушками гор; сверкали и трещали молнии; дороги превратились в речки; Роберт жаловался на внутреннюю мучительную боль, которая могла быть ревматической либо

печеночной. Открытый ею конверт и письмо были влажные и мягкие. Сразу бросилось в глаза: "...ужасный несчастный случай... взят от нас в цвете юных лет... уповаем, что ныне пребывает со своим Создателем... наше чувство вины перед отцом его и матерью ужасно... вилла "Коломба" отныне невыносима для нас... надеемся, что Вы поймете чувства наши и примете наши извинения и глубочайшее сожаление... знаем, что мистер Браунинг навряд ли пожелает посетить нас во Флоренции, однако мы были бы чрезвычайно..."

Сарианна написала письмо миссис Бронсон: "Ужаснейший несчастный случай... уповаем, что ныне пребывает со своим Создателем... Роберт чувствует себя не лучшим образом... погода неустойчива... надеемся вскорости направиться к вам в Венецию, ибо о Флоренции не может быть речи..."

* * *

Небо было синевато-серым, словно сланец. Поэт находился в этой приятной комнате, будто в неволе. Вода широкими струями сбегала по окнам, собиралась на балконе. Он думал о других смертях. Пять лет тому назад он собирался взойти

на некую гору с некой женщиной, почтившей его дружбой; после утреннего купания, бодрый и сильный, он явился к ней, чтобы пробудить ото сна. Она оказалась на балконе, он увидал ее сквозь оконное стекло: она стояла на коленях, но неестественно, неподвижно, склонив голову к полу. Она не успела еще остыть, когда он вошел на балкон и подхватил ее. Вспоминая об этом нынче, он вновь ощутил живое тепло ее мертвого тела и содрогнулся. Все же тогда он поднялся на гору, без нее, и вскоре сочинил длинное, строк в шестьсот, стихотворение,[90] в котором, словно карабкаясь к трудным ответам, вопрошал на разные лады: переживает ли наша душа тело? остается ли что-то после нашей смерти? что же происходит с божественным, осуществленным в человеке? Сочиняя его, он наполовину стыдился своей вновь утвержденной жизненной силы и вместе упивался (как себе заранее и назначил) новыми ощущениями — высоты, разреженного горного воздуха, — да и самим успешным восхождением... С погибшим юношей он не был знаком. Но воображение его мгновенно полетело туда, в Апеннины, и составило образ, на котором

---

[90] Примечания: 90
"Ла-Сезья" (1877).

оттиснуло свою собственную печать, печать стремления к недостижимому: этот юноша, верно, тоже жаждал постичь нечто невозможное, ради того и поднялся высоко в горы! Стремленье сверх постижного — вот суть. Не это ли назначено нам Небом?...[91] Впрочем, как знать: юноша мог оказаться и вполне заурядным, без честолюбивых упований. Дело в том, что горы, высота у него самого всегда были связаны с мыслью о стремлении, пусть порой и обреченном: все мы в этой жизни обречены, по-другому и не должно быть. За ужином миссис Миллер спросила его, не напишет ли он стихи о случившейся трагедии, тем самым неся утешенье родителям, лишившимся единственного сына. Нет, сказал он, зачем бы это? И пояснил: так не делают воспитанные люди. Даже величайшие трагедии в его собственной жизни редко подвигали его на сочинение. Они лишали его дара слова. Как вообще можно механически заставить себя писать, если стих имеет цену лишь тогда, когда вдруг изливается потоком? Еще бы он, наверное, сравнил начатки стихов с птицами, что сидят, долго дремлют на случайных ветках, насестах фактов, а потом вдруг

[91] Примечания: 91

Роберт Браунинг, поэма "Андреа дель Сарто по прозванию "безупречный живописец"", строки 97–98 (из книги "Мужчины и женщины", 1855).

негаданно срываются и летят к нему сквозь годы. Конечно, он не хочет сказать, будто эта трагедия, как любая другая, не производит влияния на ум его и сердце, на смысл его строк… И он принялся — рассеянно, думая о своем — объяснять, как объяснял уже не раз и как не раз еще будет объяснять: в стихах у него все перемешано. Вот, например, через год, в 1883 году: у мисс Тины Рокфорт-Смит[92] от искры в корзинке с шитьем вспыхнут юбки, а он почему-то вспомнит и про молодого художника, погибшего в горах, и про собственного сына-художника, чьи скульптуры обнаженного тела вызывают ярость у моралисток вроде миссис Миллер; да и про шляпу миссис Миллер вспомнит тоже… Положительно, дремлет стихотворение в том, как неотвязна и вместе бесчувственна эта миссис Миллер в своей шляпе, варварски украшенной крыльями убиенных невинных птах; в том, как любовь и искусство живут, беззащитные перед любой напастью. В голову ему пришли строки:

…"Но чем же это вы,

---

[92] Примечания: 92

Тина Рокфорт-Смит (1861–1883) — молодой шекспировед, готовила к изданию новаторское текстологическое издание четырех вариантов "Гамлета"; скончалась от ожогов.

Сударыня (пардон, прервал!), убрали
Всю эту вашу шляпу для молвы?" —
"Вам нравится? Мне крылья диких птиц
сыскали..."[93]

Да. "Одета в крылья убиенных..."[94] Именно так и написать!.. Волна темного раздражения отхлынула. Он вновь улыбался с вежливым воодушевлением...

* * *

Женщина сидит у широкого окна... Исследователь, переворачивая бурые листки, обнаруживает письмо, которое она получит. Поначалу в этом сюжете, который складывается в его воображении, возникает надежда на встречу. Поэт с сестрою не поедут дальше на юг, в Апеннины, а повернут на север, в Венецию. Но, увы, тому не бывать. Следующие письма: "...проливные дожди в Болонье... боли у Роберта усилились... надобно прибегнуть к совету врача... дороги сделались непроезжими... с глубоким сожалением, как ни

---

[93] Примечания: 93

"Дама и художник" (из последней прижизненной книги стихотворений Браунинга "Асоландо", 1889).

[94] Примечания: 94

Там же.

боимся Вас огорчить, да мы и сами огорчены сверх меры... вынуждены вернуться в Лондон". Возможность встречи развеялась. Не расцвела любовь гипотетическая. В следующем году, впрочем, все обстоит лучше. Поэт вновь приезжает в Венецию, в гостиной дамы знакомится с претендентом на французский и испанский троны, беседует с ним о том, кто же таков был Железная Маска. Гуляет по Лидо, бесстрашно подвергая себя воздействию морского тумана, ветра с Адриатики, читает надписи на тамошних кладбищенских плитах, целует ручки, делает замечание о венецианских чайках...

...Тетушка Джулиана сохранила затиснутый меж страниц семейной Библии занятный карандашный портрет юной девушки, неоконченный: один ее глаз, живой, смотрел на мир, второй же был выпуклый, невидящий овал, какой бывает у изваяний ангелов при соборе.

Сахарное дело[95]

Vom Vater hab’ ich die Statur,
des Lebens ernstes Führen,
vom Mütterchen die Frohnatur
und Lust zu fabulieren.

Urahnherr war der Schönsten hold,
das spukt so hin und wieder;
Uhrahnfrau liebte Schmuck und Gold,
das zuckt wohl durch die Glieder.

Sind nun die Elemente nicht
aus dem Komplex zu trennen,
was ist denn an dem ganzen Wicht

---

[95] Примечания: 95
Перевод О. Исаевой

Original zu nennen?[96]

Goethe

Моя мать почитала правду, но правдива не была. Однажды с дрожащими губами, остро всматриваясь мне в лицо, она сказала:

— Твой отец говорит, я все время лгу. Но это же не так? Я не лгу.

— Конечно нет.

Я, по обычаю, подыграла ей, опасаясь скандала. Было тут, правда, и еще кое-что: всем нам смутно хотелось помочь ей, хотелось, чтобы все было так, как она говорит.

Но она лгала, конечно. В малом, запудривая былой конфуз, и в большом, спроваживая с глаз непереносимую правду. В редкие минуты умиротворения сочиняла красиво и пышно, чтобы

---

[96] Примечания: 96

Я, от отца сложенье взяв,
К высокой жизни рвенье,
От матушки взял ясный нрав,
Охоту к сочиненьям.

Прелестниц дед любил, и я
Замечен в том отчасти.
Франтила бабушка моя,
И я к тому пристрастен.

Сколь многое слилось во мне,

Смешалось без изъятья!
Я сам не знаю, что вполне
Своим могу назвать я.

(Гёте, перев. О. Исаевой)

расцветить какую-нибудь историю. Иногда рассказывала смешное — увлекшись, захлебывалась воздухом, а у нас захватывало дух. Она часто пересаливала, но, когда бывала в ударе, мы исходили слезами от безудержного смеха. Впрочем, были и другие истории — под конец только они и были, когда мы навещали ее, — однообразные, ядовитые, сумбурные жалобы, в которых сгущались ложные доказательства небывших злодейств. Но я взялась писать не об этом. Я хочу написать о своем деде. О деде с отцовской стороны, которого почти не знала и о котором сегодня знаю так мало.

Когда умирал отец, я как-то вошла к нему в палату, он сел повыше, оперся на подушки, и из его лица на меня глянул дед. До того дня мне не приходило в голову, что они похожи. Отец был красив, очень по-английски красив: голубоглазый, белокожий, с золото-рыжими волосами. Они медленно теряли свой огнистый цвет, переходя в ржавчину и наконец в белизну. Когда он умирал, у него их было еще много — серебряных, живых, парящих облаком. У него был широкий, прямой, решительный рот… Вот эти слова, но они не передают его.

Его отца, моего деда, я помню уже совершен-

но лысым, с мясистыми щеками и полным, капризным ртом. Увидав его в отце, я впервые задумалась: не был ли и он в свое время рыж? Он произвел на свет шестерых детей, из которых отец был младшим и которые все имели эти пламенные волосы. Бабушка, я почти уверена, была темной шатенкой. Я не сказала отцу об этом сходстве — частью потому, что оно пропало, когда он заговорил, а частью потому, что оно казалось мне нелестным: в раннем моем детстве дед был несимпатичен, тучен и стар. В те годы, в войну, старики были стариками, отдельным сословием. Отец никогда не казался мне старым, как дед, хотя умер в семьдесят семь. Дед проглянул в нем, когда ему оставалось жить около трех месяцев. Он тогда попал в больницу в Амстердаме. Больница была очень чистая, очень правильная, полная глубоко бережных докторов и сестер, которые говорили по-английски лучше, чем говорят у нас в клиниках. Отцу претило, что он от них зависит, они это видели и держались подчеркнуто уважительно. Все несколько недель, что он там лежал, мы — сестры, брат и я — ходили к нему. Часы посещения были долгие — с обеда до вечера, и почти все это время, почти каждый день, отец говорил с нами. Всю жизнь я обижалась, что он

никогда с нами не говорил. Он работал — мерно и пристально, помногу часов, часто уезжал в командировки. Маленькой я его не видела: он был летчиком, воевал на Средиземном море. Его вызвали с Нюрнбергского процесса к деду, лежавшему на смертном одре, — так, по крайней мере, всегда рассказывала мать. Что он делал в Нюрнберге, если был там вообще, я не знаю и вообразить не могу. В Амстердаме он впервые в жизни заговорил о своем отце, о матери, о детстве. Не знаю, понимал ли он, как много у нас было несказанного. Молчаливый, он не был ни холоден, ни замкнут — не в том смысле замкнут, по крайней мере, что возникает с первого прочтения.

Он был судьей. Говоря об отце, я в этом слове слышу не стремление судить и осуждать, а с юности привитую неколебимую веру в силу факта, в правду, в справедливость. Когда он давал чему-то нравственную оценку, видно было, что он человек своего поколения, своего времени, своей среды. Хороший человек, настоящий йоркширец, всю жизнь над собой работавший, сознающий — в основном вчуже — классовую механику: условности, отверженность низших. Социалист, потом социал-демократ, под конец

жизни пришедший к квакерству. Я уважала его убеждения, я разделяю большинство из них, я его дочь. Но еще больше я уважала в нем эту тягу к точности — отвлеченную потребность, что лежит для меня в основе нравственности. В основе нравственности лежит любовь, скажете вы. Но мы были очень зажатые люди. Даже мать — с ее словесным буйством, с ее фантазиями, с неудобной откровенностью и едким неистощимым гневом, — даже мать была в этом смысле глубоко скованна. Мы не умели говорить о любви, зато о правде — о правде мы говорить умели. И в те амстердамские недели отец смотрел на происходящее с ним через призму факта. Только однажды, уже к концу, он немного пошатнулся: ожесточенно стал доказывать, что "доброкачественный" и "злокачественный" — неточные термины: "Любая опухоль злокачественная — если болит и растет за твой счет".

Он понимал, что подтасовывает, и глаза его говорили, что это все пустое. Дед умер от рака простаты — опять-таки если верить матери. Во время этого неожиданного экскурса в семантику отец сказал, как само собой разумеющееся (я об этом не знала), что, когда несколько лет назад ему самому "вырезали ту опухоль" из простаты, в

эпикризе было сказано: "доброкачественная". "А что, собственно, значит доброкачественная?" — спросил он, запутывая себя сознательно и хитро, поглядывая на меня: верю ли. Это было уже в Лондоне. Думаю, ему сказали, сколько ему оставалось. Всего-то три недели, но я была убеждена, да и он вполне мог думать, что впереди еще много, несколько месяцев, может, год. Запутывая нас обоих, он оберегал и меня. Он много думал о том, как умер его отец. Однажды он сказал мне — сейчас я почти уверена, что именно он, а не мать, — что дед перед смертью очень страдал. Но умер отец не от рака простаты и даже, сколько мы можем судить, не от агрессивной лимфомы, о которой никто не догадывался. Ее выявили голландские врачи, когда он попал к ним в кардиоблок, — рухнул в аэропорту Скипхол с приступом ишемии, о которой ему было прекрасно известно. Болями, как дед, он не мучился.

* * *

Обстоятельства дедовой смерти были одним из главных предметов родительских споров в последние, тяжелые годы. Один такой спор, надо думать, и завершился прямым обвинением во лжи, которое столь задело мать. Она ведь утвер-

ждала, что все время была при деде, говорила так, словно и в минуту смерти была рядом с ним. Подробности его кончины, семейные бури и интриги, несправедливости в завещании, устраненные лишь спешным возвращением нашего отца-законника, — все это были лучшие ее истории. Из них сложилось мое робкое ощущение собственного истока — из этой мелодрамы в духе Диккенса, где мать выступала добросердой и деятельной очевидицей, а отец — трезвомыслящим героем. Я нарисовала себе эту сцену, черпая в основном из викторианских романов и немного из полумладенческих воспоминаний о дедовом доме — огромном, холодном, сумрачном, натертом полиролью и угласто-неуютном. В моем воображении разливался густой свет, подкрашенный жженой умброй. Разные прилагающиеся фигуры были все в крахмальных чепцах с оборкой и белых передниках поверх черных шерстяных платьев. На шкафчике возле кровати стоял графин и стакан тонко травленного стекла, а на горе перин и подушек в последней дреме лежал мой иссохший лысый дед, сморенный морфием и смертной усталостью. Бурый свет плавал в воздухе, как тяжелая пыль. Не знаю, почему все рисовалось мне именно так, в этом не

было влияния матери, хотя в основе неустранимо пребывал ее рассказ. В последние годы отец все упрямей и злей настаивал, что рассказ этот — выдумка, что с дедом был он один, а мать держалась подальше. Он вспоминал ее поступки при других семейных бедах, и факты были на его стороне. Моя мать до паники боялась соприкоснуться с горем и страданием. Она сумела пропустить смерть собственной матери, она не пришла на похороны внука. Она не приехала и в Амстердам, сделав вид, что все это — временное и нелепое неудобство. Не знаю, что она думала в глубине души. В любом случае, мысля логически, я почти во всем склонялась к версии отца. Дело в том, что в Амстердаме я обнаружила: мне нужен образ прошлого, образ давно умерших деда и бабушки, а тот, что у меня был, тот, что вырастал из материнских историй, доверия не вызывал, поскольку имел мало общего с истиной и жизнью. Впрочем, ясно было и то, что в последние недели отец стремился, великодушно и справедливо, создать новый образ деда, на которого в свое время восстал, что дорого обошлось обоим. Значит, и он тоже был небеспристрастен.

Пожалуй, я запишу сейчас мифы, возникшие из рассказов матери об отцовой семье. В них зву-

чит ее вечная неуверенность: она ведь до самой смерти не знала, приняла ли ее в итоге мужнина родня. На них наложился ее собственный миф — самый утешительный, самый ей нужный — о том, что для отца она стала воплощением нормальной людской жизни, тепла и простоты, которых не было в дедовом доме с его холодом и вычурными страстями. Маленькой девочкой я верила безусловно тому, что мне говорили, и этому мифу тоже, хоть и жила месяцами у сварливой бабушки по матери, хоть и была ежедневной свидетельницей материнских припадков ярости и тоски.

Образ отцовой семьи, жившей в Конисборо, получился у нее скудный и противоречивый. Она любила перебирать одни и те же показательные сюжеты: странный случай с чайником, мой первый, младенческий приезд в зимний и темный дедов Блайт-Хаус, никогда ею толком не объясненное равнодушие или даже пренебрежение отцовой родни, когда они решили пожениться. Тут она сбивалась, и выходило по-разному: дед то приезжал на свадьбу на полчаса, то не приезжал вовсе. Ее чем-то очень обидели, а когда ей бывало больно, рассказ начинал плутать, иное предложение не дотягивало до глагола и умира-

ло, вопросительно приподняв последнее слово. В истории про свадьбу героем был ее отец, простой рабочий, рыжеусый добряк, душа нараспашку, — вот кто повел себя достойно. Как я понимаю, его тоже тогда чем-то задели. Этого деда я помню хорошо — он единственный во всей родне умел со вкусом хохотать, любил розыгрыши и не жаловал воздержанных тихонь. С ним было весело и страшновато. Он страстно хотел, чтобы из дочерей вышел толк, правда в практическом смысле, и порой жалел, что Бог не дал ему сына, деятельного и с технической жилкой.

Главной фигурой в конисборском доме был, пожалуй, мой дед, которого мать подавала как викторианского деспота, глухого к чувствам жены и детей, одержимого своим делом, состоявшим в производстве и продаже карамели. По ее выходило, что детьми он не занимался вовсе: всем шестерым попросту надлежало в свое время влиться в предприятие, которое заменит им жизнь. Бабушку, истую методистку, родители в один голос называли святой. Мать порядком перед ней трепетала, хоть и прохаживалась насчет ее безалаберного хозяйства и вообще давала понять, что со временем они стали чуть ли не задушевными подругами. Бабушкин первенец,

дядя Барнет, родился калекой и все двадцать девять лет жизни провел в инвалидном кресле. Бабушка, по словам матери, посвятила себя беспомощному сыну, "сама за ним ходила", сама катала, перекладывала, меняла исподнее, даже когда сил уже не было. Из этого мы должны были сделать вывод, что остальные были заброшены и "росли как трава". А еще, говорила мать, они все были творческие натуры, невероятно одаренные, умные, полные сил, и всем, кроме отца, крылья подрезал дед, неспособный понять пользу образования и прелесть бытия, посвященного чему-либо, кроме превращения сахара в карамель. Всех их отдали в местную среднюю школу — там на приемных экзаменах и встретились мои родители, — забрали после обязательного срока, обеспечили им "все материальные блага" и приставили к плавлению сахара.

Барнет, Артур, Глэдис, Сильвия, Люси и Фредди, мой отец. Всех, кроме Барнета и Сильвии, я видела, но очень коротко. Они не стали частью моей жизни, только частью историй, четких картинок, которые если что и объединяет, то лишь яростная энергия, неукротимый пыл, задушенные и растраченные впустую. Артур, которого я видела, ассоциируется у меня с толстыми коврами и

клюшками для гольфа. Артур из материнского мифа любил искушать судьбу, был первоклассным пилотом, гонял на скоростном мотоцикле по дорогам острова Мэн, в Первую мировую пошел добровольцем в авиацию и летал стрелком. Однажды он облетел круглую полуразвалившуюся башню замка Конисборо, что в моих фантазиях была видна с верхнего этажа Блайт-Хауса. Вот он с ревом проносится в небе, и кружит, и ныряет, и пишет петли, а снизу на него глядят рыжеволосые братья и сестры, завидуя скорости и недолгой свободе. Сверх этого я знаю, лишь как он умер, — редкая история, услышанная от отца. Артур пережил инфаркт, решил без всяких на то оснований, что у него нераспознанный рак и жить осталось недолго. Запоздало он снова бросился искушать судьбу, чем приблизил второй инфаркт — на сей раз за рулем, — и разбился насмерть, врезавшись сзади в стоящий автобус.

"Вино, женщины и песни", — мрачно резюмировал отец, частью поражаясь этой неспособности здраво оценить факты, а частью завидуя размаху безрассудства. И все же оторваться от Конисборо и карамели Артур не смог. Он помнится мне рыжим, плотным и грубоватым. Помню еще сходство с дедом.

Глэдис рано вышла замуж — "пришлось", говорила мать. Вышла за шахтера и, не дрогнув, развелась с ним, как только миновала нужда в законном супруге. Мать явно не любила Глэдис и редко о ней говорила. Не помню, сколько мне было, когда она сообщила мне эти крохи, но я уже прочла несколько вещей Лоуренса и с замершим сердцем проследила страдания Джейн Эйр. Словом, лет мне было достаточно, чтобы вообразить рыжеволосую девушку в длинной саржевой юбке, такую смелую и такую испуганную, бегущую полем, ныряющую за изгороди, пробирающуюся туда, где ждет ее тайная и выспренняя страсть. Я вижу сложенную насухо каменную изгородь и иссера-зеленую, чуть припорошенную шахтенной пылью йоркширскую траву. Мое воображение, правда, споткнулось, не сумев увязать эту девушку и стареющую полубезумную тетю, коротко возникшую в Шеффилде в мои тринадцать и одарившую нас двумя великанскими куклами в коробках с целлофановой крышкой — розовощекими, с губами бутончиком и в кружевных рюшах. Еще она привезла нам роскошный и разнообразный маникюрный набор в мягком чехле из красной кожи. Мать дала Глэдис хорошенько прочувствовать, как нежеланен ее мимолетный

визит, и та нас больше не посещала. Мать, надо сказать, не терпела никаких, хоть бы и дружеских, вторжений в свой тщательно охраняемый, беспощадный уют. Помню, как они сидели за чаем по углам обеденного стола и мать едко поджимала губы. Тетя Глэдис распространяла вокруг себя какую-то тревогу. Это была импозантная женщина. На голове у нее было что-то странное, что я — должно быть, фантазируя — воспроизвожу сегодня как ярко-лиловый шелковый тюрбан, а под ним — буйное облако жестких рыжих волос. Ее умные, очень бледные голубые глаза сидели близко по сторонам крупного орлиного носа. Мать подливала чай и откровенно ждала, когда гостья начнет прощаться. Тетя заводила дерганые речи о том и об этом, но все они иссякали на середине. Движения ее были отрывисты и неловки. Когда она ушла, мать с острой накопившейся неприязнью прошлась по ее подаркам: глупо, безвкусно, кому нужны эти безумные траты. Только в этом году младшая сестра призналась мне, что куклы ей показались тогда чудесными, просто волшебными. Потом тетя Глэдис несколько лет жила в доме на колесах, прилепившемся над морем где-то в Северном Йоркшире. Помню, как испугался отец, когда по радио передали,

что там смыло часть утесов — наверное, большими штормами 1953 года. Еще помню, как он ездил к ней на север улаживать неприятности: повздорив с соседом, она чуть не проткнула его вилами. Она была, как выражалась мать, "абсолютно ненормальная". И конечно, умерла в сумасшедшем доме. Отец навещал ее там в последние годы, говорил, что она его не узнает. Он, кажется, и не рассказывал мне о ней, пока не настало это ее обезличенное время: "Смотришь и думаешь: к чему тогда это все?" А меня, вопреки фактам, ее история волновала и что-то обещала в будущем. Когда я впервые услышала о Глэдис, я боялась всего "нормального" и респектабельного, этого неизбывного гладкого быта, который мать, сквозь ярость и отвращение, называла счастьем и за который требовала с нас платы.

Двое дедовых младших детей решились на продуманный бунт и побег. Любимая история матери (за исключением истории про чайник) повествовала как раз об отцовом отделении. Сама-то она — девочка из рабочей семьи, из домишки с уборной во дворе, но зато окрыленная поддержкой отца — выиграла какую-то небывалую стипендию для учебы в Кембридже на факультете английской филологии. Что она

чувствовала, отправляясь туда? Думаю, легкую головную лихорадку честолюбивой умницы и неизъяснимый страх перед новой, высшей средой. Ее Кембридж был смесью небесного рая и сада Червонной королевы[97] с его чередой произвольных препон и унижений. Она до самой смерти переживала тогдашние промахи, которые осознала лишь позже. Раз в год, а то и чаще ей снилось, что ее без предупреждения заставляют пересдать выпускные экзамены, что она провалится и ее разоблачат. Отец единственный в выпускном классе обошел ее по оценкам — она это признавала, — но дед внезапно забрал его из школы и сделал коммивояжером при карамельном деле. Мать говорила, что это был для него черный период, что он весь высох и несколько раз пугал бабушку: падал в обморок в ведро с углем. "Падал в ведро" — пример материнского стиля. Маленькой я отчетливо представляла его в этом грязном ведре, как он лежит, словно выброшенный мертвый корень, втянув, на манер телескопа, раздвижные бледные члены. Сейчас то я понимаю, что он, скорей всего, наклонялся поднять ведро и кровь приливала ему к голове.

---

[97] Примечания: 97
Имеется в виду героиня сказки Л. Кэрролла "Алиса в Стране чудес".

Я точно знала, где оно стояло в Блайт-Хаусе. На пороге между кухней и погребом, чья темная дверь вела в жуткий мрак, которого я тревожно сторонилась. Мне было тогда, наверное, три года. Ведро не могло, конечно, там стоять, но для меня две эти черноты связаны страхом неостановимого падения. По словам матери, отец никогда потом об этом времени не говорил. Впрочем, в Амстердаме он кое-что рассказывал, словно извиняясь перед кем-то незримо присутствующим за крупный урон, причиненный его тоской и вероломством. Ведь втайне от отца он продолжал заниматься, говорила мать, в одиночку готовился к вступительным в Кембридж на факультет права и жил как нищий, экономя каждый пенни из своих карманных денег ("зарплаты", как он выразился сам). Наконец он выиграл стипендию. Тогда он пришел к деду и сказал, что накопил достаточно на первый год в Кембридже, куда и отправляется, поскольку всегда этого хотел.

Конец истории всегда меня озадачивал. Дед якобы преисполнился гордости, просиял и "бросился на шею твоему отцу" (движение маловероятное для его плотного и тугоподвижного корпуса). Фраза, я думаю, навеяна покаянным возвращением блудного сына, но тут у матери вышла путаница,

ибо гипотетические объятия деда предназначались сыну восставшему и дом покидающему. Так или иначе, дед тут же положил на его счет тысячу фунтов, чтобы он жил в Кембридже, ни в чем не нуждаясь. Собственных дедовых слов, сказанных тогда, мать не запомнила, и этот эпизод, отменно поданный в смысле драматизма, оставил меня гадать, какова была истинная природа деда, его несосветимой жесткости и неспособности его детей что-то до него донести. Почему им не приходило в голову, что, может быть, он обрадуется их независимости, будет ими гордиться? Может, он был вспыльчив? Своенравен? Упрям? Пытались ли они говорить с ним о своих желаниях и надеждах? Или от моей святой бабушки они унаследовали самоотречение и покорность, что исключало любую такую беседу? Каков же он был? Грозен? Гневлив? Холоден или чувствителен? Никто мне не рассказывал, я ничего о нем не знаю. Отец однажды заметил: "Он хотел нам добра — в своем понимании. Он ведь не мыслил за рамками своего дела". Откуда же тогда они взялись, стремления и страсти его потомства? Дед связан для меня с Домби-старшим[98] — хотя

[98] Примечания: 98
Банкир, герой романа Ч. Диккенса "Домби и сын".

бы потому, что, кажется, так видел его и отец. Он сказал однажды, что образ маленькой Флоренс Домби сделан гениально, что ребенок, обойденный любовью, заброшенный, приниженный, погружается в самоедство, стремится угодить, оправдать любой каприз старших. Но сам он недолго пробыл в сыновнем подчинении. Он уехал в Кембридж, добился там успехов, катался на лодке по реке Кем, а потом пил чай с моей прелестной и хрупкой матерью.

История Люси в чем-то похожа на отцову. Опять же в моем распоряжении лишь версия матери. Дед отправил Люси и Сильвию в кругосветное путешествие. Зачем — мать не объяснила, но ясно дала понять, что круиз — плохая замена высшему образованию и хоть какой-то финансовой независимости. Люси покорила Австралия, ее неоглядный простор и приволье. Австралия манила и отца, этим он заразился от сестры. Когда я поступала в Кембридж, а он весьма успешно ходил в ранге барристера (или то был первый год, как он стал королевским адвокатом?), он урвал время, чтобы написать толстый эскапистский роман, где главный герой бежал из закопченного, опасного мира Шеффилдских стальных заводов в чистоту пустынь, где в ясном воздухе кружат

огромные стаи переливчатых попугайчиков. Периодически отец грозился эмигрировать. То была мечта его поколения, жившего скудно и душно, зажатого в незыблемой иерархии классов, уставшего от битв. А вот Люси мечту воплотила. Вышла однажды к завтраку в Блайт-Хаусе и заявила: они с подругой купили билеты на пароход, она отбывает немедленно. Это "немедленно" смахивает на материно добавление, но суть не в нем. Деда можно было одолеть, лишь поставив перед фактом. Как он воспринял заявление дочери, мне неизвестно. Люси же прожила жизнь, играя на скрипке и разводя эрделей. В первые годы после отставки отец съездил посмотреть на пустыню. Вернулся не вполне довольный — аборигенов спаивают — и в чем-то погасший, как бывает, когда на смену мечте приходит несомненная и небезупречная действительность. Я была рада, что он не эмигрировал. Во мне с ранних лет проснулась любовь к языкам, а значит, к Европе. И отец, хоть грезил пустынями, умер европейцем благодаря поездке вверх по Рейну. Он замышлял ее в амстердамской больнице, в палате на высоком этаже, обсуждая с соцработницей романы Бронте, что она принесла ему, а с молодым врачом — виды ястребов, паривших над крышами:

больше из его окна ничего не было видно. "Это — цивилизация", — сказал он, подводя итог своему последнему, мучительному странствию. Он описывал журавлей и цапель, замки и луну на воде. И то, как не одолел короткого подъема от пристани к центру какого-то городка. Он был хороший рассказчик, но другого склада, чем мать: не отвлекался, слова выбирал и взвешивал, что-то говорил, о чем-то умалчивал.

Когда мать впервые рассказала мне о Сильвии? Не важно. Важно, что для этой истории я была слишком мала, что она впервые отчетливо доказала мне: материнский миф — ложь, тепло очага не спасет от ледяного ветра, вообще никто никого не спасет. Раньше я думала, что в мире есть два сорта людей: одни — в книгах и новостях — переживают трагедии, другие обречены на безбурную серость, на тягостную скуку, на жизнь "как у всех". Кажется, дело было в разгар войны, в Понтефракте. Отец был на фронте, мать понуро вела мизерное хозяйство, но был короткий, счастливо взволнованный промежуток, когда она учила английскому мальчишек в средней школе. Тогда она не попрекала меня невниманием, мы говорили не о домашней грязи, а об именах и глаголах, о Теннисоне, и Браунинге, и о "Волшебнице

Шалот".[99] По возрасту мне полагалось уже знать о непрочности мира. Я была мрачным ребенком и в тайной глубине души уверена была, что отец не вернется из того далека, куда внезапно ушел, потеряв рыжие пряди под ножницами, обвешанный брезентовыми ведрами и вещмешками, в уродливой синей пилотке. А еще у меня в школе один мальчик умер ночью от диабета. И было тоскливо и не по себе оттого, что никак нельзя было точно знать, что он умер, ведь все жили так, будто ничего не случилось. Может быть, о Сильвии я узнала и позже, просто связала ее историю с этими потерями. Во время того рокового круиза, в Южной Африке, Сильвия полюбила человека, которого мать называла "высланным".[100] Они поженились, и дед отдал им крошечный домик в Конисборо. Родилась дочь, еще одна Сильвия, кажется, моя одногодка. Сильвия с мужем были очень несчастны. "Высланный", по словам матери, был "очень холодный человек. Дед не понимал, как это может быть: он ведь был из жар-

---

[99] Примечания: 99
Поэма А. Теннисона.

[100] Примечания: 100
Имеются в виду неблагополучные отпрыски знатных или просто богатых семей, которых родители посылали в другие страны и обеспечивали деньгами с условием, что они не будут возвращаться на родину и позорить семью своим поведением.

кой страны — и такой холодный. Промерзший насквозь". Моя святая бабушка проведывала их — украдкой, судя по материнским намекам, — с одеялами и горячим супом. Тот же суп и одеяла она раздавала местным беднякам. Что случилось с "высланным", я так и не осмелилась спросить. Совсем маленькой я думала, что "высланный" значит, что он здесь временно и потому не сто́ит большого внимания. Возможно, он вернулся домой, к жаркому солнцу и золотым приискам, к жизни, какой она была до вторжения моих трагических теток. Со временем я наделила его чертами одного южноафриканского писателя, моего знакомого, — он получился задумчивым, чутким, скрытным, замкнутым. Девочкой же я представляла его блестящим светским юношей в шляпе канотье.

Что до Сильвии и ее жизни, то однажды — точно вскоре после моего рождения — она убила себя и дочь. Я это знаю, поскольку унаследовала некоторые игрушки убитой кузины. Был, например, пес-мешок для ночнушки, черно-белый, на молнии, уютно возлежавший на кровати, словно геральдический лев. Сколько лет я любила его, не зная, откуда он взялся. И узнав — любила. Помню, как родители хотели выбросить его вместе

с другими игрушками, из которых я выросла, и я кричала им, в ужасе от собственной дерзости: "Нельзя Вопса выбрасывать! Он Сильвиин был!" Я не знала, что значит для них эта фраза, но знала, что она подействует, и мне было стыдно. "Когда Сильвия умерла, отец два года страшно курил", — сказала однажды мать. По крайней мере, стало ясно, почему он, никогда не куривший, хранил чеканный серебряный портсигар. Я не могла представить себе, что он тогда чувствовал. Мать говорила о Сильвии короткими, относительно безопасными речениями. Из всей одаренной компании она была самая даровитая. "Она могла бы стать кем угодно, — утверждала мать и всегда добавляла: — Скаковую лошадь запрягли в телегу". И — уже свысока: "Она была не хозяйка. Она не представляла, что это такое". Я воображала домишко-инвалид с угольным отоплением, с каменным полом, такой тесный, что не повернуться. Хотя газовая плита там, конечно, была. Думаю, для меня история Сильвии прозвучала предостережением против незаурядности и страсти. Отца отчасти забавляли, но больше все-таки тревожили в дочерях любые проявления сильных страстей. Он был романтик и верил, что первая любовь — самая главная. Человек добро-

детельный, он, совершенно очевидно, всю жизнь был верен матери. В Амстердаме он говорил об Артуре с оттенком зависти. "Когда я предстану перед Создателем, на что, впрочем, не очень рассчитываю... — сказал он, прихлебывая вино, которое ему разрешили, поскольку излечения не предвиделось. — Когда я предстану перед Ним, мне придется просить прощения за мои добродетели". Мать говорила, что он учился на чужих катастрофах, учился быть осмотрительным, ценить надежность уклада и домашний покой.

Рассказы матери о святой, самоотверженной бабушке были похожи на жемчужины или сахарные пилюли: колючие песчинки скруглены и отшлифованы, горечь заслащена шуткой, притуплена многолетними рассуждениями о том, что бабушка могла на самом деле иметь в виду. Как я уже говорила, я не помню, чтобы мать цитировала деда, зато бабушкиных цитат сохранилось немало, включая ее приветствие в мой первый к ней приезд. Она стояла в дверях, говорила мать, вся прямая и жесткая, и с сомнением смотрела на нас. Я почему-то представляю, что это было снежным вечером, в первых сумерках. Она не сказала: "Наконец-то приехали!", или "Покажи скорей малышку", или "Заходите и грейтесь".

Она просто заметила: "Не стоило труда тащить сюда все эти тюки. Дети хороши у себя в детской". Мать всегда сопровождала рассказ длинным объяснением этой бестактности. Бабушка была исключительно скромным человеком. Она по себе знала, как трудно ездить с ребенком и всем его скарбом, и была благодарна матери, что та решилась ради нее на такое тяжелое путешествие. Горчинкой под жемчужистым слоем сахара был страх неприятия, который, возможно, испытывали обе женщины. "Я чуть не развернулась и не уехала домой, — говорила мать и тут же добавляла: — Но это у нее была такая манера. На самом деле она только хорошее имела в виду". И: "На самом деле она меня очень любила, очень. Под конец я ей стала как дочь". А вот еще случай с чайником. Была война, бензин был по карточкам. Бабушка в машине с шофером приехала из Конисборо к нам в Шеффилд, чтобы выпить чая и взглянуть на очередного младенца. Она присела на минутку поговорить, но, как только мать собралась подавать угощение, внезапно поднялась: нет, спасибо, она и так задержалась, ей нужно поспеть домой и налить деду чаю, как он привык. Мать особенно налегала на детскую беспомощность деда, имевшего полный дом прислуги и

неспособного протянуть руку к чайнику. Бабушкина царственная повадка и чрезмерное чувство долга сливались для матери во что-то одно, чему итогом была манерная выходка и простывший чай с пирожками, над которыми она столько хлопотала. "Дорога, бензин, шофера гоняла — и все, чтобы пять минут посидеть и сорваться!" — говорила она, и к неприязни ее подмешивался благоговейный страх. Эта история ведет к истории о бабушкиной смерти. Даже к концу, ослабев и мучась болями, она не могла — дед не позволял — поспать одна в гостевой комнате. Мать рисовала старика, вопящего, как потерявшийся ребенок, впадающего в "истерики", и бабушку, как она "сползала" к нему по лестнице, потому что "он не мог без нее спать" и "ни с чем не считался". Эти невнятные вопли — единственный образчик его речи, который я имею. Мать презирала беспомощность в мужчинах, и ее презрение граничило с жестокостью. Она не переменилась и когда отца постиг последний недуг, который она упорно считала блажью и предательством с его стороны и который, по ее словам, он мог бы сносить и помужественней. Сообщая нам о его приступе, она уверенно и безапелляционно заявила, что через пару дней он будет на ногах и незачем никому

беспокоиться. Ее рассказ о бабушкиной смерти вызывает у меня изрядные сомнения, но мне не за что больше тут ухватиться, не на чем выстроить другой образ, ведь отец свою версию нам не рассказывал. Поэтому в памяти у меня так и остается раздраженный, зашедшийся в капризе дед.

Я чуть не забыла, пожалуй, самую любимую ее историю о том, в каком ужасном небрежении пребывал отец, пока не встретил ее. Две сестры — она точно не помнила какие: Глэдис и Сильвия, Сильвия и Люси? — ушли играть в поле, взяв с собой отца, тогда еще младенца, и, чтобы он как-нибудь не поранился, положили его в лошадиную водопойную колоду. Заигрались, забыли и вернулись домой без него. Вспомнили только много часов спустя, когда бабушка поинтересовалась, где он. Добрые люди, отправившись на поиски, нашли его, когда уже стемнело, лежащего наполовину в воде в каменной колоде, всеми брошенного. Мать делала вид, что история ее забавляет, и неизменно вводила в нее вполне понятную ноту негодования против его сестер, матери, отца, уклада жизни, при котором такое было возможно. А отец в Амстердаме вспоминал о детстве как о счастливой Аркадии. "Мы жили на воле, — говорил он, заново переживая ту радость. — Нам

так мало запрещали, мы были все вместе, поля, стойла — все было наше. У нас было удивительно свободное детство, мы делали что хотели". Его маленькая палата в голландской больнице была тепло освещена — для больничной палаты. У него бывали тяжелые дни, когда, съежившись под одеялом, он дрожал от последнего холода. А бывали хорошие, когда он сидел в кровати и рассказывал о мире своего детства, о пони и о двуколке, о том, какой на вкус настоящий хлеб из печи, о том, как в двуколке ездили на скачки и возвращались в сумерках и пели, о стишках, что они сочиняли, о том, сколько разных полевых цветов было тогда. "Я ведь вырос до автомобиля. Вам этого даже и не представить. Были лошади. И все пахло лошадьми — приятный запах. Молоко было свежее, вкусное. И яблоки были настоящие, и сливы".

В те недели, когда он вдруг заговорил с нами — и беседы эти, вопреки всему, были приятны и цивилизованны, как он того и хотел, — он попытался создать сказку, миф, удовлетворительное изложение собственной жизни. Он говорил о том, каково быть частью поколения, чью жизнь дважды нарушали мировые войны, говорил, о чем мечталось в молодости, и признавался: он

замечал, что труднее умирать тем, кто считает, что ничего не достиг в жизни. Но больше всего он рассказывал о детстве и особенно, пусть без особых откровений, о деде. Рассказал еще, что родственники не дали поставить в доме гроб его тети Флоры даже на одну ночь: не одобряли ее религиозных взглядов. Он знал, что умирает. Он и с места сорвался поэтому — чувствовал, что тяжело болен. Но нам раньше и точней сказали, от чего он умирает и сколько ему осталось. Он не ожидал, что у него рак. "Я не знал", — сказал он мне, невесело подсмеиваясь над собой, над тем, что попался на неведении, игнорировал факты. "Я не думал, что они из-за этого беспокоятся". И еще однажды, мимоходом, но с прирожденным простым достоинством: "Ты не думай, что я как-то уж очень не хочу. Я подошел к концу, я ни о чем не жалею. Нет, конечно, в ближайшем будущем может быть ужас, паника… Но ты не думай, что я так уж не хочу". Отец сказал это ради меня, но он был правдивым человеком. Он заранее скреплялся перед ужасом и паникой, которые миновали быстрей и проще, чем мы ожидали.

Раньше он часто говорил (хоть и не повторял этого в Амстердаме, по крайней мере мне), что дети — наше единственное истинное бессмертие.

В юности эта идея мне претила. Я хотела быть от всех отдельно. "Человек — это остров" — такова была моя упоительная и грустная правда. Я, как Антонио, брат Просперо, у Одена, была "по воле собственной ни с кем не слитна".[101] Но в те все сокрушившие недели в Амстердаме я стала задумываться о своих корнях. Я думала о деде. Думала о мифах-родословных, которые слепила в детстве, чтобы объяснить разные важные вещи, свою северную суть, свой страх творчества, неминуемость конца. К мыслям моим путем многослойных совпадений неотторжимо примешались два образа. Первый — Рагнарёк. Второй — образ Ван Гога.

В последний вечер отцова обреченного путешествия по Рейну мы пошли в Ковент-Гарден на "Гибель богов". У меня был сильный кашель, и я сидела как на иголках. Теперь всякий раз, закашлявшись, я вижу Гунтера и Гутруну, этаких протофашистов в грузном замке у широкого, блестящего искусственного Рейна, и думаю — как тогда, как всегда, когда на мысль приходят 1930-

---

[101] Примечания: 101

Герои поэмы У. Х. Одена "Зеркало и море", в XX в. явившейся ответом на трагикомедию Шекспира "Буря", в которой действуют те же персонажи. У Одена Антонио сознательно противопоставляет себя всему миру и брату Просперо, стремящемуся к всеобщему примирению.

е, — об отце в те первые годы моей жизни. Он все понимал, он боялся происходящего, он не мог смотреть, как мы пытаемся задобрить немцев, он добровольцем пошел в авиацию. Разбирая его вещи, я нашла текст гитлеровской издевательской речи от 28 апреля 1939 года. Он лежал в коробке с семейными фотографиями, словно часть семейной истории. В тот последний отцов период я размышляла об островах и потому — помню это очень отчетливо — в красном полумраке зала принялась сравнивать Просперо и Одина. Оба лишились символов могущества (копья и жезла), однако же Отец богов в версии XIX века туго оплетен путами викторианской семьи и является существом общественным, чего не скажешь о суровом волшебнике времен Возрождения. Когда Фригг на сцене распекала Одина, я с радостью думала об отце, как он неспешно и вольно странствует вдоль великой реки.

Моей любимой книгой в детстве, еще в Понтефракте, — той, что дала первый толчок моему воображению, — была "Асгард и боги. Легенды и обычаи наших северных предков" 1880 года издания. В ней были стальные гравюры: Одинова дикая охота, Один с прекрасным и грозным лицом, привязанный меж двух костров. Рагнарёк

— Последняя битва: вот Сурт с огненной головой выезжает из Муспельхейма, вот Фенрис-волк распахнул зев и готов растерзать самого Одина, вот Тор сунул руку со щитом в самую глотку Ёрмунганду, змею морских глубин. Я помню, как поразил меня рассказ о Последней битве, в которой полягут все боги, все герои. Мне не приходило в голову, что у сказки может быть такой конец. Я, правда, подозревала, что в жизни это бывает, но в своем случае особенно не надеялась. Какой это был восторг! "Асгард" я знала наизусть еще до того, как мать рассказала мне про Сильвию, — это точно. Я сидела в церкви, слушала про Иосифа и его разноцветную одежду и думала, что история эта ничем таким не отличается от "Асгарда", а волнует меньше. Дальше, помню, я пришла к выводу, что Рагнарёк какой-то более "настоящий", чем Воскресение. После Рагнарёка новый растительный и робкий мир начнет новый круг — мир, отмытый от крови, огня и золота. Перечитывая "Асгард" и по сегодня, я вижу, что на мои первые, детские шаги в литературоведении и библейской текстологии, возможно, повлиял стиль авторов, толкующих Бальдра и Хёда как лето и зиму, превращающих великанов в горные цепи, а гнев Одина в бурю, говорящих о выс-

шей правде — той самой, которую так красиво иллюстрирует христианская мифология. Они, конечно, не Фрейзер, радостно равняющий богов с деревьями, но они направляют читателя к нему. "Наши северные предки" связались для меня с отцовой родней — этими неистовыми, нелепыми, жестоковыйными людьми, широкими и в широте пугающими. Я была от одного с ними куска. Это были серьезные боги — не чета греческим с их капризами и интрижками. А книга была не отцова, а материна, куплена в свое время для зубрежки: древний исландский и скандинавский фольклор входили в факультетскую программу. Не помню, мать мне ее дала или я набрела на нее сама. Помню, что книжный наш голод мать утоляла сполна: книг была россыпь. Малютками нас не считала, давала, что и сколько возьмем. Как к "общественным существам" она была к нам недобра, она кричала на друзей, которых мы приводили домой, она переживала приступы истерического ужаса и заражала им нас. Но с нами-читателями она была щедра и находчива. Я знала, что девочкой она была как я — молчунья и книжница. Я это знала.

Миф о Ван Гоге связан с матерью. Ее фамилия была похожа на голландскую, а родня частью

происходила из гончарного города Сток-на-Тренте. И вот, без всяких доказательств, вырос миф, что они ведут род от голландских гугенотов, селившихся здесь во времена Виллема Молчаливого,[102] — людей практических и сердечных, добродетельных протестантов, работящих ремесленников с глубоко запрятанной художественной жилкой. Этой голландской теплотой, этой *Gemütlichkeit*[103] мать надеялась отогреть отца, воспитанного в дедовом доме, холодном и грозовом. После войны в нашей шеффилдской гостиной висело несколько репродукций Ван Гога. Была картина арльского периода с мостом, из солнечных, где вода — аквамарин и прачки мирно расстелили белье. Были шхуны на берегу в Сен-Мари, которые я потрясенно узнала, приехав туда восемь лет спустя. Был юноша в шляпе и желтой куртке, который, как я теперь знаю, приходился сыном почтальону Рулену. И был зуав в широченных восточных шальварах и красной феске — он сидел на скамеечке, а пол под ним

[102] Примечания: 102

Виллем Молчаливый — голландский политический и военный деятель XVI в., сыграл важную роль в борьбе с испанскими захватчиками, притеснявшими голландских протестантов.

[103] Примечания: 103

Уют, добродушие *(нем.)*.

головокружительно и неподобающе дыбился. Еще висели две японские гравюры и — видимо — "Улочка" Вермеера, что хранится в Рейксмюзеуме: дом очень тихий и прочный, и женщина наклонилась за чем-то во дворике слева. Я всегда, с первых дней детства, этих работящих голландок связывала с матерью. Домики, скрытные, обращенные внутрь себя — у де Хоха даже больше, чем у Вермеера, — вплетались в материнский миф о хозяйстве: необходимое выполняется при ярком освещении, в ограниченных, но разумно отведенных для того пространствах. Моя память наложила де Хоха на Вермеера, потому что теперь мне помнится, что рядом с женщиной на той картине стоял белокурый голландский ребенок в шапочке — маленькая белокурая я — и глядел на нее с мрачно-серьезным вниманием, как хотела бы того моя мать. Дом в Шеффилде, где все это висело, был одним из двух стеной соединенных близнецов, подаренных к свадьбе дедом, который, очевидно, ничего не делал наполовину и к тому же справедливо рассудил, что это будет хорошее вложение денег. Боясь бомбежек, мы уехали в Понтефракт из одного дома, а вернулись в другой. В то время, когда мне ясней всего запомнились Ван Гог и де Хох с Вермеером, этот

другой ремонтировался и обставлялся. Дед умер, из Конисборо прибыли и потребовали места разные внушительные предметы мебели, появились деньги на новые обои и шторы. Помню одни обои, очень домашние, нежно-розовые, равномерно присыпанные кремовыми крапинами, сахарно-сладкие. Родители сами удивлялись, что им такое нравится, а я в своих чувствах была не уверена. В моих воспоминаниях Ван Гог висит, присмиревший, на этом мило-провинциальном фоне, но этого быть не могло. Я почти уверена, что обои были в столовой, где моя мать, в гневе и фартучке, шла войной на растерянную тетю Глэдис. В любом случае впервые эти картины предстали мне приятным украшением при гарнитуре из дивана и пары кресел. Впрочем, отчасти он так и хотел — радость для взгляда. Когда же я увидела его иначе? Конечно, еще до того, как в 1950-х, перед Кембриджем, приехала в Арль и поняла, что страждущие, к небу устремленные кипарисы — подлинная правда, по-своему высказанная. Когда отец свалился в аэропорту, я писала роман: образ Ван Гога возникал тут и там в тексте о северном, пуританском и домовитом, семейном укладе. Я была безумно рада попасть в амстердамский Музей Ван Гога. Я читала и перечитывала его

письма. Он писал о голландских художниках и их умении запечатлеть темноту, яркость темноты. О жажде света и о том, что здешний свет, южный, ясный, зеленовато-желтый, мощью своей давит, угнетает его "северный мозг". Он не берегся, он искушал судьбу. Ему казалось, что его мозг наполнен электричеством, а зрение — слишком остро и глубоко, непереносимо. Но ум его был неизменно остер и аналитичен, он тонко смешивал цвета, он размышлял о природе света, о человеческой энергии и смерти. Он писал своих мучимых товарищей в психиатрической лечебнице Сен-Реми. Корректный и меланхоличный северянин сделался всевидящ и дик. Он снова и снова разбирал для холста свой мрачный и рыжий череп, свои мускулы — и в этом не было ни бережности, ни любви, ни смягчающей взор уловки. Он был правдив и безумен. По утрам я смотрела его картины, а днем на трамвае ехала к отцу в гулкую, с эхом, больницу и везла гостинцы: сверточки с копченой рыбой, фрукты, шоколад. Днем и вечером он говорил. Говорил и о тех вангоговских репродукциях, — очевидно, они были его, он сам их выбирал, и моя "голландка"-мать была тут совершенно ни при чем. Особенно — о зуаве. Это был один из его хороших дней. Я принесла ему фрезии

и георгины. Я за все годы так и не заметила, что он — один из редких людей, нечувствительных к запаху фрезий. Но он утверждал, что в этот раз что-то чувствует: "...чуть-чуть, только намек, но я, кажется, унюхал..."

Он помог мне выпрямить и замотать скотчем георгин, который я помяла.

— Если открыть жилки, по которым идет вода, он оживет. У меня они так подолгу жили...

Потом он заговорил о зуаве, которого я любила меньше других картин в доме: из-за торчащего пола у меня кружилась голова, а сам зуав был чужой — и по лицу, и по одежде. Отец выразился очень точно: "Сильная вещь. Мужская чувственность в чистом виде. Абсолютно прямо и просто показано. Это была моя любимая".

Он с улыбкой поглядел на меня поверх маленьких золотых очков с полуоправой.

"Он за этими зуавами ходил в арльский бордель", — сказала я. Я хотела добавить, что тратить энергию на чувственное Ван Гог считал вредным для себя и вообще для любого художника, но отец не слушал. Он не думал, что я что-то знаю о Ван Гоге. Он взял в голову, что может немного поправиться и пойти в Рейксмюзеум смотреть Вермеера. И пошел. Сестра отвела его, пугающе

шаткого и целеустремленного. Ему хотелось музыки. Хотелось побольше успеть. Иногда я думаю, что, наполняя жизнь радостями, он стремился сократить свой срок, умереть быстро. Нитроглицериновыми капельницами и трансфузиями голландские врачи ежедневно вливали в него сколько-то жизни. Однажды он рассказал мне историю: он хотел в уборную, он тащился по стенке, хватался за кроватные изножья и дверные ручки, а добравшись, обнаружил под дверью очередь из таких же хрупких мужчин в пижамах. Все это с отвлеченным, комическим гневом. По сути, он говорил: "Так вот что ждет нас в конце". Он пытался понять, на сколько еще хватит сил. А как-то потом, в день получше, проделал то же путешествие вполне бодро. Мы купили ему тапочки. Он очень переживал, что остался без тапочек и маникюрных ножниц: они улетели с рейсом, которым он должен был вернуться домой. Не попал на рейс, не вернулся в дом. Мать, которая никак не могла пережить, что заказанное такси напрасно прождало его в аэропорту, разозлилась еще больше, когда ей по ошибке выдали чужой чемодан: "Какая-то грязная рубашка, грязная расческа, бритва со щетиной!" Мать всегда сторонилась людской неопрятности и нелепицы. Отец

сидел на краешке больничной кровати и тщательно подрезал ногти на ноге. Между пижамной штаниной и новыми тапочками щиколотка была белая и гладкая, какая-то нетронутая, с молодой, без единого пятнышка кожей. Я смотрела и думала: какая живая.

По утрам я ходила вдоль темных каналов. Город мне нравился. Я помнила, что Камю сравнил концентрические линии каналов с кругами Дантова ада. Я даже купила "Падение", чтобы свериться, и, вместе с карманным изданием Вангоговых писем, носила его с собой: читать за одиноким обедом. Герой называет себя "судьей на покаянии".[104] С отрешенным юмором он рассказывает о том, как город жил в войну. Он произносит "защитительную речь". В Амстердаме человек пребывает у истока вещей, "у самой их сущности". "Вы заметили, что концентрические каналы Амстердама походят на круги ада? Буржуазного ада, разумеется, населенного дурными снами". Несмотря на причину, приведшую меня в Амстердам, ничего адского я в нем не увидела, он скорей успокаивал меня своей увесистой основательностью, омываемой рябым морем. В нем

---

[104] Примечания: 104
Здесь и далее перевод с французского Н. Немчиновой.

живут добрые, разумные люди. Университетские преподаватели согласились урезать себе часы и зарплаты, чтобы не было сокращений. Отец, который не мог ни гулять вдоль каналов, ни глядеть на кирпичные фасады домов, изучал в своей бетонной клеточке социальное происхождение всех, с кем встречался: врача, соцработницы, сестер, других пациентов. В отличие от Камю, он не считал, что буржуазность — путь в ад, к дурным снам и дурной совести. Но, будучи человеком своего поколения, он живо интересовался общественной иерархией и придавал ей большую важность. Оказалось, что врач владеет морскими яхтами и незаселенным куском Шотландии, где ловит лосося и охотится на куропаток. Даже в те дни отец был в восторге от своего открытия, от соприкосновения с породой, воспитанием и успехом. О собственном отце он сказал мне просто, словно ставя диагноз: "Мы были мелкие буржуа. Да, мелкие буржуа".

Он был беспощадно точен. Ему, конечно, хотелось бы иного. С врачом он говорил своим профессиональным голосом, прячась за профессиональной маской, и улыбался более открыто — такой улыбки я, кажется, не припомню у него, настоящего, с задумчивым, одиноким лицом, с ка-

ким он всматривался тогда в прошлое и будущее. Если он собирался просить Создателя простить ему его добродетели, значит был уверен, что это добродетели и он их в достаточной мере проявил. Когда он вернулся в Англию — прямиком в лондонскую больницу, — шла забастовка, врачи ходили в грязных халатах, персонал грубил и делал все как попало. Амстердам отцу подходил как-то больше. Там все было странное и другое, и это было в чем-то живительно — и для меня тоже.

Несмотря ни на что, я с удовольствием осваивала его систему метро и читала слова на новом языке. Я подружилась с соцработницей, она была тогда подавлена: у них умирал немецкий паренек-героинщик. Я набрела на цветочный базар на одном из каналов и купила отцу георгинов. В ресторане на Ляйдеспляйн я съела гигантскую тарелку мидий со стаканом хорошего белого вина. Мой столик был в застекленном переднем зальчике, полувнутри-полуснаружи. Это напомнило мне крытую веранду в дедовом доме в Бридлингтоне, где я выходные пролежала с корью. Оконные стекла там были травлены изящными узорами из цветов и линий. Они тоже ассоциируются у меня с дедом. (Написав, поняла,

что травленый стакан и графин из моей картины дедовой смерти — те самые, что стояли у моей кровати в единственную ночь, проведенную мной в Блайт-Хаусе. Когда дед умер, они достались нам в наследство.) У отца была аллергия на моллюсков и им подобных. В 1944 году в Неаполе он упал в обморок в зале суда, поев омара, а двенадцать лет спустя на судейском месте в Гулле покрылся чудовищной сыпью из-за креветочного салата. Полицейский врач, без особой огласки осмотревший его в свободной камере, велел ему больше ни к чему такому не прикасаться, и отец послушался, хоть вкус морских гадов и доставил ему исключительное удовольствие. Я не переживала, что одна ем мидий. Мне без того было о чем переживать. К тому же не думаю, что заказала бы их, если бы он был со мной. А вот из-за картин я расстраивалась. Единственный момент отчаянья в те недели был у меня в Рейксмюзеуме, среди мрачно-затейливых натюрмортов: кипы мертвых книг, адамовы головы, груз былых стремлений — у каждого свой и у всех одинаковый, — тишина, неспособность остановиться, взглянуть с любопытством.

С Ван Гогом было не так. Я не могла любить, не могла отозваться на самые последние его карти-

ны, на мучительно и дурно выписанное поле со стаей горестных птиц над тропинками, не ведущими никуда. Но великие вещи Арля и Сен-Реми! Лиловые ирисы на золотом. Потревоженная спальня. Одинокий стул. Жнец, пролагающий смертельный путь сквозь потоки света, в поле сияющей пшеницы. Я знала, что́ Винсент говорил об этой картине. Что это образ радостной смерти, извечный образ человека, идущего в светлую пещь. Я останавливала другие мысли. Стоя перед Винсентом, я думала о нем самом. Я приносила отцу открытки — прирученные, блеклые, уменьшенные копии этого рая, — и он с трудом на них писал: матери, ее сестре, своему самому старому другу. Дрожащие буквы: "У меня все хорошо". Мы все унаследовали его почерк, неразборчивый и невыразительный. Материн был крупный, текучий, благородный. Нас всех учили по-разному, но все мы пишем, как он, мелко и криво. Как такое получается?

В те долгие посещения мы говорили и о наследственности. Он сказал, что мать превращается в копию собственной матушки, и тут есть о чем подумать. Зашла речь о том, что она не дружит с правдой. Отец считал недолжным упоминать, что она в своих рассказах ставит под сомнение

его правдивость. (Это осложнялось еще и страхом возрастной забывчивости — боялись оба, и сильно, ведь в конечном итоге точность была крайне важна для обоих.) Он сказал, не в первый раз — и переживая, что не в первый: это неправда, будто мать была с дедом, когда тот умирал. "Кто это может знать, если не я? Это был мой отец, я был при нем. Как я могу ошибаться?" В эту минуту я поняла, что больша́я часть моего прошлого может оказаться горстью ее сахарных пилюль.

"А ты не думал, сколько мы всего знаем, что на самом деле — ее выдумки? Большое, вроде вот этого, можно оспорить, а всякие мелочи… мы их даже не замечаем, а они превращаются в воспоминания".

Он был поражен и рассказал, как у них завяли какие-то цветы на окне и мать предположила, что это приходящая уборщица их плохо поливала или, наоборот, залила — даже скорей залила — и вот они завяли из-за того, что миссис Хейнс их залила. Гипотеза стала неоспоримым фактом. В том же году, но раньше, когда болела мать, у нас был похожий разговор, и я в шутку и всерьез сказала: "Тебе хорошо, в тебе нет этих генов".

В нервной ситуации нам это показалось очень забавным, и мы засмеялись, как сообщники.

Потом он сказал за кофе своей домработнице, что я — вылитая его мама и вообще до удивления пошла в ту семью. Но я не думаю, что это так, да и фотографии, что я видела, говорят об обратном. Сейчас, когда я сильно устану, я чувствую, как на мое лицо маской ложится лицо матери. Или проступает изнутри. Я много от нее унаследовала. Я выбрала сочинительство своим делом. Я отбираю, формую, шлифую, и получается изделие. Что это все — вся эта история до сей минуты, — как не тщательно отобранная горстка того, что можно рассказать, можно как-то выстроить в ясном свете дня? Изделие отбрасывает длинные тени неска́занного: не хочу говорить, не осмеливаюсь, не помню, недопоняла, забыла, не знала никогда. Например, я выкинула слезоточивый газ. Я хотела показать Амстердам чистым, разумным, надежным — такой он и получился, такой он и есть. Но вот мы вдвоем вышли из свежести Ванго́гова музея — и шагнули в плывущее облако газа. Он жег в горле и наждаком скреб легкие. Полиция в черной броне наступала на выселенных сквоттеров, те швырялись камнями. В заднее окошко трамвая, идущего в больницу, видна была дымная череда подожженных машин. Несколько вечеров подряд нам приходилось возвращаться

в гостиницу окольным путем: кругом стояли кордоны, мостовая разворочена. Отец уже не мог заинтересоваться этим противостоянием, у него была своя война. Умолчать о беспорядках в городе — малый грех и легкопоправимый. Но что делать с остальным? Что есть правда? Я ведь почитаю правду.

Был один день в Блайт-Хаусе, когда и дед, и бабушка были еще живы. Я помню его ясно, хотя были и другие похожие, — возможно, потому, что во время отцовой болезни писала как раз о нем. Пытаюсь сосчитать, сколько мне тогда было, и уже путаюсь. Это было в войну, когда отец был на Средиземном море, году в 1943-1944-м. Точно знаю, день был очень солнечный. Стояло лето, еще одно в череде других, неподвижно пылающих. Начиналась моя жажда солнца. До этого я была в Блайт-Хаусе зимой. Он казался застывшим и громадным — то ли я была очень маленькая, то ли наш тогдашний дом был настолько его меньше, не знаю. Помню гигантскую холодную ванную: окруженная пустотой, стояла там глубокая ванна с важным и зловещим видом. Помню грязный снег за окном, детскую площадку с горкой, вертушкой и качелями на цепях. Помню открытую пасть погреба, помню темную, затхлую

кухню. Помню мать с ее всепроницающей мучительной тревогой. Но в то лето было по-другому. Я замечала, что происходит вокруг. Я по временам сбрасывала оцепенение.

Встречали и провожали нас официально: дед и бабушка плечом к плечу перед домом, на гравийной подъездной дорожке. На бабушке было черное платье прямого кроя из чего-то вроде шелкового крепа, с квадратным вырезом. Железно-серые волосы стянуты в пучок, простой или французский. Лицо умное, неулыбчивое, суровое. Толстые чулки и туфли на кнопках, с острым мысом. Она была совершенно собранна — ни лишних движений, ни разряжающих обстановку речей, ни попыток приобнять меня или мать. (Моя другая бабушка устремлялась нам навстречу, прижимала к груди и чмокала.) Дедово лицо мне было не очень видно: он стоял, слегка закинув голову. У него был большой живот, по которому протянулась перекрученная золотая цепочка от часов. Этот его живот мне запомнился лучше всего. Дед не был толст или очень уж крупен — он был значителен. Глядя на него, я думала о мистере Брокльхерсте — высоком черном столбе из "Джейн Эйр" и мистере Мердстоуне из "Дэвида Копперфильда" (или если

тогда не думала, то часто думала потом, и мысль слилась с воспоминанием). Я, конечно, старалась вести себя как можно приличней, но не ожидала от деда ни громов осуждения, ни еще какой-нибудь устрашающей выходки. Просто он был викторианский патриарх, и все. Правда, в те дни я понятия не имела об исторической перспективе и считала, что за долги нас могут бросить в Ньюгейтскую тюрьму, а за что похуже — обойтись как с Феджином,[105] чья последняя страшная ночь в камере была мне памятна. Кажется, я понимала, что не очень-то интересна деду и что ему не о чем со мной говорить. Главное, я почему-то не помню, как так вышло, что дед сам отвел нас на фабрику показать, как плавят сахар. С нами шли еще двое: высокий мужчина в коричневом комбинезоне, с меланхоличным, почтительным и добродушным видом, и какой-то второй, от которого в памяти сохранилась только матерчатая кепка.

На фабрике было угрюмо и голо. Пол мне помнится земляным, но этого, конечно, быть не могло, хотя плитки там тоже не было. Он был какой-то темный и пыльный. Все вместе было похоже на увеличенную до огромных размеров

---

[105] Примечания: 105
Герой романа Ч. Диккенса "Приключения Оливера Твиста".

прачечную, что были у нас на севере: холод, сквозняки, эхо. Слева от входа стояли большие котлы, похожие на тот медный, в котором моя другая бабушка кипятила простыни, орудуя большой деревянной мешалкой. Всего котлов было четыре — или это я так запомнила? В одном кипел сахар желтый, в другом — вишневый, в третьем — травяной, а в четвертом — какой-то удивительный, вроде бледных синих чернил: густое, тягуче разгулявшееся море синего стекла. И цвет, и суть — все было искристо и волшебно. Все волновалось, толстобоко вздувалось и звучно лопалось и переливалось струйками пленных пузырьков. Запах был не приторный, а чистый и вкусный — запах жженого сахара. Мы прошли дальше и увидели, как ведра блестящей жидкости выливают на огромный железный прилавок, или конвейерную ленту, идущую через весь зал. Дымясь и шипя, сахар бежал по железу и уже начинал застывать. Тем временем работники лопатками разгоняли, размазывали его все тоньше, все прозрачней, все шире, словно катали огромный пласт теста. Цвета бледнели, пурпур переходил в прозрачный пионно-розовый, индиго — в небесную синеву, топаз — в соломенное золото. Сверху опускалась примитивная резалка

и штамповала ряды блестящих кругляшей. В этом было что-то от стеклянного дела: тогда я этого не знала, но позже, в Венеции, в Биоте, глядя на стеклодувов, всегда вспоминала эту спешную работу с сахаром — скорей, пока не застыл. Оказалось, что привычные мятные карамельки в бело-коричневую полоску поначалу вовсе не плоские: длинная витая змея, с дальнего конца толстая, в мужской торс, а с нашего — тонкая, в большой палец, уползала в специальное отверстие в механизме, который одновременно подкручивал ее и откусывал по кусочку. Самое чудесное было, когда дед велел человеку в коричневом комбинезоне показать мне, как получаются полоски. Да, теперь я помню, теперь я почти слышу дедов голос. В нем была и робость, и азарт, и полная поглощенность своим делом. Слов не помню, но помню: он был уверен, что и мне оно покажется таким же удивительным и чудесным, утоляющим что-то внутри. Только это я и знаю о нем не из чужих уст: что он был увлечен и очарован собственным делом. Дед не зря говорил, что полоски — это очень интересно. На одном конце стола лежала гора горячей и мягкой карамельной массы. Мужчина в комбинезоне взял от нее большой ком, небрежно растянул, замкнул в толстое кольцо

и еще растянул на разведенных руках, как мать растягивала шерсть. Мы вышли во двор, где из стены торчал большой крюк — очень высоко, так что мужчине пришлось тянуться. Впрочем, я для своего возраста была очень маленькой, — может, он был и на обычной высоте. Толстую петлю сахара — темного, паточного цвета сахара — мужчина повесил на крюк и принялся крутить. Я знала это движение — размеренный взмах скакалки во дворе: жих — шлеп, жих — шлеп. И вот у меня на глазах сахар начал светлеть. От патоки к кофе, от кофе к ириске, от ириски к золотому ячменному сахару, от него — через желатиновый, давно засохший белок — к чистой белизне, теперь уже матовой, пронизанной насквозь тончайшими иголочками воздуха.

"Это все воздух, — сказал дед. — Крутят карамель в воздухе, и так вот получается. Полоски-то в конфете — это один и тот же сахар, просто в белых воздух еще".

Теперь я вспомнила эти его слова: "Это все воздух".

Да, да, кажется, теперь вспомнила…

Белую змею мы отнесли обратно на фабрику и положили на такую же темную, чтобы умелые руки скрутили их вместе, пошлепывая и утончая

один конец, пока он не войдет в отверстие механизма. Я помню этот звук: легкий треск и хруст затвердевшего сахара и тугой, пластилиновый шлепок полосатой змеи.

Когда мы всё посмотрели, дед взял несколько бумажных фунтиков, и мне в них насыпали хрупких сахарных стружек, напáдавших от машины, которая штамповала карамель. Их я тоже помню до сих пор. Поначалу они были легкие, светистые, рассыпчатые, нежнейших цветов: розовые, лимонные, гиацинтовые, яблочно-зеленые. Горячие они таяли во рту сладкими снежинками — это было упоительно в дни, когда и сахар-то был по карточкам. Если передержать, если беречь и есть по чуть-чуть, они оседали, слипались, превращались в бесформенный, твердый, с налипшей бумагой ком, отходящий приторной влагой.

Обо всем этом я написала в школьном сочинении (мы тогда жили в Понтефракте). Этот текст — первый, что мне помнится собственно моим, первый, где я подбирала слова, что-то меняла. Я до сих пор помню оттуда два слова. Оба были вычитанные. Первое — из описания птичек, украшавших рождественскую елку, кажется, в "Маленькой принцессе" у Фрэнсис Ходжсон-

Бёрнетт.[106] Птички были изящной немецкой работы, из очень тонкой "стеклянной пряжи". Это название, в котором сошлись хрупкость и гибкость прозрачной нити, всегда приводило меня в восхищение. Я взяла его для описания сахарных стружек в бумажных фунтиках. Помню, как искала второе, — нужно было показать, как глубоки, и ярки, и яростны были цвета, кипевшие в медных котлах. Зеленый я назвала изумрудным. Я знаю, откуда это слово, — из материна неиссячного книжного запаса. "Плывут, горя, как изумруд, / Сверкая, глыбы льда".[107] Как изумруд. Не помню, пошла ли я и дальше по драгоценным камням, зато помню, что, рассказывая о кипящем сахаре, испытала удовольствие, которое раньше испытывала только от чтения. Слова ведь на то и даны, чтобы рассказывать истории.

Однажды, уже потом, дед разрешил — и даже велел — мне нарвать цветов в его саду. Сбоку от его серого дома стояла теплица с виноградом:

---

[106] Примечания: 106

Фрэнсис Элиза Ходжсон-Бёрнетт (1849–1924) — англо-американская писательница, прославившаяся книгами для детей "Маленький лорд Фаунтлерой" (1886), "Маленькая принцесса" (1905), "Таинственный сад" (1911) и др.

[107] Примечания: 107

Отрывок из "Поэмы о старом мореходе" С. Т. Кольриджа (перев. В. Левика).

разросшиеся лозы и огромные гроздья. Помню множество огромных гроздей темного винограда, на крученых веточках свисавших с балок под крышей, а ниже — просто с лозы. Дед сорвал гроздь и протянул нам — пробовать и есть.

— Больше берите, — сказал он, когда мы робко отщипнули по ягодке. — Он на то и нужен.

В те темные дни виноград был вещью неслыханной.

Помню, как пробовала виноградинки на взгляд и на язык, как по-разному восхитительны были зеленая мякоть под лиловой, с восковым налетом кожицей, нежный вкус, текучий сок, внезапное чувство во рту, когда впервые раскусишь ягодку. Потом меня вывели наружу и разрешили нарвать букет. Я сорвала на лужайке несколько маргариток и с сомнением остановилась.

— Нет, нет, рви как следует, все, что хочешь, чтобы хороший букет получился, — ободрил меня дед.

Так что знаю я не понаслышке: дед любил дарить… Я собрала дамский букет из викторианского романа. И он так славно собирался, кругами, как и положено: в середке несколько рыжих рудбекий с черным глазком, а в обвод шли голубые цветки, следующий круг — белые

и, наконец, — розовые. И еще надо обернуть его в листья, чтобы он хорошо держался, весь тугой и круглый. Я бегала по саду, выбирая, отвергая, внезапно став обладательницей несметных богатств. Мать тем временем рассказывала, что я чуть не с пеленок знаю названия цветов: флокс, львиный зев, люпин. Ее я в тот день плохо помню, — должно быть, она была спокойна. Или это я наконец успокоилась. Так непривычно было нам с ней быть полностью безмятежными, полностью уверенными в себе, полностью счастливыми. Это было почти как та семейная Аркадия, о которой говорил отец, но я тогда об этом не знала. Знала только, что этих бабушку и дедушку положено почитать и побаиваться. Кажется, после того раза я их больше не видела. Мы к ним ездили редко, потом умерла бабушка, а следом дед, который, по словам матери, не мог без бабушки жить: "Он был, как потерявшийся ребенок, совершенно беспомощный. В нем просто жизни не стало".

Мать пережила отца чуть больше, чем на год. Мне казалось, она не горевала по нем, лишь заметила: жаль, мол, его нет, он бы согласился с ней по поводу Тэтчер, из-за которой тысячи шахтеров остались без работы. Она была на удивление подавлена перспективой умереть при прави-

тельстве, к которому питала презрительную ненависть, чистую и инстинктивную. Вскоре после войны она сказала мне, что, когда все только началось, она продумала и вообразила — до конца — все самое страшное, что могло произойти с Англией, с отцом.

— А потом я через это перешагнула и больше не оглядывалась. Я это уже пережила.

Еще девочка, я восхитилась и решила поступать так же. Если перестать чувствовать, можно действовать. Этот головной холодок, отчасти у нее перенятый, помог мне в Амстердаме, когда я не дала прорваться опасным мыслям перед Вангоговыми предсмертными полями и темной картиной с Библией его покойного отца. Да и говорить с отцом о деде можно было, лишь если не любить отца слишком сильно — отложить любовь на потом, не думать слишком пристально о его живой щиколотке, отгородить себя. Может быть, моя несчастная мать отгородилась от него даже чересчур хорошо и чересчур поспешно. Загодя пережила все слишком полно и рано. Недавно мне рассказали, что в войну родственникам писали из отцовой части, чтобы те повлияли на мать: она слала ему в Северную Африку какие-то безнадежные письма. Женам вообще советовали

писать о веселом, сообщать хорошие новости, не расстраивать мужей. Она заранее пережила его гибель — в этом я ей верю — и изливала ему свои жалобы на судьбу. Когда он умер, она сказала как-то растерянно, объясняя явное отсутствие чувства: "Я ведь к этому уже привыкла. Привыкла, что его нет, пока он был в Амстердаме".

В день похорон было невыносимо холодно. Близилось Рождество. Отца кремировали, отпевание было квакерское, а среди пришедших квакеров почти не было, и никто не нарушал напряженного молчания. Я ничего не чувствовала, я боялась чувствовать и ощущала лишь бег времени. Вышли на улицу, и тут я увидела, что мать стала совсем маленькая, с заострившимся лицом, с неровной, спотыкающейся походкой. Я сказала:

— Помнишь, как он с войны пришел?

— Да, — ответила она, крошечная и от всего отрешенная.

Он пришел в полночь, так, по крайней мере, всегда говорила мать. Он послал телеграмму, но она потерялась на почте, и мать ничего не знала. Она яростно прошагала к двери и выкрикнула: "Ну извините!" — думая, что это дружинник пришел насчет щелей в светомаскировке. Что они сказали друг другу? Я помню, что меня разбудили

— не сразу, наверное? Помню, как зажгли свет, простую тусклую лампу на потолке, не достававшую до темных углов. Помню фигуру в дверном проеме, военную форму, рыжие волосы, улыбку в пол-лица, удивленную, полуиспуганную, — должно быть, у меня была такая же. Помню, он держал в руках свою офицерскую фуражку. Почему он не положил ее? Или это я ошибаюсь? Я помню даже шинель, но воспоминания о его уходе и возвращении безнадежно перепутались. В волосах его оказалось меньше рыжины, чем я думала, и больше золота. У него был такой красновато-рыжий пиджак из ворсистого шотландского твида — точно в цвет волос, говорила мать. Я и до сих пор думаю, что "в цвет", хоть сама особого сходства не видела и помню по-другому. (Да и как теперь знать, ведь столько лет все это выцветало, пока не настал тот последний холодный день.) Я села, потом вскочила в кровати и прыгнула — огромный прыжок через свою кровать, через разделительный провал, через кровать спящей младшей сестры. Память не сохранила траекторию этого прыжка. Я помню его начало, но не конец, не то, как благополучно перепрыгнула и прижалась к отцу. Зато помню — и это именно воспоминание, а не предположение — страх счастья. Я боялась

чувствовать. Все это было уже мной сочинено, много раз прожито в надеждах, в воображении, в воображаемом будущем. И теперь настоящее возвращение отца вспомнить и ощутить так же невозможно, как тот безумный прыжок. Я пишу, и что-то возникает, как позабытые до этой минуты крылья на золотых пуговицах его кителя… Вот эти слова, вот эти вещи — но как мне почувствовать его? Огневолосый и златокрылый, он — миф и тогда был мифом, хоть и вернулся, хоть и стоял на пороге, хоть я и прыгнула ему навстречу. Когда важное минует, мы переводим дух и осматриваемся, мы начинаем понимать, что это было и что это есть, и мы начинаем рассказывать его самим себе. И скоро, скоро новая метка появляется там, где уже ждут другие: чайник, водопойная колода, настоящие яблоки и сливы, белая щиколотка, ведро для угля, две куклы в целлофане, газовая плита, черно-белый пес, пуговицы с золотыми крыльями и полосы сахара, белые и бурые, перевитые и слитные.

Истории с Матиссом

С любовью — Питеру, который научил меня смотреть на вещи неспешно

Щиколотки Медузы[108]

Когда-то она вошла сюда впервые, увидев сквозь стеклянную дверь "Розовую обнаженную". Поразилась и вошла. Странно, что такое щедро-обильное, такое сложно устроенное существо вольготно раскинулось над вешалкой в заведении, где со стен обычно смотрят глаза девочек-моделей: серо-стальные — надменно, иссиня-черные — яростно. Исключительно девочки. Женщин в модели не берут. Обнаженная была женщиной — беспримесно розовой и несомненно массивной. С мощными ляжками и лениво поднятым монументальным коленом. Полукружья грудей намекали на полный круг, наводили на мысли о плоти и грехопадении.

На всякий случай она попросила только стрижку и укладку феном. Хозяин взялся за нее сам — Люсьен из салона "У Люсьена", — худощавый, с мягкой поступью, похожий на балетного Гамлета с широкими белыми рукавами, в обтягивающих брюках. За первые несколько визитов она запомнила эти брюки куда лучше, чем его лицо, которое

---

[108] Примечания: 108
Перевод О. Варшавер

она видела только в зеркале над собственным лицом и совершенно не жаждала рассматривать: зачем это нужно женщине средних лет? С точки зрения анатомии отношения женщины с ее парикмахером выглядят странно: порой она упирается носом ему в талию, дышит ему в бедра, а лицо его всегда далеко, высоко и часто сзади. У этого мастера выражение лица было замкнутым, монашеским, а черты, пожалуй, вполне красивы и волосы хороши — мягкие, прямые, темные, здоровые от природы, а не от жиров и масел.

— У вас славный Матисс, — сказала она в тот, первый раз.

Он взглянул недоуменно.

— "Розовая обнаженная", — пояснила она. — Мне очень нравится.

— А-а, картина! Я ее в магазине нашел. Она как раз в той гамме, какую я задумал.

Их глаза встретились в зеркале.

— Мне тоже понравилась, — продолжил он. — Такая спокойная, такая чертовски в себе уверенная, и цвет прелестный, да? Я влюбился в нее, совершенно влюбился. Висела она в магазине на Черинг-Кросс. Я пришел домой и рассказал жене, что хочу купить для салона "Обнаженную". Жена не очень-то обрадовалась, но на следующий день

я отправился в магазин и купил-таки картину. Она придает заведению немного шика. Люблю, когда есть шик.

В те дни салон напоминал нутро розового облака: сплошь розово-кремовый, там и сям развешены нежнейших оттенков муслиновые занавески, повсюду щетки и гребни из слоновой кости, на стенах — зеркала в рамах, там и сям маленькие столики на колесах — небесно-голубые, точнее, небесно-синие, как кушетка или кровать, на которой лежит "Розовая обнаженная". Играла музыка, — вообще-то, Сюзанна терпеть не могла музыку в общественных местах, но эта то звенела, то баюкала, то почти стихала… мелодичная, сладкая, как шербет… музыка гарема.

Он подавал ей кофе в розовых чашечках, а на блюдце непременно клал вафельку с розово-белым нутром. Он укрощал ее вздорные, давно не юные волосы, и на голове появлялась летящая, словно небрежно распушенная ветром прическа, с естественными непокорными перьями, и в этом обрамлении смягчался ее хмурый лоб и жесткий подбородок. Она помнила парикмахерские времен своего детства, военных времен: деревянные кабинки и реклама шампуня *Amami*, где были изображены белокурые дамы с буклями. Губы

у дам алели — не бантиком по моде тридцатых годов, а огромной распустившейся розой — по моде сороковых. Слово "Amami" она еще в детстве мысленно рифмовала с "губами", всегда чуяла, что они тесно связаны. Став лингвистом, она научилась спрягать глагол "любить" на нескольких языках и внезапно осознала, что *Amami* — эротическое приглашение, даже приказ. *Amami,* люби меня, твердили блондинки из-под безупречно уложенных локонов. Ее мать садилась под сушку — этакую махину с неровными краями, — а на голове у матери посверкивали металлические бигуди, зажимы и заколки. Выходила она из парикмахерской с жесткой многоярусной "укладкой", которая колыхалась при каждом шаге и походила на гору восковых фруктов. В эти минуты мать казалась насквозь искусственной, смотреть на ее голову было неловко — почти как на неестественную белизну ее зубного протеза.

Купола сушек, спускаясь сверху, втягивали тебя, обхватывали твою голову щупальцами — эти парикмахерские манипуляции напоминали какую-то электрошоковую инициацию во взрослую женскую жизнь. Она вспомнила, как ей самой впервые делали "укладку", — ощутила жар и жужжание сушки, слегка подкопченную кожу на

голове, пересохшие, готовые вспыхнуть волосы.

В шестидесятых и семидесятых она отдала свои волосы во власть природы, и они отросли длинные, прямые, тяжелые — этакий глянцевый каштановый полог. В парикмахерскую она тогда вовсе не ходила. За эти годы деревянные кабинки ушли в небытие, пространство стало открытым, общим и безжалостно честным, на смену колпакам-сушкам почти везде пришли фены, а бигуди и заколки стали пластмассовыми.

Однако к парикмахеру обратиться пришлось: ее волосы начали стареть, потускнели, посеклись, стали легкими, точно пух. Люсьен пообещал, что завитки и волны — натуральные, по новой моде — омолодят ее и скроют все эти недостатки, эту, в сущности, естественную смерть клеток. Надо сделать коротко и живенько, сказал Люсьен и тактично продемонстрировал, что он имеет в виду. Встав над нею, он сжал своими прекрасными руками ее всклокоченную голову, обнял ее, словно священник чашу Грааля. Она глянула мельком, быстро-быстро — да это выглядит лучше, чем прежде, — и отвела глаза.

Она всецело доверила ему отвечать за распад ее личности.

* * *

Люсьен всегда опаздывал — сам назначит клиенту время и сам же опоздает. В салоне роились юные существа мужского и женского пола, и он останавливался, чтобы ободрить всех терпеливо ожидающих клиентов, чьи взоры были с неизменной надеждой устремлены в зеркала. Постоянно звонил телефон. Сама она сидела на мягчайшем розовом пуфе, словно в розовой пене, и читала в глянцевом журнале *Ее волосы* статейку — разом напыщенную и ерническую (такое сочетание вполне распространено) — о парикмахере как новом целителе, врачевателе душ.

Журнал сообщал, что когда-то парикмахер, в сущности, был местным доктором: удалял зубы, вправлял вывихи, лечил женские хвори. Теперь же, в эпоху всеобщего отчуждения, парикмахер выполняет важнейшую функцию — он слушатель, готовый внимать всем вашим бедам, готовый утешить.

Люсьен ничего такого не делал. Он пошел иным путем: превращал плененного клиента в психиатра и гуру. По крайней мере, Сюзанне выпала именно эта миссия, — возможно, выбор определялся ее полнотой, которая считывалась

как образ матери. К тому же опыт профессионального слушателя у нее имелся изрядный: она преподавала в университете. В общем, Люсьен все это почувствовал и попросил у нее совета.

— Я не готов провести тут, в заточении, лучшие годы. Я хочу большего. В жизни должен быть смысл. Я уже попробовал тантрическое искусство и школу медитации. Вы ведь разбираетесь в таких вещах, да? Насчет жизни духа?

Его пальцы порхали и щелкали у нее в волосах, отделяли прядь за прядью и скашивали, скашивали…

— Не очень-то разбираюсь… Я — человек неверующий.

— Но я хотел бы двинуть в искусство. Про искусство-то вы точно знаете? Про мою розовую женщину голую сразу все поняли. С чего мне начать?

Она посоветовала ему читать Лоуренса Гоуинга. Зажав очередную прядь заколкой, он отложил ножницы и записал имя в сизо-серый кожаный блокнотик. Она продиктовала, где найти хорошие заочные курсы и чьи лекции стоит послушать в музеях.

В следующий раз речь зашла уже не об искусстве, а об археологии. Никаких свидетельств

хождения в музеи и чтения рекомендованного автора Люсьен не предъявил.

— Меня притягивает прошлое, — признался он. — Кости в земле, клады с золотыми монетами, все такое. Я на днях ходил в Сити, они там копают святилища времен римских колонизаторов. Митреумы. Вот ведь религия была! Омовение бычьей кровью, тьма и свет… Завораживает!

Хорошо бы он просто привел в порядок ее голову. Молча. Порхающие ножницы, порхающее сознание. Это диагноз. Она испугалась. Все, ради чего она трудилась, все важное и взаимозависимое, было для него разрозненными осколками и черепками. Пиши книги, читай лекции, связывай факты неразрывной нитью, но знай: эти нити сверкнут и исчезнут.

— Неужели так пройдет жизнь? С утра до ночи обихаживать старушек из лондонских предместий? — сказал он. — Я нацелен на большее.

— На что именно? — спросила она, встретив в зеркале задумчивый взгляд Люсьена над мокрой паклей ее волос.

Он облил их пеной и проговорил:

— На красоту. Я жажду красоты, жажду прекрасного. Я хочу плыть на яхте среди греческих островов с красивыми людьми. — Он взглянул ей

прямо в глаза. — Хочу увидеть знаменитые храмы и скульптуры. — Он надвинулся на нее всем телом и опустил ее голову, нажав на затылок, так что теперь ее нос почти уткнулся в молнию на ширинке его брюк. — Опять вы мыли голову без кондиционера, — сказал он. — Не любите вы себя, одно слово — не любите.

Она покорно склонила голову, а он стал яростно тереть кожу у основания ее черепа.

— Можно бы слегка оттенить, — проговорил он без особого энтузиазма. — Добавить бронзы или осенней листвы…

— Спасибо, не стоит. Предпочитаю естественный цвет.

Он вздохнул.

* * *

Он начал рассказывать ей о личной жизни. Она подозревала, что он гомосексуален, — тому было много свидетельств прямо тут, перед глазами. В салоне вечно крутились молодые красавцы-парикмахеры: забегут, пощелкают ножницами, похихикают вместе в уголках и отправятся восвояси. Китаец, индонезиец, шотландец из Глазго, южноафриканец. Хозяин на них покрикивал, шушукался с ними, обменивался подарками.

Они вечно то занимали, то отдавали друг другу какие-то небольшие деньги. Как-то она пришла попозже и застала их за игрой в покер — сидят в кружочек, чисто мужской компанией. Девушки находились у них в подчинении, пылая яркой, но безнадежной красотой. Ни одна долго не задерживалась. В те дни они носили розовые с кремовой отделкой шелковые комбинезончики. Личная жизнь у хозяина заведения определенно бурлила: он неимоверно долго висел на телефоне — то ворковал, то бушевал, то нежно шептал, то гневно шипел, — но слова были неразличимы, словно тонули в промокательной бумаге, а голос, вернее, голоса в трубке раздраженно скрежетали. Ее походы в парикмахерскую становились все продолжительнее: сначала он подолгу разговаривал по телефону, потом столь же долго объяснял ей, что происходит, причем жестикулировал, а она наблюдала за его отражением в зеркале: летит, точно мальчик на велосипеде, не держась за руль.

— Простите, я сегодня немного рассеян, — произнес он. — У меня экзистенциальный кризис. Произошло нечто, что ни при каких обстоятельствах произойти не могло. Но я стремился к этому всю жизнь. И обрел!

Он небрежно стер пену с ее мокрого лба, промокнул глаза. Она заморгала.

— Я обрел любовь, — сказал он. — Полную, совершенную близость. Абсолютную совместимость. Чудо. Я нашел свою вторую половинку. Потрясающей красоты девушка!

Она не знала, как ответить. И сказала тоном школьной директрисы (а откуда было взять иной тон?):

— И это причина кризиса?

— Она меня любит. Я долго не верил, но это так. Она меня любит. И хочет, чтобы я жил с нею.

— А ваша жена?

Ведь у него имелась жена — та, что не одобрила покупку "Розовой обнаженной".

— Она велела мне выметаться. И я ушел. Отправился к ней — к моей подруге. Она, моя жена, приехала и забрала меня назад. И сказала, что мне надо сделать выбор, но она думает, что я выберу ее. Я ответил, что сейчас лучше ничего не решать, жизнь покажет. Я сказал: откуда мне знать, чего я хочу, я же в состоянии экстаза! Откуда мне знать, что это надолго, что она меня не разлюбит?

Он нетерпеливо нахмурился и помахал ножницами в опасной близости от ее висков.

— Жену только приличия заботят, респекта-

бельность. Говорит, что любит меня, а на самом деле только и думает, что скажут соседи. Хотя дом свой я люблю. И содержит она его в порядке, в этом ей не откажешь. Не то чтоб у нас там очень стильно, но — со вкусом.

Последующие несколько месяцев или, возможно, год эта история развивалась ни шатко ни валко, так и не превратившись в сколь-нибудь складный сюжет. Сюзанна постепенно поняла, что он очень плохой рассказчик. Ни один из характеров не обрел живости и законченности. Ей так и не удалось представить себе красотку-подругу или хотя бы понять, как эта девушка проводит время, свободное от полного единения и слияния с Люсьеном. А что являет собой жена? Стерва она или страдалица, нервничает она, терпеливо ждет развязки или же иронически самоустранилась? Даже эти версии и образы были изобретены исключительно самой Сюзанной. Приблизительно через полгода обрывочного повествования Люсьен сообщил, что его дочка крайне расстроена происходящим, поэтому он вынужден то приходить, то уходить — короче, живет на два дома.

— У вас есть дочь?

— Ага, пятнадцать лет уже. Нет, семнадцать!

Вечно я у всех возраст путаю.

С этими словами он легким движением поправил свои блестящие волосы и удовлетворенно улыбнулся себе в зеркале. Она наблюдала.

— Мы очень рано поженились, — сказал он. — Были совсем молоды, не понимали, что почем в этой жизни.

— Для юной девочки очень вредно, когда родители ссорятся.

— Это точно. Для всех вредно. Дочка говорит, что, если я продам дом, ей будет негде жить. А ей экзамены сдавать. Но дом-то я продам, как иначе оплачивать квартиру моей подруги? За полквартиры-то я должен платить? Дом и квартиру мне не потянуть. Жена, само собой, выезжать не хочет. Оно и понятно, но она тоже должна понять, что я не готов так жить, не готов вечно раздирать себе сердце. Я должен решить однозначно.

— Похоже, вы уже решили — вы выбрали подругу.

Он глубоко вздохнул и положил на подзеркальник все, чем жонглировал: расческу, ножницы, фен.

— Решил, но мне страшно. Я до смерти боюсь, что приму решение — и останусь ни с чем. Если она получит меня на все время, ну, подруга моя,

то ведь может и разлюбить. И я так привязан к своему дому, там так уютно, я привык там ко всему, к этим старым креслам. Я не готов даже помыслить, чтобы все продать, что ничего этого не будет.

— Любовь — непростое дело.

— Еще какое непростое!

— Вам не кажется, что у меня на макушке поредели волосы?

— Что? Да ни капельки, не волнуйтесь. Мы вот их сейчас зачешем, приучим на эту сторону падать — ничего и не видно. Как думаете: она имеет право больше чем на половину денег от продажи? Если продать дом?

— Я не юрист. Я ученый, античник.

— Мы, кстати, уезжаем в отпуск в Грецию — помните? Мы с подругой. Под парусом по греческим островам. Я купил все снаряжение для подводного плаванья. Салон на месяц закрывается.

— Спасибо, что предупредили.

* * *

Пока он отсутствовал, в салоне сделали ремонт. Об этом он ее не предупредил, да и с какой стати? Цветовая гамма поменялась по последней моде:

теперь тут царили темно-бордовые и голубовато-серые оттенки. Оттенки высохшей крови и инструментов резни — такова была первая ассоциация Сюзанны по возвращении. Эту палитру она отчетливо не любила. Все в салоне переменилось. Потолки стали ниже; вместо синих тележек — стальные в стиле хай-тек, вместо прозрачных, почти аквариумных окон — свинцово-серые, непроницаемые снаружи и вовсе не пускающие внутрь свет, отчего даже яркие дни тут выглядели уныло. Музыку подобрали под стать: приглушенный тяжелый металл. Молодые мастера — и мужчины, и девушки — бегали в темно-серых японских кимоно, а клиентов, которых она про себя величала пациентами, облачили в точно такие же накидки-кимоно темно-бордового цвета. Ее собственное лицо в зеркале стало серым, утратив обманчивый легкий румянец, который оно обретало в этом салоне в былые времена.

"Розовая обнаженная" исчезла. На ее месте висели фотографии девушек с черными как смоль глазами и колючими ресницами, а над их серыми лицами сияли красно-медные шевелюры под цвет пышных, чуть приоткрытых губок, готовых всосать в себя, допустим, микрофон или, возможно, нечто иное. Новые чайные чашки были

черными и шестигранными. Вместо розовых вафелек подавали овальной формы засахаренные конфеты, черные и белые, точно камни для китайской игры го. Оправившись от первого шока, она решила, что пойдет в другой салон. Но одумалась: вдруг случайный, незнакомый мастер сделает из нее полную дуру? Все-таки Люсьен понимает ее волосы, уговаривала она себя. А ее волосы в те дни крайне нуждались в понимании, их оставалось все меньше, из них постепенно уходила жизнь.

— Как ваш отпуск? Удался?

— Ах, полная идиллия. Да-да, мечта! Как жаль, что пришлось возвращаться. Она обратилась к адвокату. Требует оставить ей нажитый в браке дом — в компенсацию труда, который она в него вложила, и для дочери. Я говорю, мол, дочь же вырастет, будет сама работать, верно? Не вечно же ей держаться за материну юбку?!

— Мне на сей раз надо особенно хорошо выглядеть. Я получила премию. Медаль переводчика. И мне предстоит выступить. По телевидению.

— О, мы постараемся! Будете блистать! Это делает честь моему салону! Вам нравится наш новый интерьер?

— Очень занятно.

— Еще бы. Еще бы! Хотя фотографиями я не вполне доволен. Рассчитывал на что-то более интригующее. Нужны фотографии под цвет — у нас серо-стальная гамма.

Он колдовал где-то высоко над ее головой. Приподнял влажные волосы на растопыренных пальцах, впустил внутрь воздух — и волос оказалось словно бы вдвое больше. Иллюзия. Он потянул одну прядь сюда — заколол, другую туда — заколол, сам покачал головой туда-сюда, глядя на ее непримечательный бюст. Ее голова тоже начала непроизвольно покачиваться вслед, на что он сказал не самым учтивым тоном:

— Держите голову ровно. Как работать, если вы ныряете, точно гусыня?

— Простите.

— Ничего страшного, просто держите голову.

Потом он вдруг по-мышиному притих и нажал ей на затылок всей тяжестью ладони. Она с усилием подняла глаза и увидела, как он взглянул на часы, а потом вдруг причудливым балетным движением — одновременно вывернув запястья, ножницы и кончики пальцев прямо у нее надо лбом — вдруг ткнул стальным лезвием в мякоть своего большого пальца, так что кровь брызнула струей и даже попала ей на кожу, меж жидких

волос.

— Боже! Простите, я отбегу, ладно? Я порезался. Видите?

Он помахал у нее перед носом окровавленным пальцем.

— Вижу, — сказала она. — И видела, как вы порезались.

Он послал ей в зеркале сверкающую улыбку, но в глаза не глядел.

— Это — маленькая парикмахерская уловка. Когда мы падаем с ног, когда трудимся нон-стоп без перекуса и передышки, мы — раз! — кольнем себе пальчик и получаем право сходить в туалет, съесть шоколадку или, если повезет, булочку с сыром. Так вы меня простите? Я умираю от голода.

— Конечно идите.

Сверкнув стеклянной улыбкой, он выскользнул из зала.

Она ждала. За воротник затекло немного воды. Еще несколько капель добрались по лбу до самых глаз. Она смотрела на свое бедное лицо, на сырую реденькую паклю волос, на пару сиротливых оловянных бигуди с прищепками. Ее охватила нежная жалость и ярость: как, когда появилось у нее это лицо? Она помнила себя, нет, не девушкой, а молодой женщиной, смотревшей из-под

густого каштанового полога волос на свое лицо и не верившей, что однажды эту кожу тронет крапина, появятся морщины, брыли, мешки под глазами. Это мое лицо, думала она тогда. Вот это, нынешнее лицо она тоже хотела бы принять за свое — поскольку была воспитана в уважении к честности, — хотела, но не могла. Что, кто совершил это превращение, почему посерела и шелушится кожа, почему не разгладить эти въедливые борозды? Кто виноват, как не она сама, как не прожитая ею жизнь? Она никогда не слыла красавицей, но когда-то лучилась обаянием и живой теплой силой, кровь в ней кипела и глаз горел. Не было у нее классического профиля, который можно сохранить до седых волос, не было птичьей хрупкости, которая не дает стареть. Была одна лишь жизнь плоти. А теперь эта плоть начала умирать.

Она панически боялась похода на телевидение: признание пришло слишком поздно, когда она уже не стремилась под чужие взгляды. Ведь камера так и норовит выхватить оплывший подбородок, ввалившиеся глазницы, выставляет напоказ штрихи и трещины времени — как их ни прячь, как ни припудривай. Телекамеры делают столь интересные открытия, что слова, простые

слова, которые ты при этом произносишь, пропадают впустую, а вот память о сколотом зубе, о заблудшей красной точке на веке, о нелепой прическе сохранится в памяти зрителей.

* * *

Если бы он не оставил ее так надолго, если бы она не сидела, глядя на свое мокрое лицо, возможно, ничего бы не случилось.

В креслах по бокам от нее происходили великие таинства. Слева чью-то голову втискивали в розовый нейлоновый мешок, нечто среднее между чулком, в котором грабят банк, и чудовищным презервативом. Молодой китаец методично извлекал через отверстия этого сооружения прядь за прядью: подденет — вытащит, подденет — вытащит. Голова при этом напоминала отвратительную розовую плешь, на которой там и сям взбулькивают кочки. Справа пухлая девушка трепетно закатывала массивные пряди другой девушки в змеевидные колбасы из фольги. Из динамиков доносился глухой барабанный бой и скрежет-лязг, — похоже, кто-то потрясал кандалами. Какая глупость, думала она, надо скорей домой, надо уйти, а как идти — я же вся мокрая… Сидевшие справа и слева женщины и она сама

в ужасе уставились в зеркало — каждая на свое уродство.

Он возвратился и вяло взял в руки ножницы.

— Сколько хотите снять? — спросил он небрежно. — Концы-то как посеклись! Волосы портятся. Велел же вам их подкармливать, пока меня не будет.

— Много не снимайте, я хочу выглядеть поестественней…

— Я обсудил с подругой. И принял решение. К жене не вернусь. Больше не могу все это выносить.

— Она очень сердится?

— Вообще распустилась. И в этом ее ошибка. Она махнула на себя рукой. Ноги толстые — вот тут, на щиколотках, раздулись, — аж над туфлями нависают. Отвратительно. Видеть не могу.

— Так бывает. Вода плохо из организма выводится…

Вниз, на свои щиколотки, она не смотрела. Он взялся за короткие волосы у самой шеи.

— Люсьен, — взмолилась пухлая девушка, — помогите мне с перманентом! Что-то у меня не получается.

— Ты давай поосторожнее, — сказал Люсьен, — а то мадам позеленеет и задымится. Нам только

этого не хватало! Иди-ка сюда, достриги даму — вы же не возражаете, дорогая? Дейдра с вашими волосами справится, как никто, и она очень тактична, я ее сам обучал, а я уж посмотрю на этот перманент. Мы как раз испытываем новый уникальный метод, проблемы уже были, не хотелось бы новых…

Дейдра ужасно старалась ее разговорить, но Сюзанна молчала. Тоненький тревожный голосок девушки долетал откуда-то издалека: "А дети у вас есть? А до дому вам далеко? Идти или ехать? Вам нравится построже? Сделать с начесом?…" Сюзанна сидела как каменная и думала о щиколотках Люсьеновой жены. Она должна была, просто обязана была посочувствовать этой неизвестной несчастной женщине, поскольку ее собственные щиколотки тоже разбухли и терлись о край обуви. С внезапной ясностью она вспомнила день, когда она — еще Сюзи, а не Сюзанна — весь день напролет занималась любовью с итальянским студентом на курсе в Перудже. Она вспомнила свои маленькие, округлые розовые груди, свои длинные ноги, раскинутые на ширину узкой односпальной кровати, жар, пот, его плечи и как они стукнулись лбами, пытаясь слиться в одно целое. И вот они достигли

такой точки, такой любви, когда ни один из них уже не мог двинуться, они попытались встать, чтобы сходить за водой, поскольку оба умирали от жажды: простыни были мокры от пота, во рту пересохло, но, приподнявшись, они снова рухнули на кровать, тело к телу, кожа к коже. Да кому сейчас есть до этого дело? В ней вскипела обида за женщину с толстыми щиколотками, красная ярость волной поднялась от ног — через грудь, через шею, ударила в лицо, которое, должно быть, вспыхнуло, как красный флаг, но разве поймешь в этом ненормальном жестоком сером свете? Дейдра начесывала завитки, вытягивая их вверх до последнего волоска. Кто бы мог подумать, что у старухи так много волос? Сардельки и раковины улиток, грозди винограда и петли, петли… Она различала картинку смутно, потому что красная волна нахлынула до самых глаз и застлала их красной пеленой, но она узнавала все, что видела. Японцы говорят, что демоны иного мира добираются до нас сквозь зеркала, как рыбы сквозь воду, и как раз сейчас к ней плыл толстый демон с выпученными глазами и развевающимися плавниками, увенчанный короной-пирамидой, короной-змеей, ее собственная мать во плоти, со свежей укладкой, во всей

своей нелепой ирреальности.

— Ну вот, — сказала Дейдра. — Отлично вышло. Сейчас принесу еще зеркало, сзади посмотрите.

— Ничего отличного, — сказала Сюзанна. — Отвратительно.

В салоне повисла тишина. Дейдра в ужасе взглянула на Люсьена.

— Мадам, девочка сделала куда лучше, чем я, — сказал он. — Придала волосам объем. Именно это сейчас и требуется, очень модно. Вы действительно шикарно выглядите.

— Это ужасно, — сказала Сюзанна. — Я похожа на старуху с укладкой.

Она увидела, как все переглянулись, подтверждая друг другу, что такая она и есть.

— Неестественно, — проговорила она.

— Сейчас Дейдра уберет начесик, — сказал Люсьен.

Сюзанна подняла бутылку с гелем, полную. И со всего размаху шарахнула ею о серую стеклянную полку; раздался треск. Как загипнотизированная смотрела она на трещину, жирно умащенную гелем.

— Не трогайте меня! Верните мои настоящие волосы! — закричала Сюзанна и ударила еще сильнее, разбив разом и полку, и бутылку.

— Дражайшая мадам, — начал Люсьен приторным увещевательным голосом.

Она видела сразу несколько Люсьенов, и все они на нее надвигались, отражаясь в зеркалах от стены до стены: целая когорта стройных фехтовальщиков в обтягивающих брюках размахивала блестящими ножницами, словно шпагами.

— Не подходите! — выкрикнула она. — Замрите. Ни шагу вперед.

— Успокойтесь, — сказал Люсьен.

Сюзанна захватила маленькую цилиндрическую баночку и запустила в одного из Люсьенов. Банка разбилась, точно бомба, с ласкающим слух грохотом, по зеркалу разбежалась паутина трещин, и оно со звоном рассыпалось на кучу хрустальных самородков. Перед Сюзанной стоял целый строй таких баночек-бомб. И она принялась метать их во всех направлениях. Трещины зазмеились по всем зеркалам. Одни стонали тихонько и сипло, другие — мгновенно разлетались осколками. Раскрутив над головой коробку со шпильками, она запулила ею в зеркало — этакий начиненный железяками разрывной снаряд. Она вырывала фены из розеток, она заливала душистой пеной фотографии панкующих девиц с красно-медными волосами. Колотила щетками

по раковинам и запустила тарахтеть тележку, а та, опасно раскачиваясь и роняя по дороге комки ваты и звонкие гирлянды зажимов и заколок, сбила с ног молодого китайца, который — единственный из присутствующих, — похоже, не замер, где стоял. Идиотскую тарахтящую музычку она заткнула с одного прицельного броска: в магнитофон полетел псевдоантичный гипсовый горшок с "Эмульсией юности", омолаживающая жидкость тихой струйкой слилась в кассету, и та крутилась все медленнее и наконец замерла в густеющей жиже цвета кровь-с-молоком.

Когда она закончила — а она не закончила, пока не иссякли все ресурсы, всё, что годилось, чтобы швырнуть, она не могла остановиться, потому что уже боялась того, что неминуемо произойдет, когда она закончит, — в салоне наступила полная тишина. Люди молчали, слышны были только странные, резкие звуки, и они неслись отовсюду. Миска покачивалась на стеклянной полке. Ножницы дергались-танцевали на крюке с замирающей амплитудой. Время от времени, неравномерно, отваливались кусочки зеркал — словно звонкие градины, они падали на полки и на пол. Шорох шпилек. Скрежет треснутых стекол. Капли крови с ее собственных рук. Люсьен

подошел — хрустя подошвами по сверкающему, усыпанному осколками полу — и промокнул ее руки полотенцем. Ему тоже перепало: пятна крови на рубашке, алый мазок во весь лоб, но ничего опасного. Они остались на внезапно опустевшем поле брани, среди блестящих осколков, душистых ручьев и венозно-синих и пурпурных лужиц от растекшихся мазей, среди пузырей бурой пены и нестерпимо ярких пятен пролитой оранжевой хны, кобальта и меди.

— Я, пожалуй, пойду… — Словно слепая, она выставила вперед кровоточащие руки и сделала шаг к двери, так и не сняв темно-бордовую бесформенную накидку.

— Дейдра принесет вам кофе, — сказал Люсьен. — Надо посидеть, отдышаться.

Он взял щетку и смахнул с кресла осколки. Она смотрела растерянно, не зная, что делать.

— Присядьте, мадам. Нам всем порой хочется такое учинить. Просто решимости не хватает. Садитесь.

Они обступили ее — молодые лица, молодые тела, все успокоительно щебетали, ласково протягивали руки.

— Я пришлю вам чек.

— Страховка все покроет. Не волнуйтесь. В

какой-то мере вы оказали мне большую услугу. Цвета-то выбраны неудачные. Подумаю — может, перекрашу. Или получу страховку да и прикрою дело. Мы с подругой подумываем взять киоск в гипермаркете "Антик". Бижутерией всякой торговать. Китч тридцатых-сороковых. Она знает, где все это брать. Так что могу получить страховку, и прости-прощай. С меня достаточно. Скажу как на духу: я и сам сто раз хотел тут все расколотить, только чтобы вырваться на волю, — это же клетка, стеклянная клетка, а я хочу в реальный мир. В общем, дорогая, ни о чем не тревожьтесь, все хорошо.

* * *

Дома она просто села и сидела. Ее колотила дрожь, щеки полыхали, в глазах стояли слезы. Вот сейчас, сейчас она возьмет себя в руки, примет душ, вымоет голову — избавится от этих жутких начесанных кудряшек, превратит их обратно в жалкие крысиные хвостики. Неожиданно пришел муж. Она его не ждала, она давно перестала его ждать, зряшное это занятие, ибо его передвижения были непредсказуемы и необъяснимы. Он заглянул в комнату: крупный, вполне бодрый, лишь для вида утомленный работой. Она смотре-

ла на него молча. И он ее, против обыкновения, увидел.

— Ты как-то иначе выглядишь. А-а, укладку сделала! Мне нравится. Чудесно, чудесно. Прямо двадцать лет сбросила. Надо почаще в парикмахерскую ходить.

А потом он подошел и поцеловал ее в стриженый затылок — внизу, у самой шеи, как когда-то.

Художники[109]

В 1947 году Матисс написал *Le Silence habité des maisons*, то есть "Молчание, обитающее в домах". В своей книге о художнике сэр Лоуренс Гоуинг поместил репродукцию этой картины, правда очень маленькую, черно-белую. За прямоугольным столом, расположившись по сторонам одного угла, сидят близко двое: возможно, мать — она задумчиво положила подбородок на руку, локтем опирается на стол — и, возможно, ее сын — или дочь? — листает огромную белую книгу, выгиб страниц которой вторит изгибу детского предплечья. На переднем плане ваза с цветами, на заднем — окно, разделенное рамой на шесть квадратов, за окном — кущи деревьев, и не светит ли солнце? Лица людей на картине — простые белые овалы, без каких бы то ни было черт. В левом верхнем углу полотна, вровень с верхом оконной рамы, над кирпичною кладкой, — некий белесый, мелом начертанный контур, так рисуют дети круг на стебле. Жаль, что репродукция в книге Гоуинга не цветная, но ведь можно, существует такой

---

[109] Примечания: 109
Перевод М. Межуева

соблазн — вообразить роскошные цвета, какие, по мнению Гоуинга, "в столь невообразимых сочетаниях доступны лишь великим художникам в старости". Поздние картины Матисса, пишет Гоуинг, насыщены необыкновенной жизненной силой: "Матисс в конце концов спокойно и непринужденно заставляет служить искусству самый неистовый порыв". Репродукция в книге Гоуинга — крошечный темный прямоугольник, напоенный сдержанными, приглушенными оттенками серого: тут есть угольно-серый, и серый как сланец, и бледно-серый, как мягкий растушеванный карандаш. И на месте серого можно вообразить что-то огненное — кармин или киноварь; или пульсирующую иссиня-черную темноту; или, может быть, золото с зеленью (за окном). Темноту ребенка на картине можно представить черной по черному, черной по синему или синей по какому-то красному. Только книга — белая. И что же за неведомый тотем взирает на них с шестка?...

В доме номер 49 по улице Альма-роуд царит молчание, но не столько *обитающее*, сколько *обитаемое*: не звучат голоса людей, но есть звуки — иные настойчивы и пронизывают весь дом. Впрочем, приспособленное к ним ухо вполне может принять их за шумовой фон молчания.

Ритмично плюхает белье в барабане стиральной машины: мокрая масса вертится в одну сторону, замирает, машина чуть посипит и запускает вращение в другую сторону, с легким призвуком шлифовального камня. Привычный к обитанию средь подобного шума человек загодя готов к звукам отжима, и ему нипочем, когда машина завизжит и станет отбивать барабанную дробь ножками о кафельный пол.

Тут же грохочет сушилка. Она уже старая, графитовые щетки мотора износились, медленно вращается, бухает и скрипит барабан. Комок белья внутри проворачивается, падает с глухим стуком, поднимается, проворачивается и снова глухо шмякает. Рукава и чулки переплетаются с тоненькими лямками комбинаций, бретельками бюстгальтеров, скручиваются в жгуты и шары; чуткое ухо по стуку отличит ткань и объем закладки.

Утро в разгаре; в гостиной сам для себя бурчит телевизор, никто его не смотрит. Бурчит негромко, в доме есть правило: сильно не шуметь. В телевизоре пошумливают женщины-ведущие детских телепрограмм, нарочито задорно и жизнерадостно щебечут, регулярно чем-нибудь восторгаются; там же ворчит, гогочет и прон-

зительно пищит целая орда меховых кукол: косоглазый мордастый стог сена цвета фуксии, синяя песчанка с завитым хвостом да свернувшаяся в клубок почти неподвижная изумрудная змея с хлопающими ресницами и трепещущим языком ярко-красного цвета, в какой красят почтовые ящики. В четко отмеренное время щебет ведущей, хрюканье и кваканье кукол прерываются музыкальными вставками, чем-то даже напоминающими цикл раскрутки барабана стиральной машины: звучит барабанная дробь, вступают деревянные духовые, рассыпается перкуссия — та-та-та-та́, — словно знаки препинания в тексте. А в конце этой музычки вылетает на отсутствующего зрителя сплошной розовый экран с яростно-зеленым логотипом телекомпании "ТН-ТВ".

На первом этаже из-под закрытой двери Джейми слышно, как бегает по кругу и шелестит по игрушечным рельсам игрушечный локомотив. В Наташиной комнате почти тихо: Наташа слушает музыку в больших наушниках и не слышит никаких внешних звуков, в голове ее мечется дикий стройный шум: стучит ударник, взрываются крики, завывают солисты. Она лежит на кровати и подергивается в такт. Любой, кто

войдет на этаж, уже из дальнего конца коридора услышит глухие удары ослабленного этого звука, что пытается вырваться из своей парной кожаной оболочки, напоминающей боксерские перчатки. На лице у Наташи пустое блаженное выражение Матиссовых возлежащих женщин. Ее лицо белокоже, овально, лучится юностью. Ее иссиня-черные волосы разметались веером по подушке с наволочкой, которую пора бы уже сменить. Постельное прямоугольное покрывало пестрит черными силуэтами то ли папоротников, то ли морских водорослей на алом фоне — когда бы не Матисс, дизайнер до такого ни за что б не додумался. Наташины руки и ноги свисают с кровати за пределами сбитого покрывала: белые, мягкие, расслабленные, подергивающиеся. Простовато для одалиски, но изгибы и линии не менее соблазнительны. Только вот, пожалуй, подергивания живописец не сумел бы запечатлеть.

В комнате Деборы (по-домашнему — Дебби) стучит пишущая машинка. Это старая механическая пишущая машинка с металлическим стуком и звоном: она выстукивает строчку, потом клацает каретка и музыкально — или почти музыкально — звякает колокольчик. Тук-тук-тук такатта́ такатта́ такатта́ клац динь такатта́ тук тук. Ти-

шина. Дебби задумалась за машинкой, положив овальный подбородок на сцепленные продолговатые ладони, ее черные волосы изящно вьются у шеи. Ясно, откуда у Наташи ее красивые иссиня-черные волосы, кожа цвета слоновой кости. Дебби хмурится. Стучит по зубу (эмаль цвета слоновой кости, чуть темнее, чем кожа) овальным ногтем маренового цвета. У Дебби очень тесный кабинет — или студия. Тут стоит мольберт: когда не нужен, его отодвигают к окну, и свет из окна пропадает почти совсем, мольберт закрывает ярко-красные герани и кобальтовые лобелии, что растут в ящике на подоконнике. Дебби работает или за столом, или у мольберта, но не одновременно у того и у другого, как ей бы хотелось. Она редактор статей о дизайне в журнале "Место женщины", где пусть туманно, но продвигают мысль, что место женщины не только — и, может быть, даже не в первую очередь — у домашнего очага. Сейчас Дебби работает дома, потому что у Джейми ветрянка и они ждут врача, а врач не знает, во сколько точно придет или не придет, очень напряженный график. У Джейми тот же черный, с синеватым отливом, волос, что у матери и сестры, а ресницы над черными глазами даже длиннее. И кожа у него такая же белая, но

вот прямо сейчас она вся покрыта — где гуще, где реже — забавными розовыми точками и бугорками — в основном того же оттенка, что у розовых бегоний с мясистыми листьями, хотя некоторые прыщи уже темно-оранжевые или цвета потухшего вулкана, с корочкой цвета умбры или охры. Телевизор включили для Джейми, но он сейчас не может ни на чем сосредоточиться, слишком уж сильно зудит сыпь: Джейми впивается в кожу обкусанными ногтями, трется о стулья. Дебби поставила его на кофейный столик, обтерла и раскрасила каламином, так что он стал похож на кекс, облитый сахарным сиропом, или на парижский гипсовый манекен: рыхлая обсыпающаяся розово-бежевая поверхность, грубый грим, шелушащаяся краска, скучный блеклый цвет, из-под которого настырно проступает сыпь ветрянки. "Боевой раскрас! — подбадривает Дебби сына, точками и штрихами нанося лечебную жидкость и размазывая ее по маленькому круглому животу и промеж многострадальных горячих ног. — И сахарная глазурь. Тут у нас будут полоски трех цветов". Дебби рада бы раскрасить его полностью — и в папоротниковый зеленый, и в кошениль, только бы он успокоился и отвлекся, но нужно заканчивать текст о новом веянии в дизайне

кухонной мебели, о сумасшедших расцветках и потрясающих новых обтекаемых формах.

Стены в кабинете Дебби окрашены в лимонный цвет, висят фотографии Наташи и Джейми: на самых первых еще совсем голенькие младенцы, а дальше уже школьники со щербатыми улыбками до ушей; несколько крошечных ксилографий, герои сказок: русалка, старая ведьма с веретеном, медведь с двумя розами, и — в совсем другом стиле — маленькая картина маслом, на которой изображен стол: гиперреалистичный деревянный стол, на столе синяя ваза и маленький кубик Рубика. Есть еще две картинки в белых рамках, которые нарисовала Наташа, когда была помладше: ваза с водянисто-красными и фиолетовыми анемонами; платье на стуле: синее платье, серый стул, многообещающие складки и пустота вокруг — может быть, случайная, а может быть, и нет.

Дебби продолжает печатать, но тут звонят в дверь, она вздрагивает и поворачивает голову на звонок. Продолжает печатать: "…упоительный свежий новый пурпурный цвет напоминает черничный сок с капелькой вмешанных в него сливок". И снова звонок, но уже не дверного звонка: звонит телефон, причем сигнал — один из новых, особенно тонко и противно жужжащих.

Это главный редактор, спрашивает, сможет ли она присутствовать на совещании по обсуждению верстки. Она отвечает — вкрадчиво, с увещеваниями, ходит вокруг да около, надеется на снисхождение. Редактор "Места женщины" — мужчина. Он читает, но несколько презирает статьи, которые периодически печатаются в его периодическом издании, о чувстве вины работающей матери. Дебби решается на отвлекающий маневр и смешит его описанием того, в каких местах у бедняги Джейми умудрилась выскочить сыпь. "Вот ведь бедняга!" — квакает редактор прямо в ухо Дебби, больше никто в доме его не слышит.

По лестнице вверх и вниз по всем трем этажам раскатисто гуляет вой и свист со сложным ритмом, объемное крещендо, сопящее и сосущее; шкрябанье и гул на высокой ноте по временам прерываются неистовым грохотом и злобным завыванием на новый лад. Это ходит вперед и назад и пылесосит миссис Браун — и нужно сказать без обиняков, что без нее мир Дебби давно уже рухнул бы и развалился на части.

Миссис Браун появилась в доме десять лет назад по объявлению в местной газете. Наташе было четыре, Джейми должен был вот-вот

родиться. Дебби нездоровилось, она пребывала в отчаянии и в страхе потерять работу. В объявлении она указала, что уборщица требуется в "семью художников", — в расчете если не на приязнь, то хотя бы на снисхождение к драным обоям и бесконечному бардаку. На объявление почти никто не откликнулся: пара художников-студентов, причем одна из них была незамужняя молодая мама, которая предложила по очереди сидеть с детьми, рисовать и заниматься делами по хозяйству; престарелая подслеповатая бывшая горничная, медлительная как черепаха; и миссис Браун. Цвет кожи у миссис Браун был не черным и не коричневым, а янтарно-желтым: цвета синяка, когда он желтеет перед тем, как окончательно сойти; только синяки бывают местами, а у нее этот цвет был сплошь. Шапка жестких цвета сажи волос, которые, наподобие короны карточного короля, торчат из-под цветастой головной повязки, туго стянувшей лоб на манер махровой повязки теннисиста или чепца старомодной служанки. Одежда у миссис Браун была тогда и остается теперь цветастой и удивительной: она сделана из того, что залеживается в магазинах секонд-хенд, обрезков лент; еще миссис Браун носит джемперы всех

цветов радуги, связанные из остатков пряжи, из клубков размером с шарик для пинг-понга, которыми пренебрегают другие вязальщицы. На собеседование она пришла в нечищеном (впрочем, не слишком грязном) тренче кинозвезды — и не снимала его до тех пор, пока Дебби не произнесла пересохшими от волнения губами: "Думаю, мы, вы и я, можем поладить. Как вам кажется?" Миссис Браун решительно кивнула, приняла предложенную ей чашку кофе и сняла наконец свой тренч — под которым оказались шаровары какой-то толстой сливочного цвета ткани, из тех, какими обычно обивают мебель, с чудаковатым узором из распустившихся бутонов ярко-красных индийских цветов, райских птиц и каких-то неземных вьющихся растений; сверху — васильковый шерстяной джемпер, сплошь расшитый маргаритками, белыми хризантемами и оранжевыми с черным гибискусами.

Миссис Браун не слишком улыбчива. Ее лицо немного похоже на грубую туземную маску: треугольные щеки, длинный, прямой выдающийся нос, губы обыкновенно плотно сжаты. Выражение лица кажется чопорным, или мрачным, или настороженным, или, может быть, — эта мысль приходит в голову последней — смиренным.

Ей нравится ходить по дому босиком: сама она объясняет, что не привыкла к такому горячему отоплению, подразумевая — если Дебби поняла ее правильно, — что отопление — нездоровая роскошь. Иной раз она без предупреждения подходит сзади, и поначалу Дебби ужасно пугалась и раздражалась, но теперь привыкла, полностью привыкла к миссис Браун и думает о ней с одним-единственным чувством: только бы та не решила от них сбежать! Конечно, подругой Дебби миссис Браун не назовешь, но для Дебби она самый близкий на земле человек, за исключением разве что членов семьи. Дебби и миссис Браун не делятся сокровенным, не сплетничают — просто в душе они знают все о страхах и невзгодах друг друга, ну или Дебби так кажется; тем не менее она сознает, что миссис Браун известно о ней самой больше, чем ей когда-либо будет известно о миссис Браун, поскольку именно в доме Дебби происходят их отношения. Миссис Браун стирает нижнее белье Дебби и убирает ее рабочий стол, складывает в аккуратные стопки ее личные и официальные, грозные и тайные письма. Миссис Браун пересчитывает бутылки и сметает разбитые стаканы после вечеринок (впрочем, никогда не угощается с чужого праздничного стола). Миссис Браун же

меняет постельное белье на кровати Дебби.

На том решающем собеседовании Дебби, хотя и умирала от любопытства, не спросила миссис Браун о детях: сама Дебби терпеть не может, когда на собеседованиях ее спрашивают, есть ли дети у нее и как она намерена совмещать это с работой. Дебби осведомилась, есть ли у миссис Браун телефон, та ответила — да, есть, он просто необходим, и слово "необходим" произнесла четко и сухо, вот так, без объяснений. "Значит, вы всегда сумеете сообщить мне заранее… — сказала Дебби как можно дружелюбней и обходительней, — если не сможете прийти… Если у вас не получится прийти? Потому что если меня подведут, то мне придется искать на месте выход из положения… А это ну никак не годится". — "Думаю, я человек надежный, — ответила миссис Браун. — Конечно, соловья баснями не кормят, вам нужно убедиться на деле. Но вы не волнуйтесь, за исключением непредвиденных обстоятельств, за мной как за стеной". — "Форс-мажор", — кивает Дебби. "Ну да, и еще Хукер, разумеется", — замечает миссис Браун, не уточняя, кто же этот Хукер.

Дебби вскоре убедилась, что с миссис Браун, как та выразилась, и впрямь как за стеной. Еще она узнала, хоть и не сразу, что у миссис Браун

два сына, Лоуренс и Гарет, второго друзья звали "Гари", сама же миссис Браун — никогда. Когда миссис Браун пришла к Дебби, мальчикам было восемь и десять. Сейчас Лоуренс уже учится в Университете Ньюкасла: там дешевле жилье, объясняет миссис Браун. Гарет ушел из дома, не имея толком ни образования, ни постоянной работы, как говорит миссис Браун — "подался в торговцы". "Сошелся не с теми людьми", — без подробностей уточняет миссис Браун. Хукер — отец Лоуренса и Гарета. Дебби не знает — и не спрашивает, — муж ли он миссис Браун. Когда Наташа и Джейми были совсем маленькими, Хукер время от времени врывался в жизнь миссис Браун, заявлялся в муниципальную квартиру, где она проживает и откуда сам Хукер съехал еще до того, как миссис Браун занялась уборкой у Дебби и других клиентов. Один из своих редких выходных миссис Браун провела в суде, где получила на руки запретительное предписание для Хукера, чтобы перестал ей докучать. Хукер бил миссис Браун: после его визитов у нее появлялись кровоподтеки на шее, шишки на голове и запекшаяся кровь цвета вина на губах. Только однажды Дебби застала миссис Браун в слезах, та сидела на стуле в ванной и плакала навзрыд; Дебби принесла ей

кофе, сидела с ней, держала за руки и в конце концов отправила домой на такси. Миссис Браун в свою очередь заботилась о Дебби, когда у той была депрессия после рождения Джейми. Миссис Браун умела быть, когда надо, снисходительной, а когда надо — требовательной. "Я принесла вам супа: поешьте, иначе какой от вас толк?" Или: "Миссис Деннисон, поглядите: я принесла вам сына, он плачет и никак не успокоится, потому что хочет кушать. Хочет к маме на ручки!" Друг к дружке они обращаются "миссис Деннисон" и "миссис Браун". Эта вежливость оставляет между ними удобный промежуток, позволяет свободно дышать. Миссис Браун с негодованием вспоминала о тех нескольких днях, что пролежала в больнице с сотрясением мозга после одного из визитов Хукера: "Они там называют тебя "милая", "солнышко" и прочее. А я им говорю, что требую к себе уважения. Меня зовут миссис Браун, и никак иначе!"

"Новые технологии молдинга позволяют придавать захватывающие очертания самым банальным предметам. Даже раковина в ванной и баночки…" — печатает Дебби. "Банальным" — неправильное слово, думает Дебби. "Повседневным"? Тоже не то. Пылесос пыхтит на площадке

между этажами. Звенит дверной звонок. С верхнего этажа доносится мужской голос, полный ярости:

— Дебби! Дебби, ты где? Иди сюда на минуту!

Дебби разрывается.

Миссис Браун бросает пылесос прямо у балюстрады со всеми его глупыми трубками и безвольно провисшим шлангом:

— Идите к нему, а я пущу доктора и скажу, что вы вот-вот спуститесь.

Дебби перешагивает через пылесос и идет в мансарду.

* * *

— Посмотри! — возмущается ее муж Робин. — Ты только посмотри, что она наделала! Ну как втолковать ей, что нельзя так обращаться с моими вещами? Или ей придется уйти!

Робин занимает весь четвертый этаж, где когда-то было три спальни и крохотная ванная с туалетом: теперь здесь его студия. В крыше большие подвесные окна с полотняными кремовыми и терракотовыми шторами. Тут можно устроить почти любой свет, почти под любым углом. Дебби, как всегда, раздирают эмоции: она боится, что Робин станет кричать на миссис Браун, боится,

что миссис Браун обидится; Дебби гневается, хмурится и вместе с тем благодарна, — по крайней мере, он жалуется ей, а не орет на миссис Браун.

— К Джейми пришел доктор, милый, — отвечает Дебби. — Мне надо идти, это недолго.

— Вот хотя бы ваза, — не унимается Робин Деннисон. — Всем ясно, что эта ваза — произведение искусства. Ты посмотри на эту глазурь! Только посмотри на эти сочные фрукты, голубые с оранжевым! Зеленые листья с желтой каймой. Дебби, ты только посмотри! Ну скажи мне: кому еще взбредет в голову, что эта ваза — ведерко для мусора?! Что туда можно положить то, что лень убрать куда-то еще или вынести вон?! Кто в здравом уме станет так делать???

— Ну и что такого? — спокойно спрашивает Дебби, одновременно вслушиваясь в происходящее на лестнице.

— Вот, посмотри! — кричит Робин.

В роскошно расписанной, но пыльной вазе — несколько резинок разных цветов, собранные в цепочку скрепки, темная пластиковая шестеренка от каких-то крошечных часов, потрепанная, но неклееная марка, две палочки масляной пастели, синяя и оранжевая, засохшая хлебная корка, обрезок провода, сухая хризантема, три цветные

кнопки (красная, синяя, зеленая), темно-голубая запонка без пары, сгоревшая электрическая лампочка с пятном на боку, коробок спичек, фарфоровая накладка на замочную скважину, два ластика, мертвая муха и пара живых муравьев, которые бегают кругами, то ли заняты делом, то ли просто в панике.

— То, что она делает, просто невыносимо! — уверяет Робин.

Дебби окидывает взглядом кабинет: не сказать, что его хозяин аккуратен. Помимо очевидного художественного бардака — палитр с засохшими красками, сохнущих полотен, кувшинов с водой — тут и просто много всякого барахла, тут и там. Журналы, распечатанные и нет; винные стаканы, пивные стаканы, бутылки; рассыпанные повсюду цветные карандаши и мелки для рисования, нераспечатанные письма из налоговой, блюдца, на которых горками лежат всякие зажимы и булавки.

— У тебя очень трудно понять, что оставить на месте, а что убрать.

— Нет, не трудно! Мусор есть мусор, а личные вещи… которыми пользуются… ими пользуются! Просто нужно немного подумать!

— Смотри-ка, похоже, она нашла ту запонку, о

которой ты так сокрушался.

— Помнится, я сам ее нашел и кое-куда убрал, значит она и туда залезла!..

Подобные "дежурные" диалоги у них с Дебби происходят постоянно, хотя Дебби даже слушать такое трудно, не говоря уже о том, чтобы выдерживать роль и произносить невинные реплики; но она чувствует, что так нужно: иначе все рухнет. Она не знает точно, кому нужнее эти беседы: Робину для самоутверждения или ей самой, — потому что, если не защитить миссис Браун от Робина, миссис Браун от них уйдет. Она больше не может этого слышать, но она чутко поворачивается, внемлет, как Доннова ножка циркуля,[110] как гелиотроп.

— Она что, не видела, что я писал именно эту вазу?!

По всей студии, на грубых деревянных мольбертах, и правда развешены наброски — углем и цветными мелками — именно этой вазы.

Дебби вдруг приходит в голову, что миссис Браун затем и взяла вазу, чтобы собрать в нее всякую мелочь… неспроста взяла!.. У миссис Браун свои способы тихо выразить гнев. Она никогда ничего

---

[110] Примечания: 110

Джон Донн. Прощанье, запрещающее скорбь (Valediction Forbidding Mourning).

не скажет вслух. Но Робина не заботят чувства миссис Браун, ему вообще нет до них дела.

— Хочешь, любимый, я все это заберу и выкину в урну в моем кабинете? И заодно протру твою вазу от пыли?

— Подожди-ка! Резинки вполне еще годятся. Хлебная корка у меня вместо скребка. Спички еще погорят, так что тоже пригодятся. Некоторые из нас, знаешь ли, не могут позволить себе выкидывать вот так запросто годные вещи.

— В таком случае куда все это положить?

— Вон туда. На стол. А я потом все сам уберу. И протри, пожалуйста, вазу от пыли.

Дебби делает, как он просит, только еще откладывает в сторону запонку: надо будет отнести на туалетный столик. Она поднимает глаза на мужа: тот все еще смотрит гневливо — и вдруг улыбается как нашкодивший, но уже кающийся мальчишка. Длинный, очень худой — кожа да кости, — в рыбацкой блузе, с крупными щиколотками, коленями, локтями и костяшками пальцев, словно подросток, каким он отнюдь не является. У него типично английское лицо: бело-розовое, длинное, с тонкими чертами — как у встревоженного жеребенка. Мягкие волосы торчат вокруг всей головы, так что голова напоминает ежика,

да и цветом похожа. Глаза у Робина пронзительно-голубые, как цветы вероники. Фотограф увидел бы тут два возможных образа: утонченный мистик или увлеченный игрок в крикет. Художник мог бы тоже пойти двумя разными путями: подчеркнуть некоторую размытость кромок, черт, дать лицо светлым, нетяжелым или же, наоборот, сосредоточиться на выступах, косточках, надбровных валиках, подбородке, тонком носе, резком среди бледного лица…

— Тебе же отлично удалось объяснить ей насчет "фетишей".

— Я потратил на это уйму времени, — ворчит он в ответ. — Пришлось читать ей лекции о светотени и дополнительных цветах. Я стоял перед ней как профессор, брал вещи и показывал.

— Думаю, ей было интересно.

— Она должна просто делать свою работу, а не лезть, куда не просят. Тем не менее у меня получилось ей растолковать. Уж поверь мне.

— Мне пора, милый: доктор приехал. Хочешь, принесу тебе кофе, когда он уйдет?

— Да, будь добра.

Извинений от него не услышишь, но "ссора" закончена. Дебби подходит поцеловать его в мягкую щеку, спрашивает:

— Есть новости от той девочки из галереи "Каллисто"?

— Вряд ли она придет. Думаю, она ко мне и не собиралась.

— Придет! — отвечает Дебби. — Я тоже с ней говорила: ей понравилась та сине-желтая картина с тарелкой, что висит у Тоби в кафе, в туалете. Она говорила, что, вообще-то, невысокого мнения о вкусе Тоби, но та твоя картинка просто изумительна, — да, так прямо и сказала. А еще сказала, что долго сидела в туалете и смотрела на эту картинку, даже очередь собралась.

— Наверное, она просто была под мухой.

— Не говори глупостей, Робин. Она придет, вот увидишь. Если б я не знала, не говорила бы.

* * *

На самом деле Дебора не знает, придет или нет эта Шона Макрури, но твердит, что придет обязательно: для нее и для самого Робина лучше, если у него есть надежда. Дебора любит Робина. Она полюбила его еще в школе искусств, где они познакомились, когда она изучала оформительскую графику, а он — изобразительные искусства. Она тогда всерьез занималась ксилографией, собиралась работать иллюстратором детских книг.

Робин ее привлек совершеннейшей преданностью работе, аскетичной отрешенностью от всего, чем жили прочие. Шумели шестидесятые, даже начало семидесятых, искусство было по большей части абстрактным: цветовые пятна или пятна без цвета, геометрические композиции, игры с самой природой холста и красочных пигментов, со светописью и ее восприятием человеческим глазом. Робин же сделался неореалистом еще до того, как возник сам неореализм. Он писал с умопомрачительным мастерством и точностью все, что видел: фактуру металла, дерева, гипса.

Писал пространственные плоскости нейтральных цветов: деревянные доски, стеклянные столешницы, бежевый лен, шелушащуюся штукатурку, и вдруг где-то — не в углу, но и не в центре, не там, откуда веером расходятся складки ткани или где сходятся волокнистые доски, — он совсем неожиданно помещал что-нибудь этакое, маленькое и очень красивое: стеклянный шарик, вазу из майолики, букетик цветов из тончайшего китайского фарфора (никогда ничего живого!), пучок перьев. Как будто на грани китча, но не китч — и тогда, и теперь. Эту живопись можно было бы размножить, сделать с нее привлекательные авторские оттиски, продавать с

вращающейся подставки в магазинах подарков. В семидесятые годы это, пожалуй, сошло бы за остроумную художественную манеру, а теперь — за ностальгическое изображение пустоты, допускающей видимость подлинности. Но Дебби понимала, что на самом деле Робин пытается решить серьезную, даже ужасающую задачу, ответить на вопрос, который должен задать себе рано или поздно каждый художник: зачем вообще все это нужно, зачем вообще что бы то ни было *изображать*?

Когда-то она сказала ему, впервые поглядев на две первые картины из этой серии — шестигранную китайскую ярко-желтую шкатулку на сером одеяле, пресс-папье на кухонном столе:

— Они прямо какие-то волшебные! Знаешь, иногда бывает: время будто останавливается, ты просто смотришь на что-то и вдруг *видишь* его — вне времени, и тут же охватывает чувство изумления… да, изумления, что ты вообще способна так видеть. И ты все смотришь, смотришь и постигаешь все лучше…

— То есть эти мои работы тебя этим и прикалывают?

— Ага. А ты разве не подобное ощущение пытался в них вложить?

— Вообще-то, да! Только никто этого не понимает. Ну, или, по крайней мере, никто мне еще не говорил.

— Мне кажется, люди должны понимать.

— Иногда я думаю, что людям… оно кажется больно уж обычным. Как говорится, *незатейливым*.

— Ну, это маловероятно…

Они знали плотское счастье, пусть и не слишком затейливое, и счастье это бросало отсвет на Робина, на всю их совместную жизнь, от чего картины его казались причудливее и ярче, а может, и впрямь становились такими? Когда они еще только поженились, у Робина было несколько часов преподавания в колледже; Дебби, чья степень и чьи художественные навыки оказались более востребованы, устроилась оформителем интерьера в корсетный магазин, а затем на одну из низших должностей в журнал "Место женщины", где вскоре получила повышение. Она была прекрасной сотрудницей, хорошо зарабатывала, семья жила на ее доходы. По сравнению с ее заработками доход Робина оказался ничтожным, не стало смысла держаться за место преподавателя…

У Дебби голова забита эффектными купальни-

ками, кастрюлями оранжевого морковного супа с изумрудной петрушкой, губной помадой на основе винограда, сливы, мака и розы, блеском для век, румянами — и призраками несозданных гравюр. Пальцы ее помнят медленную кропотливую работу резцом по дереву, с тихой, неуемной тоской она думает о том, что не стала иллюстратором, но с этим чувством можно смириться и жить. Она злится на Робина за то, что он никогда не заговорит с ней о нерожденных ксилографиях. Можно человека любить — и одновременно таить на него глухую обиду, если ты замкнутая натура. Дебби продолжает любить Робина, но обижается на его полнейшее безразличие — к гравюрам, живущим в ее душе, к тому, как она управляется с домом, детьми, деньгами, работой, даже с его запросами и причудами. Обижается она и на то, с какой настойчивостью он старается вывести из себя, унизить, выжить миссис Браун, без которой все старания Дебби удержать равновесие рассыплются, все пойдет прахом.

Оставшись один, Робин Деннисон нервно шагает взад и вперед по студии. Ему за сорок. Он так и думает: ну вот мне и за сорок. В последнее время он усиленно старается избегать мыслей о том, что его дело, работа, жизнь — сплошной

абсурд. Ему мало подходит артистический образ жизни. По темпераменту и воспитанию быть бы ему стряпчим или бухгалтером — носить строгие костюмы, по выходным ловить форель и играть в крикет. Он не особо уверен в себе, ему несвойственна бравада и совершенно чуждо истинное, абсолютное уединение, сосредоточенность на своей персоне, хотя живет он именно так, погрузившись в себя. Делает он это по причине упрямой веры в откровение, которое посетило его давным-давно и с тех пор не усилилось, но и не ослабло, прочно держит за сердце. Как-то в детстве тетка подарила ему набор гуаши, и он нарисовал герань, а потом аквариум. И до сих пор ему памятен запретный, как ему тогда почудилось, всплеск чувственного восторга от самого первого влажного карминового мазка по бумаге, от медленного кружения влажных волосков в лужице кобальта; штришки желтой охры и оранжевого ложились на матово-белое, и оживали влажные, извилистые рыбьи хвостики и плавники. От него было мало толку в других делах, поэтому родители не особо возражали против такого выбора профессии. Вооружившись кистями и красками — уверил он себя, — он сумеет одолеть художественное училище. Без них он

чувствовал себя серым клочком тумана в полной серого тумана вселенной. Он изображал маленькие яркие предметы в громадных пространствах серого, темно-желтого или бежевого. И все вокруг говорили: "Что-то в его работах *есть*". Или еще менее определенно: "В его работах есть *что-то*". Вот только этого *чего-то*, пожалуй, недостаточно, прибавляли они про себя, но Робин слышал только то, что говорено вслух.

С Дебби можно было разговаривать о главном. Дебби знала о его сокровенном ощущении цвета, он поведал ей свою детскую тайну, а она внимательно выслушала. По ночам он взволнованно рассказывал о Матиссе: кристальная чувственность великого полотна *Luxe, calme et volupté* парадоксально перетекает в религиозное ощущение природы сущего. В Матиссе нет излишней мягкости, говорил он Дебби, а есть *мощь*, спокойная мощь.

Дебби согласилась: "Да, именно так!" — прониклась его идеей. Вскоре они устроили себе каникулы на юге Франции: поработать на пленэре с яростным солнечным светом. Вышло ужасно. Робин пытался накладывать на полотно крупные яркие мазки в духе Матисса и Ван Гога, но выходило водянисто, слабо и нелепо, и ничего он с этим

поделать не мог. Единственная удачная картина из той поездки: какой-то красный жук, и тут же рядом большой жук-скарабей с иззелена-черной сверкающей спинкой, и яркая зеленовато-желтая бабочка — все трое расположились на заурядно-серой, розоватой, песочной, тускло-желтой, белой и терракотовой гальке, такие пестрые, но блеклые камешки есть на пляже в любой стране. Во все четыре стороны света этого полотна простиралась галечная пустыня, был еще сухой лист или два да несколько соломинок, разбросанных тут и там, и зловеще сияли трое насекомых. Картину купила одна галерея, у него затеплилась надежда на сотрудничество, но новых заказов не последовало, не случился взлет; и больше они никогда не выбирались на сильный свет, проводят теперь свои отпуска в Котсуолд-Хилс, в верховьях Темзы, среди пологих, неярко освещенных живописных английских холмов.

В последнее время Робин сделался ужасным деспотом в том, что касается вещей и предметов, которые он считает своими. Сам он думает, что виной тут исключительно его трудное призвание, но на самом деле это не так. Его отец Родни Деннисон, топограф по профессии, был таким же оригиналом: полагал, что есть особые

вещи, которые ему принадлежат, и вещи всех остальных людей, особенно его бесили "грязные вещи" домработницы. Он орал на нее и поносил перед домочадцами последними словами, если ей случалось выколотить из его трубки недокуренный табак, склеить в комок его обмылки или собрать в аккуратную стопку его разбросанные счета и чеки. Как теперь сам Робин от уборок миссис Браун, отец прямо-таки столбенел, если его хозяйству угрожали чистотой и порядком, в пазухах его черепа сгущалась слизь, наступали дыхательные спазмы. Как и для Робина, для него продвижение его домработницы миссис Бриггс с тряпкой через его владения было чем-то вроде путешествия улитки, которая перемещается по листу неумолимо, оставляя за собой мерзкую слизь. Робин думает, что его причуды — из-за Искусства. Ему не приходит в голову, что, может быть, его ненависть к миссис Браун — это оборотная сторона его собственной беспомощности, зависимости от жены, которая и деньги зарабатывает, и всех "строит". Он убежден, что Дебби прекрасна, воплощение чистоты и порядка. Зато миссис Браун — воплощение хаоса: дико выглядит, тайком курит и разводит грязь (хотя, если уж дело на то пошло, она скорее разметает ее по

углам, перераспределяет по дому).

У миссис Браун неудобная привычка делать им семейные подарки. У нее есть вязальная машина, которую Хукер стянул однажды с какого-то грузовика, кроме того, она хорошо вяжет на спицах, крючком и вышивает гладью по шелку, умеет даже ткать гобелены (вышивка и гобелены, впрочем, слишком дорогое удовольствие, не самая ее любимая техника). Она сама шьет себе одежду из всего, что попадает в руки: старые плюшевые шторы, арабские покрывала, парашютный шелк, собственные старые брюки. Вещи у нее получаются отменно броские: с декоративными заплатами, бахромой, галунами и умопомрачительными пуговицами. Робин думает: вот уж поистине живой образец безвкусицы. Эта мысль посещает его то и дело, потому что одежда миссис Браун неизменно бросается в глаза: лаймово-зеленая сорочка с черными кружевными вставками, оранжево-розовые креповые штаны, и на все это напялен фуксиево-красный и киноварный фартук! Но это бы еще ничего, если бы она то и дело не вязала — причем годами — ужасные джемперы для Наташи и Джейми. Всех цветов радуги, в невообразимых сочетаниях: со светлыми разноцветными полосками на белом фоне, со ска-

чущими помпончиками в виде вишенок; а к ним диковинные длинные шарфы из пушистой ангоры в разноцветную полоску — тошнотворных оттенков, какие иногда бывают у мороженого. Робин всякий раз кричит Дебби: все эти подарки надо *немедленно* вернуть, он *не позволит своим детям* это носить, только через его труп! У детей к этим подаркам разное отношение, в зависимости от возраста и обстоятельств. Когда Джейми было шесть, он просто не вылезал из одного такого джемпера с красными паровозиками и синими коровами. Наташа, когда ей было около пятнадцати, однажды произвела вдруг фурор на дискотеке, явившись в бахромчатом жакете кислотных оттенков (пронзительно-желтый, оранжево-розовый и иззелена-голубой, как вода в бассейне), но другие подарки носить отказывается, смотрит на них с тем же отвращением, что и отец. Хуже всех приходится Дебби: она мечется душой, всем сопереживает. Она отлично знает с раннего детства, каково это — носить одежду, которая не нравится или неудобна, делает тебя серой мышью или, наоборот, притягивает презрительно-любопытные взгляды. Кроме того, она искренне считает, что гораздо лучше, вежливее принять подарок с благодарностью и воодушев-

лением, чем предлагать кому-то подарки без разбора. Впрочем, у нее имеется и собственный эгоистический мотив: она не может обходиться без миссис Браун, она нуждается в миссис Браун; поэтому ее кухонный стол украшают пестрые лоскутные подставки работы миссис Браун, а в ее кабинете на стульях лежат круглые подушечки в вязаных чехлах розового и оранжевого цвета брауновской вязки. Иногда миссис Браун встает в дверях кабинета Дебби и рассуждает о цвете:

— Воспитательницы и бабки нам, помню, твердили, такая у них присказка была: "Лиловый да красный шить вместе опасно; зеленый и синий прячь подолом длинным; за апельсин и розовый схлопочешь розгами". А я думаю, что раз есть такие цвета, и все их придумал Господь, и все Его твари носят и тот цвет, и этот — все, какие ни есть, цвета, — то, значит, они как-то сочетаются. Как по-вашему, миссис Деннисон?

— Пожалуй, вы правы, миссис Браун, но ведь есть правила, как получить нужный эффект. Есть *правила*, понимаете? Дополнительные цвета и много еще чего…

— Я все это учу. Муж-то ваш мне много чего рассказывает, когда я случайно потревожу вещицы в его комнате. Интересная наука.

На длинном желтом лице миссис Браун ни тени улыбки, только рассудительность.

— Если Джейми не хочет носить ту дивную голубую фуфайку, что я ему сшила, я бы ее забрала, если вы не против, я уж найду куда пристроить голубой лоскуток.

— Что вы, миссис Браун, она ему *очень* нравится! Просто чуть маловата в подмышках…

— Вот я и говорю: найду куда пристроить голубой лоскуток.

Миссис Браун неумолима. Дебби чувствует себя просто ужасно. Миссис Браун выдвигает один за другим ящики с вещами Джейми, вынимает красную толстовку и указывает на прорехи, достает гольфы для регби и демонстрирует, как сильно они сели: только посмотрите, какая стопа коротенькая! Кладет их в пластиковый пакет для мусора. Дебби добавляет туда же коктейльное платье из зеленоватого шелка настоящего тутового шелкопряда, купила по ошибке, совершенно не идет, и два галстука Робина, что подарила его тетя Нэм, а он ни разу не надел, они отвратительного горчичного цвета, да еще в какой-то сизый цветочек.

— Интересненько… — бормочет миссис Браун, подхватывая галстуки, словно угрей за хвосты, и

отправляя их в пакет к остальным вещам.

Дебби надеется, что миссис Браун уже сменила гнев на милость: шелковое платье подействовало. Она не решается спросить, что миссис Браун намерена сделать с настоящим шелком.

"Фетиши" Робина Деннисона занимают целый стол, очень простой, деревянный, выкрашенный в белый цвет. Когда-то эти вещицы стояли на каминной полке, но потом, когда получили статус "фетишей", были помещены на этот непритязательно-монументальный, истинно английский алтарь. Все они разные, но есть одно свойство, которое их объединяет: своего рода глянцевитость, яркая, прочная глянцевитость. "Фетиши" — атрибуты культа цвета. Первым из них был деревянный расписной солдатик, которого Робин купил еще в детстве за 5 шиллингов 6 пенсов; брюки у солдата красные, китель — синий, на деревянной голове высокая черномедвежья шапка королевского гвардейца, шапка тоже из дерева, конечно. Красный выцвел и стал темно-вишневым; синий тоже выцвел, теперь он между васильковым и ультрамарином. Под деревянным подбородком золотистый ремешок, на деревянных щеках — небрежные розовые кружки. Теперь Робин редко обновляет краски

на солдатике: он слишком уж противоречив, военный и одновременно детский; но любит-то его Робин за другое: солдатик был первой моделью, с которой Робин писал округлые поверхности с бликами на них. Теперь иногда Робин пишет *тень* солдатика в толпе других образов.

Некоторые другие "фетиши" представляют отдельные цвета в чистом виде. Два из них — особенно глянцевиты. Кобальтово-синий подсвечник со стекольного завода во французском городе Биот; тяжелое круглое зеленое яблоко, изготовленное знаменитой английской фирмой "Веджвуд": чем глубже вглядываешься, тем оно зеленее. А вот и желтый "фетиш" — своей ценой даст фору всем остальным. Желтизна его не чистая, в отличие от синевы подсвечника и зелености яблока, она иная — солнечно-желтая, желтая, как сливочное масло, желтая, как лютик, и к тому же имеет голубой ободок. Это точная копия соусника из личного сервиза Клода Моне, сервиза, стоявшего на столе во время завтраков в доме у художника в Живерни, а эскизы для сервиза делал сам Моне. У Робина с собой не было денег, чтоб купить соусник, тем не менее он как-то поднатужился и купил его за последние 50 фунтов — так страстно он желал иметь *этот*

желтый. Вообще-то, хотел он не соусник, но другие предметы из сервиза стоили так дорого, что даже в своем помешательстве Робин понимал, что они ему не по карману. Взявшись очередной раз просвещать миссис Браун, Робин объясняет ей, что с голубою каймой этот желтый прямо-таки поет: цвета почти дополнительные. И все-таки ему хочется найти когда-нибудь и другой желтый "фетиш", без синего. Нет пока и оранжевого "фетиша". Чтобы получился полный набор цветов, Робин часто кладет апельсин и лимон между прочих вещей и приходит в бешенство, краснеет и ревет от гнева, если миссис Браун перекладывает их или вовсе выкидывает, когда фрукты мягчеют и покрываются шалфейно-зеленым, с голубоватыми крапинами налетом плесени.

Фиолетовый представлен милой круглой вазочкой китайского фарфора ручной работы, вернее, это цветочная скульптурка фиалок в вазочке: их цвет — от розовато- до темно-лилового; на стебельках несколько — всего несколько — зеленых листочков бледного маловыразительного цвета, как у некоторых яблок; сама вазочка черная, в легкой глазури. Порой Робин не хочет видеть зеленого и поворачивает вазочку так, чтобы листьев как бы не было вовсе. Впрочем, он уже

очень хорошо изучил свои "фетиши" и может позволить листьям немного светить зеленым на фиалки. Иногда он вообще жалеет, что эти листья есть, но иногда — нарочно *встраивает* их в более сложные цветовые схемы, переставляя вазочку с фиалками и тонко подбирая тоновые переходы. Долго, годами, не удавалось найти красный. Была тарелка: банальная немецкая, современная, очень утилитарная. Хороший сочный красный — тарелка уверенно участвовала в деле, но не пела и любима не была. Когда Робин нашел-таки нужный, нынешний красный, то испытал двойственное чувство, сразу понял: это *то, что надо*, но сама вещь ему не понравилась. Он и сейчас ее не любит. У вещи слишком много смыслов, как и у несчастного солдата, но она еще коварней. Он отыскал ее в магазинчике китайских безделушек, в корзине с самыми дешевыми изделиями. Это большая красная подушечка-игольница в форме сердца, пухлая, сшитая из блестящего маково-красного шелка, то, что надо: одновременно мягкая и яркая, нежная и сияющая. Но на игольнице было еще и пошловатое белое кружево, наподобие того, что бывает на воротниках мальчиков из церковного хора; кружево Робин отрезал. Иногда он втыкает в игольницу старые

бабушкины шляпные булавки, в чьих головках — имитация драгоценного камешка, или кладет на нее кучку обточенных кусочков гагата. Но такие затеи ему не очень по душе: выходит нечто граничащее с сюрреализмом; Робин чувствует — наклевывается что-то интересное, но сомнительное. Он даже купил коробку булавок с разноцветными стеклянными головками и время от времени втыкает их хаотичной россыпью, а однажды расположил их полумесяцем плотно друг к другу.

Кроме одноцветных вещей, есть и многоцветные, но этих мало, очень мало. Дерево венецианского стекла 1950-х годов, купленное в секонд-хенде, с крошечными кругленькими фруктами разных цветов: изумрудно-зеленые, рубиновые, темно-сапфировые, аметистовые и топазовые. Гончарный кувшин из Деруты[111] с крупным треугольным носиком, похожим на клюв, украшенный яркими наивными цветками всех цветов радуги, с круглыми лепестками и парой примитивистских жизнерадостных певчих птиц коричневого тона. Горшок, тоже из Деруты, с фантастическим существом — то ли

[111] Примечания: 111
Дерута — город в Италии, известный своей майоликой.

мифическим тритоном, то ли человекоголовым драконом, рыжевато-золотым, с синим гребнем и бородатым, пышущим красновато-коричневым огнем в форме запятой. На стене висит корейский воздушный змей: лилово-коричневый, желтый, синий, зеленый и алый — и еще две большие птицы из китайского шелка на каркасе из синельной проволоки, с гребнями, с длинными реющими хвостами: одна преимущественно темно-малиновая, с желто-аквамариновым гребнем, другая — сине-зеленая. Птицы — самые хрупкие из всех вещей и служат причиной раздора между Робином и миссис Браун. Она говорит, птицы — пылесборник. Он злится, что она гнет им лапки, сплющивает их пышность и все время норовит изменить изгибы их шеи, так что уже и непонятно, что они чистят перышки. Она говорит, что у него птицы могут упасть, оттого что плохо закреплены. Однажды она закрепила птицу на ветке стеклянного дерева. Робин дулся несколько недель, а миссис Браун грозилась уйти.

Как раз после этого случая, когда Дебби в конце концов уладила конфликт, Робин взялся объяснить миссис Браун, что есть красное и что есть зеленое. Он вернул яблоко на место рядом с игольницей, вновь водрузил фиалки напротив

соусника Моне, рядом с кобальтовым подсвечником, который по форме немного походил на цветок горечавки: высокая чашечка на ножке-стебельке. Дай волю миссис Браун, и "фетиши" стояли бы по цветам радуги — так сказать, от инфракрасного до ультрафиолетового. Робин сказал:

— Определенные сочетания ведут к определенному эффекту. Вот, например, желтый и фиолетовый, синий и оранжевый: кажется *естественным*, что они стоят рядом, потому что естественные тени как раз синие и фиолетовые. Это свет и тень, понимаете? А вот красный и зеленый. Если поставить их плотно рядом, можно заметить, как на границе между ними пляшет полоска желтого, — тут уже дело не в светотени, а в том факте, возможно, что если *добавить* определенные красные тона к определенным зеленым, то можно *создать* желтый тон, — если этого не знать, ни за что не догадаешься.

— Но герань же тоже естественная, — замечает миссис Браун.

Робин глядит недоуменно.

— У нее естественные красный и зеленый цвет, — говорит миссис Браун. — А желтого они не дают.

— *Смотрите внимательно*, — говорит Робин и плотно придвигает одно к другому мягкое сердце и твердое яблоко. Смотрит сам завороженно, как пляшет между ними желтый, неземной.

— Гм…

— Видите желтый?

— Ну, как будто… Как бы это сказать… Вроде мельтешит что-то… Переливается. Короче, я поняла.

— Вот этого я и добиваюсь, когда пишу картины.

— Ясно. Вот теперь стало интересно — когда поняла, что да зачем вы делаете.

Сказать так — хотя бы и без тени улыбки, и не слишком любезно — было уступкой с ее стороны. Она признала, что он дал ей нечто; но раз дал, то, значит, — для нее это не подлежало сомнению — победа осталась за ней. А Робин испытал облегчение. Не так уж сильно он витал в облаках, чтобы не понимать, как Дебби боится потерять миссис Браун. Именно поэтому он поделился с миссис Браун своим откровением, тайной желтой полоски. Миссис Браун вышла от него с высоко поднятой головой. В тот день на ней было что-то вроде оранжевой с хаки простыни, обернутой вокруг туловища наподобие одежд африканок;

на голове же у нее красовалась розовая повязка.

* * *

Звонит Шона Макрури и просит к телефону Дебби. Собственно, сама Дебби и взяла трубку. Шона долго поздравляет Дебби с выходом в "Месте женщины" статьи о феминистском искусстве, об аморфных произведениях, которые создают женщины, не претендуя на пресловутое "слово в искусстве". Предметом женского творчества, пишет Дебби, становятся вещи как бы "низменные", "недостойные", которые мужчины-художники традиционно оставляют без внимания, — прокладки, подгузники и все такое прочее; на женских полотнах также предстают — в отличие от мягких, вожделенных и очевидных внешних форм, исследованных и эксплуатируемых мужчинами, — внутренние полости женского тела. На развороте Дебби поместила несколько прелестных рисунков цветными карандашами художницы по имени Бренда Мерфи. Бренда творит на кухне, вместе со своими детьми, в *их технике* — бумага, карандаши, фломастеры, — создает работы, в которых с любящей брутальностью отображена ее с детьми повседневная жизнь. Шона спрашивает у Дебби, есть ли у Бренды Мерфи

свой агент или галерея, с которой она сотрудничает; Дебби отвечает как-то рассеянно, хвалит пикантное многообразие выставок, чудесную эклектику галереи "Каллисто"; в благодарность за эту похвалу Шона просится в гости, посмотреть работы мужа Дебби. Она уже окрестила их "остроумными", ей очень по вкусу та загадочно-забавная небольшая работа, что висит в туалете кафе Тоби: настоящая жемчужина в пустыне. Дебби про себя отмечает, что "жемчужина в пустыне" — хорошо сказано, но предположение об остроумии работ Робина, кажется, не предвещает ничего хорошего. Она знает, что Робин, когда взбудоражен, начисто лишается чувства юмора. И она назначает визит Шоны на ближайшую среду, даже не посоветовавшись предварительно с Робином. Робин волнуется и томится в ожидании среды, как и предвидела Дебби. Дебби нарочно напускает на себя капельку суровости и в то же время жалобности: "Совсем не так легко зазвать представителя галереи в мастерскую художника. Тут уж нельзя привередничать, назначать собственные дни, а то останешься ни с чем. Ты же видишь: я сделала для тебя все, что могла, я ее залучила! Так что ты уж постарайся. Она при всем желании не может подстраиваться, у нее

каждый день по минутам..."

Робин в ужасе, но уж так и быть, согласен показать свои работы.

* * *

У Шоны Макрури глаза цвета топаза и длинные шелковистые каштановые волосы, схваченные сзади черепаховым гребнем и ниспадающие, как некая широкая прямая лента. В ушах серьги с топазами в тон глазам — шарики на золотых цепочках; костюм шелковый, оливкового цвета: жакет свободного покроя и плиссированная юбка; под жакетом сорочка лимонного цвета — все отлично сочетается с тоном ее глаз. (Дебби теперь профессионалка в таких делах и сразу подмечает, как весь образ, нежный, но сильный, строится вокруг глаз; и глазной макияж — едва заметные оливковые с золотом тени, с подкладкой чуть более плотной зелени, почти малахита — тонко подкрепляет общий эффект.) Шона идет по лестнице наверх, в мансарду к Робину; на ногах у нее темно-зеленые кожаные с отделкой под кожу ящерицы туфли. Между ящеричными туфлями и оливковой юбкой чулки с легким металлическим золотистым отливом. Ноги не особо красивые: слишком тонкие, слишком прямые. Робин идет

первым, за ним Шона Макрури, Дебби, и замыкает шествие миссис Браун с бутылкой охлажденного совиньона и тремя бокалами на лаковом японском подносе. На миссис Браун брюки из драпировочной ткани цветов райской птицы и лоскутная юбка всех цветов радуги, лоскуты сшиты красными нитками, стежок елочкой. Она не принесла бокала для себя, но осталась стоять в дверях студии: хочет участвовать в мероприятии и даже не делает вид, что уходит, мрачновато, но с интересом разглядывает элегантную Шону Макрури и полотна Робина.

Дебби не решила заранее, оставить Робина наедине с Шоной Макрури или остаться и тоже вставить слово-другое. Решение приходит само, когда миссис Браун решительно воцаряется в дверях. Дебби не в силах сказать ей: "Можете идти, миссис Браун", но зато может сказать: "Давайте оставим их наедине с картинами", что она и делает, и они вместе с миссис Браун спускаются по лестнице.

Топазовые серьги и ящеричные туфли Шоны Макрури рыскают по студии Робина. Шона рассеянно переставляет "фетиши" с места на место, позвякивает соусником Моне по блюдцу. Робин расставляет полотна: "фетиши" в разных соче-

таниях, с разным светом изображены на разном фоне. Белый, как ледник, шелк, смятая газета, темные доски, светлые доски… У Шоны крупный рот с мягкими губами в коричневой помаде. Она закуривает. Сперва она приговаривает только: "Так-так…", "Вот, значит, как…" — потом задумывается и вдруг начинает объяснять ему смысл его картин как аллегорий. "Теперь мне понятно: это осовремененный ванитас, — определяет Шона Макрури. — Картины о *ничтожности* нашей жизни". Робин в смятении, но молчит. Он не в состоянии одолеть Шону, как одолел миссис Браун, не в состоянии объяснить ей, что его картины не о ничтожности, а о безграничном ужасе перед царством цвета, он сам никак не может опомниться от этого ужаса, впрочем он не умеет облечь свое чувство в слова. Поначалу он бормочет: "Тут ведь… такое дело… на этой картине решается вопрос иного рода…" — потом вовсе замолкает, потому что видит: галерейщице совершенно нет дела до того удивительного факта, что картины — а их тут великое множество — никогда не повторяются, то есть в каком-то смысле как раз повторяются, но всякий раз на каждой новой картине решается какая-то новая грань художественной задачи. Шона этого не

понимает. Она цедит:

— Страшненько так, депрессивненько… Я имею в виду пустое пространство. Эти голые доски, они напоминают о гробах, о голых кухонных столах без еды, без пищи… Вы ведь это хотели выразить?

— Вообще-то, я вкладываю в них иное, — наконец собирается с духом Робин.

— Очень интересно, что же именно?

— Что есть ряд вопросов, которым нет единственного и окончательного решения, ряд проблем света и цвета… Понимаете?

Он ей не говорит — потому что и сам боится себе в этом сознаться, — что право и счастье писать свое неповторимое, яркое, блестящее пятно он *заслужил* тем, что всякий раз добросовестно и даже красиво выписывает невыразительный, невзрачно-унылый фон, бережно накладывает все эти сизые, серые, бледно-желтые тона…

— Нет ли у вас предчувствия, что вы вскоре смените направление? Наступит новый этап? Сменится фокус, так сказать?…

— Наверное, если бы у меня прошла большая выставка — если бы все эти работы *выставить вместе*, чтоб разом показать все эти задачи, все эти стороны одной задачи… и все, так сказать,

временные решения… тогда я, возможно, и задумался бы о чем-то новом… Сейчас мне трудно представить…

— Трудно?

Он не понимает всей важности этого короткого вопроса.

— Ну да. По мне, за многими зайцами погонишься… Я… как бы это лучше сказать… не сам себе заказчик, что ли…

Шона Макрури вдруг говорит:

— Вспомните все эти бесконечные нынешние картины с шезлонгами: легкий ветер, сад или пляж и стоит одинокий шезлонг. Когда видишь первый, думаешь: как трогательно, как интересно! А когда уже десятый, двадцатый, начинаешь думать: ага, вот еще один одинокий шезлонг на ветру, а нет ли уж чего поинтереснее? Вы меня понимаете?

— Думаю, да.

— Ваши-то работы, конечно, не в таком роде…

— Разумеется, не в таком.

— Но кому-то… неискушенному зрителю… может показаться иначе.

— Вы полагаете?

— Ну да.

* * *

Дебби смотрит, как Шона Макрури шагает прочь по улице Альма-роуд. Плиссированная оливковая юбка чу́дно, безупречно сидит на тощих бедрах, ее дорогущие складки — заложенные, словно против воли самого шелка, — ласкают тело. Робин говорит сверху, что разговор удался; Дебби не склонна обольщаться мнением Робина, тем более что сам он, судя по всему, не обнадежен и не торжествует. Длинная широкая полоса волос Шоны Макрури плещется и раскачивается в такт походке. Миссис Браун, в своем немыслимом тренчкоте, догоняет Шону Макрури. Волосы миссис Браун торчат, словно стебли жесткой травы из горшка, из накрученных на голову переплетенных шарфов: оранжевого и лаймового. Миссис Браун что-то говорит Шоне Макрури — та замедляет шаг, оборачивается, кивает, отвечает что-то. Миссис Браун говорит, говорит. Что же такого миссис Браун может сказать Шоне Макрури? В голове у Дебби вертятся всякие несуразности: измена, диверсия, саботаж. Миссис Браун всегда была так добра и так терпелива, несмотря на свой надменный порою *вид*, — у каждого человека, кстати, есть право напускать на себя любой вид.

Неужели миссис Браун хочет *навредить* Робину? Нет, миссис Браун ничем не может навредить Робину, даже если бы и хотела. Но зачем Шоне Макрури — если это не простая вежливость — слушать то, что говорит ей миссис Браун? Они сворачивают за угол. Дебби чувствует, как откуда-то — из всех подкожных нор лица, мерещится ей, — пробиваются и застилают глаза слезы. Она слышит, как Робин язвительно говорит с лестницы: "Ну до чего же похоже *на эту, с позволения сказать, помощницу*: ушла домой, а бокалы так и не убрала, письменный и рабочий стол от винных кругов так и не протерла!"

* * *

Шона Макрури по почте прислала Дебби и Робину открытку с эмблемой галереи, одну на двоих; она пишет, что ей *очень понравились* его картины, которые написаны *по-настоящему* и *в едином стиле*, но что у ее галереи в настоящий момент трудный и запутанный период. Дебби понимает: это означает отказ, и еще она подозревает, что любезность, с которой написано письмо, предназначена ей, Дебби, в расчете на то, что в будущем она может понадобиться галерее "Каллисто", точнее, может понадобиться

журнал. Робину она ничего такого не говорит, но понемногу начинает относиться к нему как к малоразвитому, глупому ребенку, и от этого ей самой досадно, поскольку на деле он таковым не является. А пару месяцев спустя "Место женщины" командирует ее в галерею "Каллисто" вместе с фотографом, довольно симпатичным и подающим надежды ливерпульцем по имени Том Спрот: от нее требуется написать статью о новой инсталляции феминистического толка, и Дебби едет туда в довольно дружелюбном настроении. Она рациональная женщина, от Шоны Макрури нельзя ожидать большего, Дебби это прекрасно понимает.

У Тома Спрота белокурые волосы, уложенные с бриллиантином; мешковатые брюки из шотландки. Обычно он вальяжен и невозмутим. Но, зайдя в галерею, где обычно бывает скучно — "воздушно и сливочно", — он восклицает: "Ух ты!" — и начинает носиться туда-сюда, с энтузиазмом впериваясь в видоискатель камеры. Пространство галереи превратилось в неведомый сказочный чертог: такой мягкий, что глаз в нем просто утопает, но зато ярко и причудливо украшенный. Стены занавешены чем-то вроде странных огромных гобеленов, частью

вязаных, частью лоскутных, на них перемежаются потоки и островки цвета, а если подойти ближе и присмотреться, то можно разглядеть безумные по цвету вышитые личики с пристальными глазами: зеленые лица с синими глазами, черные с красными, розовые с серебристыми. С потолка свисают и колеблются клоки вязаной паутины, населенной пауками мглистых тонов и толпами синих, из пайеток составленных мух с крыльями из просвечивающей ткани. Все эти существа не просто красивы, декоративны, но изящно-зловещи, и есть что-то по-настоящему ужасное в прозрачных паутинчатых хоромах, где во множестве запутались синие тельца мух. Да и сами пауки под ударом: им угрожают когорты перьевых метелок для смахивания пыли, веер из павлиньих перьев, лохматый нейлоновый бирюзовый с пронзительным розовым шланг, лаймово-зеленая с оранжевым пластмассовая пальма на золотистом стебле, перевитом спиралью тонкой металлической ленты. Пещера, однако, непостижимым образом напоминает жилую комнату. Здесь стоят забавные комоды, материалом для них послужили ящики из-под апельсинов, оклеенные лоскутами обоев: от вульгарных серебристых с розочками до дорогих

с птицами в стиле Уильяма Морриса; от обоев в сливовую полоску "Ридженси" до обоев с розовыми веточками фирмы "Лора Эшли". Внутри выдвинутых ящиков — открытые ларчики с отделениями, где хранятся диковинные россыпи всякой всячины: белые костяные пуговицы, стеклянные пробки, куриные косточки, запонки — все без пары, склянки из-под лекарств с лакированными ярлыками, до отказа наполненные переливчатыми бусинами и капсулами рыбьего жира, перламутровые пластиковые бусины и семена подсолнечника, кукольные чайные ложки и кучки разнообразных листьев чая, сухие розовые лепестки, сахарные мыши — иные наполовину съедены. И бечевки, бечевки — ярко-зеленая, вощеная красная, растрепанная коричневая — протянуты от отделения к отделению.

Повсюду, тут и там, какая-то мебель, какие-то странные предметы и существа. Большая кочка или, может, гигантский пуф, одетый несколькими слоями как бы юбок, алых, оранжевых, травянисто-зеленых и изумрудных: ослепительное, но эффектное сочетание цветов. Если раздвинуть слои ткани, то там обнаружатся двадцать или тридцать маленьких вязаных розовых грудей, расположенных вкруг, выше — еще один круг из

крошечных атласных грудей шоколадного цвета: этакая Диана Эфесская, только без рук и лица, усевшаяся на корточки. А вот длинное существо вроде диванного валика — оно может быть тощей женщиной, или ящерицей, или неведомым исчадием моря. Существо в основном вязаное, из шерсти глубоких коричневых и зеленых тонов, у него фестончатые листья и побеги, "конечности" наподобие подводных трав, или, может быть, это щупальца: их больше четырех, если обойти вокруг и посчитать. С некоторого расстояния пол чертога выглядит приятно, кажется литоралью, усеянной морскими блюдечками и анемонами. При ближайшем же рассмотрении становится ясно, что одет он скорее подобием брони, на которой — вывязанные крючком — фиалковые и шафрановые шишечки, а из них торчат пучки алых нитей, из иных — стелющиеся лоскутки вышивального шелка цвета крови.

В самом же центре располагается причудливая композиция — дракон и прикованная цепями дама. Святой Георгий и царица Савская? Персей и Андромеда? У дракона кубическое синее туловище и длинная гофрированная шея; гребень, напоминающий формой грозные пластины на спине стегозавра, — из обметанных

по краю изящных бледно-зеленых шелковых лоскутов. Странный это дракон: возлежит среди собственных колец, и к тому же, судя по всему, он родственник многоножки: у него сотни черных блестящих гибких щупальцеобразных ног, алых с испода, кое-где торчит металлическая проволока. Дракон хоть и вязаный, но весьма крепкого вида; его квадратная челюсть с шерстяной бородой и какими-то непонятными зубами чуть вздернута вверх, у рта — клочья многоцветной пушистой пены, хлопковой пряжи-слюны, вперемежку с блеклыми клочьями волос в сломанных шпильках. Глаза дракона — пустые синие кружки́ с махровыми ресницами. Это дракон-пылесос: тяжелый, задыхающийся.

У дамы естественный телесный цвет, но само тело выкручено, выгнуто и переломано: она распластана на валуне, длинные руки и ноги из розового нейлона скованы цепями из перевитых и завязанных узлами лифчиков, пестрых ночных рубашек, пижам и зловеще растянутых колгот. В этом образе есть что-то от кубистов и одновременно все от той же Дианы Эфесской; груди, изготовленные из стопок изношенных подплечников, идут в два ряда — две, а над ними еще три; на лобке вместо волос — старый сморщенный

чепец из ангоры. Голову изображают круглые пяльцы с натянутым полотном, по которому пти-пуаном вышито лицо: законченное лишь наполовину, оно напоминает меловой набросок лица Венеры Боттичелли: несколько светлых локонов, не заполненные пока еще глазницы с черными остроконечными стежками ресничек.

На первый взгляд кажется, что тут нет мужских фигур, но потом вы все-таки замечаете — вот они, крошечные, в расщелинах скалы: пластмассовый рыцарь на лошади — когда-то он был серебряным, теперь грязно-зеленый; игрушечный солдат со сломанным мечом и в помятом шлеме, — очевидно, что оба, и не однажды, побывали в барабане стиральной машины…

В окне работник галереи развешивает буквы — золотые с ярко-шоколадной тенью, — их крепят малиновыми прищепками на какой-то высокотехнологичной бельевой веревке. Надпись гласит:

САВА БРАУН

ИСКУССТВО СОЧЕТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

1975–1990

Под буквами появляется фотография. Дебби выходит посмотреть: на фото миссис Браун в

какой-то дикарской короне из переплетенных шарфов, всегдашнее будто вытесанное лицо, но с новой ноткой довольного собой лукавства, притаившегося в уголках рта и в глазах. Цвет кожи на фото вышел темнее, чем "в действительности", черты скульптурны: некий гибрид Моны Лизы и бронзовой маски из Бенина.

Насколько известно Дебби, в эту самую минуту миссис Браун пылесосит ее лестницу. Дебби в ступоре. Мысли в голове путаются. Она искренне восхищена: миссис Браун — Сава Браун — предстала в неожиданном великолепии, словно сама царица Савы, царица Савская! И тут же ей — странное дело — вспоминается бал для художников в Челси, куда она ходила в коктейльном платье из натурального шелка, а теперь из этого шелка сделаны гребень и чешуя дракона. Еще Дебби думает — голова сразу начинает кружиться, до того не готова Дебби к этим событиям: миссис Браун теперь, как пить дать, от них уйдет! Почему же миссис Браун ничего ей не сказала? Хотела удивить? Или, пуще того, огорошить? Или, может быть, миссис Браун, старая добрая миссис Браун молчала из милосердия — ведь она понимает, что Дебби не справится без нее, и не знает, как сообщить эту неприятную новость?

Или она просто — очень вероятно, она ведь такая — скрытничает и осторожничает? Дебби вдруг пронзает мысль о Робине, как он сидит и хохлится в своей мансарде, и как трогательно объяснял он миссис Браун про цвета своих "фетишей", и как он шумно негодовал — теперь-то уж не на что будет негодовать — на ее набеги в студию. Дебби хочет оберечь Робина, но ни секунды не винит миссис Браун в том, будто она "украла" у Робина выставку. И вдруг с унижением и страхом чувствует, что сам Робин может подумать именно так.

И что-то еще она чувствует, глядя на то, как мощно, неистощимо, расточительно изобретательна в цветовых сочетаниях Сава Браун. Это "что-то" — легкая подспудная зависть, от которой почему-то ноет и вздрагивает кисть руки. Вздрагивает, вспоминая гладкость деревянных досок и ловкий, извилистый ход резца.

Подходит ливерпулец Том, он в восторге. Он нашел комод, полный спутанных ниток, а внутри — другие комодики, поменьше, тоже полны спутанных ниток, и там внутри — совсем уже крошечные комодики. У него с собой текст интервью, написанный для "Места женщины" художественным критиком, свеженький — прислали прямо в галерею с курьером на мотоцикле.

Дебби пробегает текст глазами.

Сава Браун живет в муниципальной квартире в окружении своих работ, гобеленов и подушек. Ей за сорок, она наполовину гайанка, наполовину ирландка, и ее жизнь складывалась трудно. Работы Савы Браун повествуют в феминистском ключе о ежедневных мелочах нашей жизни, о скуке повседневности, но в них нет горечи и враждебности тоже нет — она просто представляет все в абсурдном, но на удивление прекрасном виде и при этом неимоверно изобретательна. Некоторые из ее стенных гобеленов с их сложной миниатюрной проработанностью заднего плана напоминают фантазии Ричарда Дадда.[112] Впрочем, есть в ее манере и нечто общее с роскошными инновациями Каффе Фассета.[113]

[112] Примечания: 112

Ричард Дадд (1817–1886) — английский живописец Викторианской эпохи, известный своими фантастическими, галлюцинаторными по атмосфере и колориту полотнами, проведший годы в психиатрической лечебнице.

[113] Примечания: 113

Каффе Фассет (р. 1937) — знаменитый американский дизайнер тканей, мастер лоскутного шитья.

Вместе с тем, в отличие от Ричарда Дадда, Саве Браун несвойственны безумие и одержимость — она более чем душевно здорова, а речь ее добродушна и полна забавных оборотов.

Она воспитала двоих сыновей. Сава подбирает материалы для своих работ в пунктах благотворительности и вообще где только может; что-то покупает на скудные доходы домработницы. Материал, по ее словам, есть везде: в мусорных контейнерах, на барахолках, свалках и среди того, что остается после школьных вечеринок. Она рассказывает, что занялась своей "мягкой скульптурой" случайно: ей "до смерти хотелось что-то этакое сотворить", но в ту пору в связи с жизненными обстоятельствами имела возможность делать только такие вещи, которые можно складывать и убирать на ночь. Два самых ценных ее приобретения — вязальная машина и чулан в подвальном этаже многоквартирного дома, где она живет. Чуланом ей разрешил пользоваться управляющий домом. "Вот когда мне отдали чулан, тогда я и смогла делать

вещи из коробок и большие мягкие", — с удовлетворением и улыбкой замечает она.

Она уверяет, что многим обязана одному дому, где работает, — "семье художников", которые объяснили ей, как работать с цветом (нельзя сказать, чтобы ее нужно было учить: у нее потрясающее чутье на необычные эффекты и цветовые контрапункты), и расширили ее представления о том, каким может быть произведение искусств...

Дебби в раздумьях идет домой. Миссис Браун уже закончила свою дневную работу и ушла. Робин капризничает. Он не хочет на ужин спагетти, его тошнит от макарон, он жалуется, что макароны на ужин вот уже целую неделю. Он сидит и накручивает феттучини на вилку, и Дебби думает: пожалуй, в целом будет спокойнее не рассказывать ему о миссис Браун и ее сказочном чертоге в галерее "Каллисто", "Место женщины" он не читает, а еще журнал можно спрятать, когда выйдет номер. Может быть, удастся сделать так, чтобы он вообще нигде не увидел статьи про Саву Браун: читает он мало, чтение его вгоняет

в уныние.

Едва она все обдумала, как ее планы рухнули: Джейми влетел в кухню с криком:

— Мам, пап! Идите сюда скорей! По телику показывают миссис Браун!

Мама и папа остаются где были, и он орет еще громче:

— У нее выставка — штуки вроде "Маппет-шоу", и еще там галерейная хозяйка, которая недавно к нам приходила. Пап, ну пойдем посмотрим: это же *офигенно*!

Робин идет посмотреть. Сомнений нет: это лицо Савы Браун, она нацеливается в него с экрана длинным носом и говорит:

— Работа обычно рождается так — на меня будто налетает вихрь из разных цветов. Мне нравится сочетать вещи, сочетать цвета. В мире столько всего существует, что я от этого в восторге. И чтоб выразить восторг, я и делаю мои работы.

На экране на миг появляется дракон-пылесос и дама в "бельевых" оковах.

— Что вы, что вы, я это делаю не из какого-то там *ожесточения*, — энергично уверяет голос миссис Браун за кадром, между тем как камера скользит по удавке из перекрученных колгот. —

Нет. Я вам уже говорила: мне по-настоящему *интересно*. Когда работаешь уборщицей, много всего узнаёшь, честное слово. Где еще разные занятные штуки увидишь? А от того, что увидела, и до своего дела рукой подать. Люди такие забавные, занятные существа. Если этого не понимать, в домработницах не задержишься…

Дебби глядит на Робина. Робин глядит на Саву Браун. Сава Браун исчезает, на смену ей появляется жизнерадостный морячок в окружении жеманно улыбающихся детишек; морячок размахивает блюдом, на нем горкой лежат прямоугольные морские деликатесы, от которых исходит пар. Робин говорит:

— Чем обмотана шея этого непонятного женского существа — это же тот самый школьный галстук, который я потерял.

— Не потерял, а выбросил.

— Нет, не выбрасывал. Зачем бы мне его выбрасывать? Я же могу еще пойти на встречу выпускников. И вряд ли захочу тратить деньги *еще на один такой* отвратительный фиолетовый галстук…

— Галстук валялся в корзине для бумаг. Я ей разрешила его забрать.

— Мама, — спрашивает Джейми, — мы же

можем сходить *посмотреть* на эти мягкие прикольные скульптуры миссис Браун?

— Мы все вместе туда пойдем, — отвечает Робин. — Из вежливости. Заодно поглядим, что она еще у нас стащила.

* * *

Миссис Браун является на следующий день в сопровождении седовласой, но по-девичьи стройной дамы в балетном трико и кроссовках.

— Миссис Браун! Миссис Браун! — восклицает Джейми (в школе сейчас каникулы). — Миссис Браун, мы видели вас по телику! У вас очень красивое имя, и все эти штуки, как в "Маппет-шоу", и маленькие личики — они офигительные!

А миссис Браун обращается к Дебби:

— Миссис Деннисон, похоже, я какое-то время уж точно не смогу к вам приходить. Вот, понимаете ли, вбила себе в голову, что пора мне кому-то показать мои работы, — вы ведь знаете, как это бывает, — а дальше все пошло-покатилось, только успевай поворачиваться. Я и не думала, что так будет, что вся жизнь моя от этого переменится. Не успела оглянуться, а уж сама себе не хозяйка. Но я не жалуюсь… Я вам давно хотела рассказать, просто не было подходящего момента. Я все дума-

ла, гадала, как же вы будете одна-то управляться в доме?... Вам без надежной помощницы никак нельзя. Познакомьтесь, пожалуйста, это миссис Стимпсон, она будет исполнять в точности всю мою работу по дому. Я ей все покажу, объясню, как не мешать мистеру Деннисону. Я думаю, вы не заметите разницы, миссис Деннисон. Все будет по-старому.

Дебби молча смотрит на миссис Браун. Миссис Браун опускает глаза, но тут же поднимает. На щеках у нее румянец.

— Вы ведь понимаете, как оно все приключилось? — спрашивает она, впрочем довольно твердым голосом.

Дебби думает: "Хуже всего, что я верила, мы вроде как подруги. Но будь мы подругами, она бы мне показала свои работы раньше. Какие уж там подруги. А я-то наивная..."

Сава Браун продолжает:

— У нас с вами, миссис Деннисон, как говорится, было полное взаимное понимание. Но незаменимых не бывает. Миссис Стимпсон можно доверять, да она и смекалистая. Я бы не стала приводить кого попало. Она еще мне фору даст.

Дебби спрашивает:

— А миссис Стимпсон, часом, не занимается

втайне искусством?

— Ну, это уж вы с ней сами… — отвечает Сава Браун. — Сами смекайте, что к чему.

Седая, но не старая миссис Стимпсон смотрит сурово, но словно с какой-то понимающей улыбочкой.

— Давайте попробуем, миссис Деннисон, — говорит она. — Не будем судить предвзято.

— Давайте, — отвечает Дебби.

Не успевает она снова раскрыть рот, как миссис Браун уводит миссис Стимпсон на кухню. На кухне грохочет кофемолка. Ей принесут чашку кофе. Все будет более или менее как прежде.

Или не совсем как прежде. По крайней мере, Дебби снова займется ксилографией. Сделает иллюстрации к "Книге злых фей" и "Книге добрых фей", и ее гравюры будут иметь в мире книжной иллюстрации определенный успех. У некоторых, наименее обычных, фей — надменные лица грубой лепки, как у Савы Браун, или приятно-смазанные, без возраста, как у миссис Стимпсон. А Робин? Робин знай покрикивает на миссис Стимпсон, которая развлекает его тем, что как заведенная носится по его приказам. Еще у него появился интерес к восточной мифологии, он купил несколько книг с изображениями

тантрических мандал и молитвенных колес. Однажды Дебби поднимается к нему в комнату и обнаруживает на мольберте холст, непохожий на прежние. Геометричные формы, яркие краски, сложная строгая композиция: сплетение языков пламени, рук и ног — причудливое, похожее на тканье; повторяющийся мотив темного, зловеще подсвеченного лица с красными глазами и высунутым красным языком.

— Это Кали-разрушительница, — с осведомленным видом поясняет миссис Стимпсон, касаясь локтя Дебби. — Это изображение Кали-разрушительницы.

Несправедливо, думает Дебби, что черная богиня, ткачиха бесконечных сверкающих сетей, опростилась и стала пародией на Саву Браун. И в то же время она чувствует какую-то новую, разнузданную, дикую силу в том, как Робин обыгрывает цвета и движение.

— Что-то в этом *есть*, — обходительно замечает миссис Стимпсон. — Ну, ведь правда же?

Дебби не может не согласиться. В этом и правда что-то есть.

Китайский омар[114]

Периоды отчаянного украшательства у владельцев "Восточного лотоса" чередуются с периодами полного запустения и равнодушия к интерьеру. Доктор Небенблау знает это давно, поскольку обедает здесь, чаще всего в одиночестве, уже лет этак семь. Место оказалось удобным: до ее излюбленных магазинов рукой подать, а еще рядом Национальная галерея, Королевская академия и Британский музей. Главное же — само заведение скромное, уютное, без претензий. Ей все тут нравится, по душе даже потертые сиденья, на которых кое-где потрескалась искусственная кожа. Можно приткнуть где-нибудь рядышком тяжеленные сумки с книгами и дать отдых костям.

Сколько она помнит здешнее убранство, на окнах всегда стоят горшки с монстерой, и ее спутанные, будто лианы, заросли с годами становятся все гуще и живописнее. На резных листьях скапливается все больше пыли, и они все теснее жмутся к стеклу: старые — темно-зеленые, моло-

---

[114] Примечания: 114
Перевод О. Варшавер

дые — желтоватые и глянцевые. Оконное стекло деформирует их, изгибает, но им все нипочем. Иногда на подоконнике появляется аквариум с пестрыми рыбками, а потом раз — и нет его. Вот сейчас, например, его нет. Зато есть бутылки с соевым соусом, стеклянные коробочки, из которых постепенно исчезают зубочистки, а еще блестящие хромированные подставки, из которых так же бережливо, по одной, исчезают салфетки.

Прямо перед входом примерно год назад появился низкий квадратный алтарь с нишей, выложенной ярко-нефритовой керамической плиткой; внутри, в позе лотоса, удобно уложив просторное брюхо на просторные колени, сидит бронзовый не то божок, не то мудрец-отшельник. Перед ним в алых стеклянных плошках горят фонарики и дымятся благовонные палочки, а на саму фигуру время от времени нацепляют бумажные гирлянды, красные и золотые. Доктора Небенблау радует эта какофония цвета: почти равно насыщенные, сочные — сине-зеленый и густо-алый. Зато божка она побаивается: непонятно, кто он такой, но уж точно не элемент декора, ему тут явно поклоняются.

Сегодня в ресторанчике появился новый предмет: подальше от двери, но не доходя до гардероба

и столов. Новехонький футляр вроде музейного, дно — из лакированного черного дерева, крышка и боковые стенки из стекла, сантиметров по двадцать высотой. Футляр покоится на четырех ножках и доходит Герде Небенблау, даме среднего роста, до пояса. В таких обычно выставляют миниатюры, драгоценности или керамику.

Доктор Небенблау рассеянно заглядывает в ярко освещенное нутро футляра. Дно устлано свирепо-изумрудной искусственной травой, которую так любят на своих витринах зеленщики и владельцы похоронных бюро.

По периметру на открытых двустворчатых ракушках лежат сырые гребешки, их жемчужная плоть потихоньку тускнеет, а на фоне бьющей зелени играют оранжево-розоватые полукольца молоки.

В середине, в самой что ни на есть середине, помещается живой омар, а по бокам — два живых краба. Все трое шевелятся, постоянно и едва уловимо. Черный омар — или омариха? — медленно водит усищами и подергивает лапками, их последним сочленением, но не может продвинуться ни на шаг. Силится приподнять огромные клешни, но они слишком тяжелы. Мышцы хвоста то напрягаются, то сокращаются, то снова

беспомощно опадают. Один из крабов, тот, что поменьше, прилежно и неустанно раскачивает себя из стороны в сторону. Челюсти крабов постоянно двигаются, точно чикают ножницы. Все три чудища крутят еще подвижными, живыми глазищами на тонких черешках. Открытые их рты изрыгают неслышные миру звуки: шипение, бульканье, вздохи, крики. Панцири крабов матовые, кирпично-кремовые, кончики клешней посверкивают, как спелые виноградины, на мохнатых лапках проступает тусклый, землистого оттенка рисунок. Зато омар — иссиня-черный и блестящий, таким он был всегда, но скоро таким не будет. Всем им больно жить в этом разреженном воздухе, и на мгновение доктор Небенблау ощущает их боль каждой своей косточкой. И омар, и крабы пялятся на нее, но, скорее всего, не видят... Резко развернувшись, она проходит вглубь "Восточного лотоса". Ей вдруг приходит в голову, что даже гребешки, наверно, тоже в каком-то смысле живые.

Пожилой китаец — она прекрасно знает их всех, но не по именам — приветливо улыбается, забирает у нее плащ. Доктор Небенблау просит накрыть на двоих. Ее усаживают за обычный столик и приносят еще одну плошку, ложечку

и палочки. Звучит ненавязчивая электронная музыка. Приятно. Когда-то, услышав ее впервые, доктор Небенблау оторопела и схватилась за сердце: неужели все-таки вертеп, а не мирный тихий уголок? На фоне этого дребезжания даже лапша утратила сочность и вкус. Однако на второй или третий раз доктор Небенблау начала различать мелодии — банальные западные песенки о безоблачном счастье, только в джазовой обработке и на чужом, вероятно кантонском, наречии. "Как утро прекрасно! Я словно лечу! Я верю — все будет, как я захочу!" Да-да, мелодия знакома, но слова непонятно-гнусавы и сопровождаются бренчанием струн и чем-то вроде гонга и ударов колокола. Ей такие песенки никогда не нравились. Но в конце концов именно в них для доктора Небенблау воплотилось представление о покое и светлой радости бытия. Перебор, гонг, колокольчики… Этакий межкультурный феномен, западный Восток, восточный Запад. Теперь эти звуки обещают изысканные яства, тепло, сладостную сытость. Пожилой китаец приносит зеленый чай в ее любимом, почти прозрачном фарфоровом чайнике очень тонкой работы, по белоснежным его бокам голубеют крошечные, едва видные цветочки.

Пришла она рано. И волнуется из-за предстоящей встречи. С сегодняшним своим гостем она лично незнакома, хотя, конечно, видела его и во плоти, и на телеэкране; ей доводилось слушать его лекции о Беллини, о Тициане, о Мантенье, о Пикассо, о Матиссе. Его стиль высокопарен и идиосинкразичен. Молодые коллеги доктора Небенблау причисляют его к пустозвонам и путаникам. Но она этого мнения не разделяет. Она полагает, что Перри Дитт всегда говорит по существу и не толчет воду в ступе, а подобное качество, с ее точки зрения — хотя, возможно, одинокие интеллектуалки предпенсионного возраста судят предвзято, — так вот, с ее точки зрения, подобное качество ныне встречается крайне редко. Кстати, многие из ее коллег вообще не любят живопись. А Перри Дитт любит. Любит — как хруст спелых яблок под зубами, как нежную плоть, как солнечный свет. Да, она сейчас рассуждает в его стиле. Ох уж эта извечная профессиональная задача, особенно для людей ее поколения: как обрести свой стиль? У нее, Герды Небенблау, своего стиля никогда не имелось, имелась лишь дотошная, едкая аккуратность, которая — не в пример стилю — так легко дается женщинам с ее внешностью, то есть с намеком на некоторую внутреннюю

суховатость. Не сухость — это было бы уже слишком, — а именно суховатость. Характеристика сдержанная, но вполне положительная. У нее длинные и густые каштановые волосы, стянутые на шее в крепкий пучок. Костюмы она носит темные, мягких, но не совсем обычных оттенков: цвета спелого терна, сажи, черных тюльпанов, мха… Блузки женственные, облегающие, без бантов и оборочек, в ясных чистых тонах: бледно-лимонные, густо-кремовые, барвинковые или цвета затухающего пламени. Одежда округляет формы, но тело под нею — кому, как не хозяйке, это знать? — жесткое и угловатое, совсем как ее римский профиль и поджатые губы.

Она вынимает из сумочки документ. Конечно, копия сохранила далеко не все безумства оригинала: тут не видны жирные, вероятно масляные, пятна; там потерялось что-то бурое, вроде смазанного по краям кровоподтека; а здесь, помнится, было абсолютно симметричное пятно, похожее на жука-рогача, — такие получаются, если перегнуть вдвое страницу с кляксой и промокну́ть. Зато ксерокс воспроизвел все крошечные картинки на полях и в самом тексте, окаймленном петлистой, тщательно выведенной тушью рамочкой. Сверху крупными прописными буквами

значится:

ДЕКАНУ-
КУРАТОРУ ЖЕНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

ДОКТОРУ ГЕРДЕ НЕБЕНБЛАУ,

а дальше меленько, совсем крошечными буковками:

от пегги ноллетт, женщины и студентки.

Начинается письмо так:

Я хотела бы изложить официальную жалобу на ПОЧЕТНОГО ПРИГЛАШЕННОГО ПРОФЕССОРА, которого факультет щел возможным назначить руководителем моей научной работы, дизертации по теме "Женское тело и Матис".

По моему мнению, которое я уже прокаментировала всем кто захотел выслушать а именно Дагу Марксу, Трейси Авизон, Энни Мэнсон а также вам доктор Герда Небенблау этому ППП ни в коем нельзя было поручать руководство подобной работой, поскольку он ни в коей не

сочувствует феминистской тематике. Он — так называемый ЭКСПЕРТ по так называемому МАСТЕРУ МОДЕРНИЗМА, но что он знает о Женщине или внутренних порывах Женского Тела, которое доныне хранило молчание и лишь сейчас обретает голос?

Дальше следует серия крошечных карандашных рисунков, которые доктор Небенблау, рассматривая оригинал, опознала как губы: не то ротовые, не то половые, одни приоткрытые, другие — закрытые наглухо, третьи — испещренные волосками.

Его критика всего мною написанного никчемна и одновременно чрезвчайно агрессивна и деструктивна. Он не понимает что мой проект внеистричен что он не должен включать в себя опсание так называемого развития так называемого стиля или подхода Матиса поскольку мои утверждения по сути его ниспровергают и поданы под теоретическим углом, с привлчением соврменных критичских методов, для которых хронология жизни Матиса или порядок сотврения так на-

зываемых шедевров не имеют абслютно никакого значения.

Однако хоть я и намревалась начать с излжения моих теортических взглядов я все же настаиваю на обвинении ППП в сексуальных домогательствах я могу и готова привести все спецфические подробности поверьте мне доктор Небенблау но сначала я обрисую случвшееся кратко чтобы вы поняли что так оно и было.

Я еще не оправилась от шока поэтому прошу прстить некторую бессвязность.

Все началось с моих всегдашних споров с ППП. Он спросил, почему я не написала следующий кусок дизертации, а я сказала что плохо себя чувствовала и занималась собственым Творчством, вы ведь знаете, что я учусь по двум специальностям, и оценки за творчские работы важны не меньше, чем оценки по истории искусства, а я как раз достигла очень ответственной стадии в моем Творчестве. Но я все-таки написала о том, как Матис извращает Женское Тело, в особенности спецфически женские органы: груди, влагалище, половые губы и т. д. и

т. п., а также как он наращивает Плоть на опрделенных местах Тела, которые особенно привлекают мужчин, но женщины при этом лишаются пдвижности — например он создает огромные, непомерно раздутые бедра или выпяченный вперед живот. Со временем я обзательно свяжу эти наблюдения со всей традицией избражения женщин-рабынь и одалисок, но я еще не исследовала этот вопрос достаточно подробно.

Кроме того, его Женщины не имеют черт лица, их лица пусты, точно у кукол, и мне кажется это зловещим.

Так или иначе, я рассказала ППП, в каком напрвлении намерена двигаться, хотя действительно написала очень мало, но он начал со мной спорить и договорился до того, что я отношусь к Матису враждебно и с ненавистью. Я ответила, что это не есть значмая критика моего Творчества и что сам Матис враждебно и с ненавистью относился к женщинам. На это он сказал, что Матис женщин любил и вожделел (!!!!), я вставила "вот именно", но он не уловил

издевки и продлжал осаживать унижать втаптывать меня в грязь. И даже если бы ничего худшего не случилось разве это — наставник? Он уверял меня что я наврняка провалюсь на защите а разве так должен вести себя научный рукводитель? Я была так расстроена просто убита и тут он похлопал меня по плечу и вроде как стал утешать. Ну я и объяснила как поглщена своим Творчеством — а это серия инзталляций под названием "От извращений к правде" и она является частью моей критики Матиса. И тогда он благосклонно согласился взглянуть на мои произведения, поскольку, мол, готов поставить мне более высокий балл, если мое собствнное Творчство обогащает мои идеи о Матисе. И добавил еще, что студентам-художникам часто бывает затрднительно выразить себя словами, хотя сам он находит язык "столь же чуственным инструментом, сколь кисть и краски". [Я могла бы конечно сказать пару слов об его литературном стиле, но воздержус.] (Последнее предложение было густо замарано, но читалось легко.)

Вот так, любезнейше, он соизволил прийти ко мне в студию, чтобы посмотреть мое Творчество. Я сразу поняла что ему не понравилось что ему все это отвратительно. Чему ж тут удивляться? Мое Творчество не стрмится угодить всем и каждому. Он однако пытался сохранить хорошую мину при плохой игре: повосхищался парой-тройкой неконзептуальных работ и даже выдавил из себя что воздух в студии напоен мощью чувств. Я пыталась объяснить что цель проекта: пересмотр, переделка, коренное исправление Матиса. У меня есть объемная конзтрукция из проволоки, алебастра и пластилина — называется "Сопротивление мадам Матис", — и там избражено, как во время войны его жену и дочь пытают в застенках гестапо — а ведь так оно и было! — а он сидит себе в позе Будды и кромзает ножницами бумажки для апликаций. Ему не сообщили, что их пытают, чтоб — не дай бог! — не отвлечь от работы. Когда я об этом узнала, меня чуть не стошнило. И у моих гестаповцев точно такие же ножницы.

Потом вдруг ППП сменил официальный тон на интимный. Приобнял меня, сказал, что на мне слишком много одежды, что вся она давящих, тяжелых тонов и что он советует мне все это снять и ощутить, как воздух омывает тело. Сказал, что хочет увидеть меня в ярком и что я очень красивая девушка — если дам себе волю. Я ответила, что моя одежда — мое кредо, а он заявил, что это очень печальное кредо и начал целовать меня, ласкать — вплоть до самых интимных частей тела это было отвртительно и я не стану все это описывать хотя могла бы уж вы поверьте доктор Небенблау если понадбится я изложу все до мельчайших подробностей просто сейчас меня еще трясет и я еще не оправилась от шока. Чем сильнее я отбивалась тем настойчивей он лез под одежду и прижмался но потом я пригрозила что при первой взможнсти вызову полицию и тут он одумался и сказал что в старые добрые времена человеческое тепло и чуственность соединяли художника и модель прямо в студии я добавила "только не в

моей студии" а он сказал "увы" и ушел добавив на прощание что я почти наверняка завалю обе специальности.

Сложив документ, Герда Небенблау убирает его в сумочку и достает присланное с ним вместе личное письмо.

Уважаемая доктор Небенблау!

Посылаю вам жалобу с описанием ужаса, который я пержила. Пжалуйста, отнеситесь к этой жалобе внимательно и, пжалуйста, помогите мне. Я так нещасна, я совсем утратила веру в себя, целыми днями лежу в постели и не знаю, есть ли смысл вставать и что-та делать. Обычно я живу ради творчства, но меня очень легко сбить, лишить желания творить. Порой все кажется таким мрачным и безсмысленным, что я смеюсь, истерически смеюсь от собствнных идиотских потуг с провлокой и пластилином. Зачем вить, зачем лепить? — спрашиваю я себя и не нахожу ответа. И я тогда думаю, что лучше б мне умереть, а после ужаса, который я только что пержила, я все больше склоняюсь к тому, что смерть —

это единзтвенный выход. Психтерапевт из полклиники сказал, что надо просто выпрстаться из этого и жить дальше, но ему-та откуда знать? Он не умеет слушать, ему невдомек, что могут сделать другие люди, если — как он выразился — сумеют выпрстаться из этого, да и из чего "этого", в конце-та концов? Из черных мешков, куда засовывают трупы? Я видела их по телевизору. Наверно, мое никчемное тело лучше всего подходит для такого вот мешка. Пршу вас, помогите мне, доктор Небенблау. Я сама себя боюсь, а прзрение окружающих — последняя капля, мне не выпрстаться... впрст... прст...

Ваша с некоторой надеждой

Пегги Ноллетт

* * *

За увитым зеленью окном показался Перигрин Дитт. Он высок и держится очень прямо — точно столп. Седые, вполне еще густые волосы аккуратно зачесаны. Пальто кашемировое, оливкового цвета, с черным бархатным воротником.

На трость — черную, лакированную, с серебряным набалдашником — он не опирается, просто изящно ею помахивает. Войдя в помещение, но еще не заметив Герду Небенблау, он останавливается возле божка, а потом долго и серьезно разглядывает гребешки, омара и крабов. Закончив наконец осмотр, он уважительно кивает, словно признавая их право на существование, и направляется к гардеробу. Молодая китаянка тут же подхватывает пальто и трость. Оглядевшись, он замечает даму, пригласившую его в ресторан. Кроме них, в этот ранний час здесь никого и нет.

— Доктор Небенблау?

— Здравствуйте, профессор Дитт. Садитесь, пожалуйста. Я как-то не сообразила спросить: быть может, вы не любите китайскую кухню? Я-то просто подумала, что это место так удобно расположено…

— Китайская кухня — разумеется, в достойном исполнении — одно из величайших достижений цивилизации. Такая изысканность, такой букет и одновременно такая простота! Тихая радость для стареющего желудка.

— Здешняя кухня мне очень нравится. С первого раза всех тонкостей даже не уловить. И я заметила, что среди завсегдатаев много настоящих

китайцев, ходят целыми семьями, а это добрый знак. К тому же рыба и овощи всегда свежие.

— Тогда прошу вас быть моим проводником сквозь дебри этого меню. Я, разумеется, активный сторонник неизведанного, но здесь рисковать боюсь и "хрустящие жареные потроха" вкушать не готов. Кстати, вам нравятся устрицы на пару́ с имбирем и зеленым лучком? Такой насыщенный и в то же время нежнейший вкус…

— Я никогда не пробовала…

— Очень рекомендую. Они даже отдаленно не напоминают холодных устриц, уж не знаю, по душе они вам или нет. А хороши ли у них блюда из утки?… Не пересушены?

Они мило болтают, составляя заказ с изящными вариациями: тут мазок обжигающего чили, там призрачный сладостный аромат личи, слоистая мякоть черной фасоли, первобытная земляная хрусткость пророщенных бобов. Герда Небенблау глядит на собеседника, невольно воображая его в роли насильника из рассказа Пегги Ноллетт. Загорелая кожа еще упруга — ни одутловатости, ни вислых складок, — лишь сеть тонких морщинок бороздит лоб, щеки, шею, ноздри, уголки глаз и рта и даже губы. Глаза совершенно васильковые, удивительные, пусть слегка выцветшие, подер-

нутые дымкой, с чуть красноватыми белками в уголках, но в тридцатые годы, когда он был молод, они, вероятно, сияли совершенно неотразимо. Под стать им яркий васильковый галстук из плотного шелка — наверно, как раз того оттенка, какого были когда-то глаза. Впрочем, почему были? Они и сейчас сияют. Костюм вельветовый, темно-слюдяного цвета. На пальце украшенный лазуритом перстень с печаткой; руки еще красивы, хотя, как и лицо, испещрены морщинами. В облике этого человека прихотливо проступают утонченная разборчивость и былые пристрастия к излишествам и пороку — Герда Небенблау кое-что знает о его жизни… впрочем, все это сплетни и всеобщее достояние.

Документ она достает, едва подано первое блюдо: блестящие голубовато-зеленые водоросли с креветками и поджаренные хлебцы с кунжутными семечками. Начинает она так:

— Я получила довольно неприятное письмо и должна его с вами обсудить. Мне подумалось, что лучше говорить, скажем так, в неофициальной обстановке. Не знаю, известно ли вам, о чем пойдет речь…

Перри Дитт быстро пробегает глазами письмо и залпом выпивает едва начатую кружку пива.

Пожилой китаец тут же приносит новую.

— Несчастная сучонка, — вздыхает Перри Дитт. — Какая страшная каша у нее в голове. Я бы, ей-богу, расстрелял того, кто усмотрел в ней искру таланта и направил на эту стезю.

Не произноси слово "сучонка", поморщившись, мысленно приказывает ему Герда Небенблау.

— Вы помните описанный в жалобе эпизод? — осторожно спрашивает она.

— В какой-то мере, в какой-то мере... Он малоузнаваем в ее пересказе. Мы действительно встречались на прошлой неделе, чтобы обсудить совершенное отсутствие прогресса в ее диссертации; я бы сказал, наблюдается даже некоторый регресс — по сравнению с изначальными тезисами, впрочем счастлив заметить, что план работы утверждал не я, так что никакой ответственности не несу. На сегодняшний день она позабыла даже то немногое, что якобы знала о Матиссе прежде. Не представляю, как можно дать ей ученую степень: она невежественна, ленива и с тупым упрямством движется неизвестно куда. Я счел своим долгом ей об этом сообщить. Доктор, мой опыт подсказывает, что наша с вами безмерная доброта наносит ленивым и невежественным студентам непоправимый вред. Мы носимся с

ними как с писаной торбой, чуть ли грудью не кормим и не осмеливаемся просто назвать бездарь бездарью.

— Что ж, вполне возможно. Но она конкретно утверждает… Вы приходили к ней в студию…

— Да-да. Зашел однажды. Я не так жесток, как можно подумать: решил, что она имеет право на презумпцию невиновности. Вдруг в ее работах и правда что-то есть? И эта часть ее повествования до некоторой степени похожа на правду. Я действительно говорил о том, что художники зачастую не способны выразить себя вербально. Любой, кто преподает столько лет, согласится, что некоторые дружат и со словом, многие же — только с материалами. Интересно, что не всегда заранее скажешь, кто к какой категории относится… Так или иначе, я пришел к ней в студию, чтобы взглянуть на ее так называемое творчество…

Герда думает уныло: вот ведь напасть. Слова-прилипалы. "Так называемое". Расхожий современный термин для абсолютного уничижения.

— Ну и?…

— Ее творения ужасны! Отвратительны. Кощунственны. Вся студия — в которой бедняжка к

тому же ест и спит — обклеена дешевыми репродукциями Матисса. "Сон". "Розовая обнаженная". "Голубая обнаженная". "Большое голубое платье". "Музыка". "Художник и его модель". "Зора на террасе". И все до единой загажены. Каким-то веществом органического происхождения, доктор, возможно кровью, или тушеным мясом, или испражнениями, да-да, я склоняюсь к последней версии, поскольку откуда ж в этой убогой конуре взяться более достойной грязи? Иногда она намеренно изменяет, искажает контуры тел или лиц своей пачкотней, иногда сажает кляксы, словно закидывает картину помидорами — может, и правда помидорами? — и еще яйцами. Но иногда картины просто исполосованы. Дерьмом в форме свастики! Это отвратительно. И убого.

— Отвращать и кощунствовать — ее цель, и она своего добилась, — беспристрастно произносит Герда Небенблау.

— И что из этого? Разве цель — оправдание?

Рев Перри Дитта пугает молодую китаянку, которая как раз подошла зажечь свечки в нагревателе для тарелок. Девушка шарахается в сторону.

— В последнее время искусство традиционно несет элемент протеста, — замечает доктор Не-

бенблау.

— Традиционного протеста, — громогласно уточняет Перри Дитт, и шея его наливается кровью. — Это в порядке вещей. Я и сам протестовал в былые дни, да и все мы не без греха, человек вообще не может состояться, если не внесет свою лепту в эпатаж, не подразнит гусей. Но в нашем случае я не приемлю совсем иное: претенциозную дешевку и леность! И мне кажется — уж простите, доктор, — что эти какашки оскорбляют как раз то, что я почитаю священным, да-да, священным, хоть над этим словом наша сучонка будет наверняка хохотать до упаду. Пускай бы она потрудилась сначала скопировать эти шедевры, эти сияющие… ну да ладно… так вот, если б она умела хоть что-то сделать, если б разобралась в оттенках голубого, розового, белого, оранжевого и черного, да-да, черного! — и после этого почувствовала неодолимое желание осквернить картины, что ж, я уважал бы ее протест.

— Кстати, поосторожнее со словом "шедевры", — бормочет доктор Небенблау.

— Да знаю я эти реверансы, вечно мы осторожничаем. Но вы все-таки послушайте! У нее же ушло не больше получаса, чтобы все загадить! Полчаса на все про все! И дольше эта Ноллетт,

этот ноль без палочки, на Матисса в жизни не смотрела! Она толком не помнит ни одного полотна, из наших бесед это ясно как день! Весь Матисс в ее воспаленном воображении сливается в одно чудовищное женское тело, пышущее мужской агрессией. Она ничего не видит! Ей не дано! И мы присвоим ей диплом за полчаса дерьмометания?

— Матисс, — вставляет Герда Небенблау, — иногда клал мазок и надолго задумывался, убирал холст на недели и даже месяцы, пока не поймет, куда класть следующий.

— Мне это известно.

— А вдруг… распределение… гм… испражнений на картине тоже требовало определенных размышлений? Вдруг она думала, куда класть следующую порцию?

— Чушь. Искусство я всегда отличу. И поверьте, я внимательно выискивал хоть какую-то изюминку. Хотя бы юмор, визуальный юмор, рассчитанный на то, чтобы вызвать улыбку. Ничегошеньки! Намазано, наплюхано как попало. Ужас!

— Сделано в расчете вас растревожить. Цель достигнута.

— Кстати, доктор Небенблау, я читал вашу монографию о Мантенье. Примите самые лестные

отзывы, это настоящий *chef-d'oeuvre*. А вот работы Пегги Ноллетт… Вам хоть доводилось их видеть? А ее саму вы видели? Вы, собственно, на чьей стороне?

— Я вообще не болельщик, профессор Дитт, я декан женского студенческого сообщества. Я получила официальную жалобу и должна принять официальные меры. Сейчас такие времена, что это может оказаться крайне неприятным для меня, для факультета, для всего университета и для вас, профессор. Посвящая вас в ситуацию неофициальным образом, я превышаю свои полномочия. Но мне очень важно знать ваш ответ на конкретные обвинения. Что до Пегги Ноллетт — да, я ее видела. Не раз. И однажды видела ее работы.

— В таком случае… Вы сами понимаете, что… ну, не мог я… гм… заигрывать с ней так, как она описывает. У нее не кожа, а картофельная кожура! И само тело — гниющая картофелина. Оно гниет — там, внутри, под всеми этими рубашками, жилетками, вязаными балахонами и тюремными тряпками. А ее руки и ноги вы видели? Забинтованы, как у мумии, перетянуты ремешками, веревками, закованы в поганые налокотники и наколенники… Да еще эти черные

шоферские перчатки с крагами! И везде пряжки, пряжки, пряжки... Так и ждешь, что из-под них засочится какая-нибудь желтоватая гадость и она разотрет ее о картину "Радость жизни". А волосы! Она же несколько лет не мыла голову! Хранит, как старую засаленную сковородку, и не дай бог на этот жир попадет хоть капля воды! Неужели вы допускаете, доктор, что я до нее дотронулся?

— Да, представить трудно...

— Невозможно. Конечно, я мог порекомендовать ей поснимать с себя все лишнее, мог даже опрометчиво — думая, как вы понимаете, спасти картошку — сказать что-то о воздухе, омывающем тело. Но, уверяю вас, не более того. Я пытался, вопреки собственному инстинкту, общаться с ней как с человеческим существом. А все прочее — плод ее больного воображения. Надеюсь, вы мне верите, доктор Небенблау. Собственно, вы — тот единственный почти свидетель, которого я могу призвать для защиты.

— Я вам верю, — коротко вздохнув, произносит Герда Небенблау.

— Тогда давайте поставим на этом точку, — говорит Перри Дитт. — Давайте вкушать эти изысканные яства и говорить о вещах более приятных, чем Пегги Ноллетт. В жизни не пробовал

более вкусных креветок.

— К сожалению, все не так просто. Если она не отзовет жалобу, вам обоим придется давать показания перед советом университета. Университет, кстати, обязан, если вы изъявите такое желание, нанять вам обоим адвокатов самого высокого класса: это правило сохранилось с былых времен, когда у университетских советов была реальная власть и деньги. Но обстановка сейчас такова, что правда никого не интересует, и, боюсь, вам не миновать неприятностей. Вас могут уволить, могут и не уволить, но, так или иначе, поднимется волна протестов против вас лично, ваших научных трудов и вашего пребывания в университете. И проректор испугается, что вся эта шумиха подорвет финансирование и факультет, единственный в Лондоне факультет, дающий сразу две художественные специальности, придется закрыть. Хозяева университета ждут доходов, а мы, естественно, не главная "дойная корова", наши выпускники не "идут на экспорт"...

— Кстати, почему нет? Не все же они — Пегги Ноллетт. Что до меня... возьмите-ка еще бамбуковых побегов и пророщенных бобов... так вот, я бы рад сказать, что готов немедленно подать в отставку и уберечь вас от дальнейших непри-

ятностей. Но я не готов. Потому что не потакаю лжецам и шантажистам. И потому что эта девица — не художник, она не умеет работать, она не видит, и ей ни в коем случае нельзя дать диплом. И потому что Матисс — это Матисс.

— Спасибо. — Герда Небенблау освобождает на тарелке место для овощей. — Да-да, конечно, — добавляет она в ответ на декларацию Перри Дитта.

Некоторое время они просто молча жуют. Голосок в динамике все выводит "Прекрасное утро" на кантонском наречии.

— Пегги Ноллетт нездорова, — произносит доктор Небенблау. — Нездорова и психически, и физически. Она страдает анорексией. И заворачивается в эти тряпки, как в кокон, чтобы скрыть, что вконец отощала и превратилась в совершенный скелет.

— Так, значит, не картошка, а вилка. Спица. Вешалка. Понятно…

— И у нее депрессия. Как минимум две попытки самоубийства — о них мне, по крайней мере, известно.

— Серьезные попытки?

— Разве отличишь? Может, и увенчались бы успехом, если б о них знало поменьше народу. А

так, конечно, спасли.

— Ясно. Но вы, надеюсь, понимаете, что это ничего не меняет. Она бесталанна, не умеет работать, не видит…

— Но будь она здорова…

— Вы правда в это верите?

— Нет. Нет оснований.

Перри Дитт придвигает к себе мисочку с рисом:

— В Китае я научился в конце любой трапезы есть чистый рис, без всяких добавок, ощущая на языке каждое зернышко. Вкус свежесваренного риса — один из самых изумительных в мире. Уж не знаю, каков на вкус рис, если не питаться ничем другим, если голодать. Наверно, он тоже вкусен, одуряюще вкусен, только совсем по-иному… Но этот вкус не описать…

Герда Небенблау тоже кладет себе рису и, аккуратно подцепив палочками, пробует:

— Да, вы правы.

— При чем тут Матисс?! — снова не выдерживает профессор. — Я знаю, что девица больна, от нее даже пахнет болезнью. И поэтому, хотя бы поэтому, дико предположить, что кто-то… что я… способен до нее дотронуться.

— Знаете, декан женского студенческого сооб-

щества поневоле получает немало сторонних знаний, — задумчиво начинает доктор Небенблау. — Например, об анорексии. Болезнь развивается из ненависти к собственному "я" и непомерной сосредоточенности на себе, на своем теле и в особенности на образе собственного тела. Все мы имеем некое представление о своей оболочке, но в данном случае представление это гипертрофированно. Одна моя знакомая, психиатр, в сотрудничестве с вашей коллегой из художественного колледжа издала серию рисунков, в некотором смысле медицинское пособие, очень и очень полезное. Больная анорексией изображена перед зеркалом. Мы видим торчащие ребра и обвислую кожу, а она — в зеркале — видит себя состоящей из одних выпуклостей: чудовищно толстые ляжки, задница, щеки… Для меня эти рисунки многое прояснили.

— Ну понятно. Мы видим вешалку и спицу, а она — пузатую картофелину и увесистую тыкву. Занятный образ… Может получиться интересная картина.

— Прошу вас, не надо. Несчастные страдают.

— Не думайте, что я такой черствый и легкомысленный, доктор Небенблау. Я — серьезный художник, во всяком случае был таковым. Если

замысел картины рождается из тяжелой жизненной драмы — это не зазорно. Особенно если драма так визуально отчетлива…

— Простите. Я просто пытаюсь понять, что делать. Несчастная девочка хочет лишить себя жизни. Хочет не быть.

— Понимаю. Но при чем тут Матисс? Если ее так занимают плотские ужасы, пускай опорожняет судна у лежачих больных, слушает крики рожениц, работает в хосписе. А если ей приспичило заниматься искусством, пускай перекраивает Джакометти в Майоля или, наоборот, пускай займется Пикассо, этим старым козлом, который по природной злобе творил с женским телом несусветные вещи. Но при чем тут Матисс?

— При том! Он пишет тихую, утешительную негу. Одно из самых известных полотен — "Luxe, calme et volupté". Разве Пегги Ноллетт может вынести роскошь, покой и сладострастье?

— В молодости, в период моих собственных *Sturm und Drang*,[115] мне это все было откровенно скучно. Помню, я сказал кому-то — кажется, жене, — что Матисс прост и плосок. Какой же я был идиот! Но потом, в один прекрасный день, я

---

[115] Примечания: 115
Штурма и натиска *(нем.)*.

прозрел. И понял, как трудно это увидеть и какая мощь таится в каждом штрихе. Не утешение, доктор, а жизненная сила и мощь.

И он декламирует, откинувшись в кресле и глядя в никуда:

Дитя, сестра моя!

Уедем в те края,

Где мы с тобой не разлучаться сможем,

Где для любви — века,

Где даже смерть легка,

В краю желанном, на тебя похожем.

Там красота, там гармоничный строй,

Там сладострастье, роскошь и покой.[116]

Герда Небенблау, в чьей жизни было так мало *luxe, calme et volupté*, тронута и обескуражена его вдохновенным экстазом. Но произносит довольно сухо:

— У этих свойств Матисса всегда находились противники. Поборники феминизма — и худож-

---

[116] Примечания: 116

Бодлер Ш. Приглашение к путешествию. Перев. И. Озеровой.

ники, и критики — не любили его за то, что вся мирная панорама бытия напоена у него мужским эротизмом. А марксисты — за чистосердечное признание, что он пишет в угоду богачам.

— Предпринимателям и интеллигенции, — уточняет Перри Дитт.

— Интеллигенция радует марксистов ничуть не больше.

— Послушайте, — говорит Перри Дитт. — Ваша мисс Ноллетт жаждет шокировать. И шокирует примитивным дерьмом. А Матисс был хитроумен, сложен, неистов, сдержан и точно знал, что всегда обязан отдавать себе отчет в том, что он, собственно, делает. И знал, что самым шокирующим будет признание, что он пишет в угоду предпринимателям и для их комфорта. Его знаменитое сравнение живописи с покойным креслом — самая изощренная провокация, какую только знал мир. Да закидайте говном весь Центр Помпиду — и то вам не удастся шокировать столько людей, сколько удалось шокировать Матиссу одним лишь этим заявлением. Тех, кто не знает цитаты целиком, до сих пор колотит от ужаса.

— Напомните цитату, — просит Герда Небенблау.

— "О чем я мечтаю, так это об искусстве гар-

моничном, чистом, тихом, которое не будет поднимать неприятных тем, не будет беспокоить, которое предназначено для тех, кто работает головой, для предпринимателей и писателей, оно призвано умиротворить, успокоить их ум — как покойное кресло, дающее отдых усталому телу..."

— Что ж, взгляд достаточно однобок, и оспорить его — задача благородная, — замечает Герда Небенблау.

— Благородная, но возникает она исключительно от непонимания. Кто, в сущности, понимает, что есть наслаждение? Только старики вроде меня, которые уже забыли, когда у них не ныли кости, но помнят, как взбегали когда-то в горку — упруго, размашисто, как упруг и размашист красный цвет на полотне "Красная мастерская". А еще слепцы, которым вернули зрение, и у них кружится голова от листвы, от аляповатых пластмассовых кружек и страшной синевы неба. Наслаждение — это просто жизнь, доктор, но у большинства из нас ее нет, или ее немного, или в ней все перепутано, поэтому, увидев эти краски — синие, розовые, оранжевые, пунцовые, — нам следует пасть ниц и усердно молиться. Потому что это — истина. Кто отличит истинно покойное кресло? Только больной костным раком или че-

ловек после пыток, уж они-то знают…

— Но как же бедная Пегги? — вдруг спрашивает доктор Небенблау. — Как ей все это понять, если она хочет умереть?

— Женщина, жаждущая обвинить мужчину в изнасиловании, вряд ли всерьез думает о смерти. Она захочет насладиться триумфом, чтобы поверженный извивался у ее ног, прося пощады.

— Профессор Дитт, она совсем запуталась. И посылает нам всевозможные сигналы: зовет на помощь, угрожает…

— Марает отвратительные картинки…

— На самом деле она вполне способна наглотаться таблеток и оставить письмо, где обвинит вас, да и меня заодно, в ужасных посягательствах, в бесчувственности, в преследованиях…

— Давайте в таком случае называть вещи своими именами: она мстительна и злобна.

— Вы слишком верите в человеческую природу. И склонны все упрощать, как человек с очень здоровой психикой. Отчаянье такой же рычаг, как злоба. Они дополняют друг друга.

— И все от недостатка воображения.

— Ну, разумеется. Разумеется… Вообрази самоубийцы этот ужас… боль тех, кто остался… в пику кому они ушли… они бы этого не сделали…

Ее голос меняется. И она об этом знает. Перри Дитт не отвечает, а просто, слегка нахмурясь, глядит на нее в упор. И Герда Небенблау — во исполнение договора, который заключила когда-то с собственной дотошностью и правдивостью, — произносит:

— Разумеется, когда доходишь до определенной черты, на место другого себя уже не поставить. Все предельно ясно, просто, и выход один… Один-единственный выход…

— Да, верно, — откликается Перри Дитт. — Вокруг все будто высвечено, или, как вы говорите, предельно ясно. Ты словно в белом ящике, белой комнате, без дверей и окон. Смотришь сквозь недвижную чистейшую воду — или нет, скорее сквозь лед; ты в белой комнате, как в ледяной глыбе. И сделать можно только одно. Все ясно и просто. Как вы говорите.

Они глядят друг на друга. Перри Дитт бледен — кровь отхлынула от его щек. Он притих. Задумался.

* * *

Бывает так: двое разговаривают, не важно где и когда, обычным цивилизованным образом, о чем-то обыденном или даже о тонких материях. А

внутри каждого течет темный поток бессвязных мыслей, тайных страхов, необузданных страстей, благодати, надежд, потерь — невидимый и неслышимый, поток течет внутри вместе с беседой. Но внезапно один из собеседников или оба сразу увидят, услышат, учуют это движение — в себе или, значительно реже, в другом. И вот поток — уже водопад, он низвергается вниз, в темноту. Меняется все, даже воздух становится гуще, хотя внешне беседа течет безмятежно и на ее поверхности — ни кругов, ни ряби.

Душа Герды Небенблау снова свивается в тугой узел ужаса, тихого ужаса, который, точно рак, все разрастается внутри в последние годы. Перед глазами снова — и сопротивляться этому бесполезно! — ее подруга Кай. Сидит в громоздком больничном кресле с покрывалом; длинная рубашка завязана сзади, поверх — полосатый, как полотенце, халат. Кай на Герду не глядит. Сидит, поджав губы. Взгляд затуманен лекарствами. На белоснежной рубашке — свежие алые пятна: лишь уколы шприца приносят Кай покой. Герда говорит: "Помнишь, мы в четверг идем на концерт?" — "Ничего не знаю. Какой концерт?" Кай по-прежнему упрямится, перечит, но уже с запинкой, почти без сил. И вдруг исподтишка

взглядывает на Герду — недобро, даже злобно. Герда любила в жизни лишь одного человека: свою одноклассницу и подругу Кай. Сама она замужем так и не побывала, зато была свидетельницей на свадьбе Кай, которая, благополучно выйдя замуж, растила троих детей. Милая, мягкая, любительница цветов и книг, мастерица печь пироги, она была нежно привязана к мужу, к детям, к Герде. Для Герды же простота и здравомыслие подруги были якорем — чтобы не потонуть в этом безумном мире. В юности Герду обычно называли "нервной" и добавляли: "Не будь рядом Кай Леверетт, Небенблау давно бы свихнулась". Но однажды старшую дочку Кай нашли в отцовском сарае — в петле. Она оставила записку: задразнили одноклассники. Смерть дочери стала смертью Кай — но не сразу. Такая смерть подкрадывается медленно и поражает жестоко. С годами Кай словно приняла на себя страдания девочки, и они ее доконали. Как-то она сказала Герде, причем походя, так что та даже не вслушалась поначалу: "Я включила газ и пролежала у плиты весь день, но ничего не вышло". Потом, поливая цветы, она "случайно" выпала из окошка. Потом на переходе ее случайно задел автобус. "Я просто ступаю на мостовую и закры-

ваю глаза", — пояснила она Герде, а та велела не дурить и пожалеть водителей. Потом случилась передозировка кодеина. Потом — тщательно накопленная пригоршня снотворных таблеток. А неделю спустя Герда увидела ее в больничном кресле. Смерть на этот раз победила. Безумие и было смертью.

Старая китаянка убирает со стола черные от густого фасолевого соуса тарелки, остывший рис, несъеденную свеклу.

Помнится, раньше, когда боль Кай была, как казалось, острее и естественнее, а на самом деле — слабее и выносимее, Кай сказала: "Я никогда не понимала, как люди на это решаются. А теперь все так ясно, словно другого пути и нет. Понимаешь?" — "Нет. Не понимаю, — ответила Герда с трезвым, здравым напором. — Нельзя так поступать с близкими. Не имеешь права". — "Возможно, — отозвалась Кай. — Но это не важно". — "И слушать тебя не хочу, — перебила Герда. — Хотя самоубийство — болезнь незаразная".

Оказалось, заразная. Теперь-то она знает. Потому что настал ее черед. Она уже заигрывает с грузовиками: не глядя ступает на дорогу прямо перед этими громыхающими махинами. Однажды она приняла на ночь кучу таблеток и стала

ждать, проснется ли утром. Проснулась. И отправилась, как сомнамбула, на работу. При этом она по-прежнему полагает, что позыв к смерти порочен и надо сопротивляться. Но временами все вокруг становится ослепительно просто и ясно. Мир обесцвечивается, и единственное пятно на его белизне — ее собственное сознание. Оно все время начеку, но это всего лишь пятно, и его так легко стереть. И боль кончится.

Она смотрит на Перри Дитта, а он — на нее, полуприкрыв глаза, но пристально, неотрывно. Он так точно описал ее белую комнату. Он там бывал? У него есть своя? Он знает. Он знает про нее, Герду, а она — про него. Как, откуда, когда он узнал — не важно. В конце концов, он прожил долгую жизнь. В молодости во время бомбежки потерял жену. Вокруг его имени всегда витал ореол скандала: художник любил натурщиц, но не профессионалок, а юных девочек из уважаемых, достойных семей. Потом оказался ответчиком в тяжелейшем, грязном, полном ненависти бракоразводном процессе. И был, между прочим, крупным художником. Ну, почти крупным. Теперь он не в моде. Его не воспринимают всерьез. И внутри у него, как у Герды Небенблау, ледяная, ослепительно-белая комната, где сидит его боль,

его собственная Кай — озлобленная, с заплетающимся языком, в больничном кресле.

Пожилой китаец приносит блюдо с апельсиновыми дольками. Яркими, готовыми лопнуть от нутряного напора сладчайшего сока, который пульсирует в вытянутых, точно слезки, оранжевых ячейках. Перри Дитт придвигает к ней блюдо, и она видит на его запястьях старые, глубокие, аккуратные шрамы.

— Апельсин — воистину райский фрукт. И Матисс был первым, кто понял его цвет вполне. Не находите? В апельсине сочетается все: свет, тень, оранжевое на голубом, на зеленом, на черном... Я ведь однажды навещал Матисса, сразу после войны, он тогда снимал квартиру в Ницце. Я в те дни был преисполнен надежд, восхищался им, сердился на него, намеревался скоро, совсем скоро взять над ним верх: вот пойму это, да вот еще то... Так и не понял. А он был уже тяжко болен, после операции, и монашки, которые за ним ухаживали, называли его "воскресший из мертвых"... В квартире оказалось мрачно, темно: занавески задернуты, даже ставни наглухо закрыты. Я поразился. Мне-то представлялось, что он живет, купается в свете, дышит им. Я так и выпалил не раздумывая: "Как вы можете

закрываться от света?" А он спокойно, вежливо растолковал — мол, врачи поговаривают, что ему грозит потеря зрения. И он заранее готовит себя к полной темноте. И добавил: "Кроме того, свет — черного цвета". Помните картину "Черная дверь"? Молодая женщина в розовато-белой ночной рубашке и пестром лимонно-кадмиевом пеньюаре сидит, откинувшись в полосатом кресле, у нее охряно-желтые волосы, чуть сбоку окно, оттуда льется свет, а сзади, повыше, — черная дверь. Почти никто не умел так писать черный цвет. Почти никто.

Герда Небенблау надкусывает апельсиновую дольку. Сладко. Она говорит:

— Он писал: "Я, когда работаю, верю в Бога".

— Он также писал: "Когда я работаю, я — Бог". Что-то в этом есть... Пусть сам он для меня не Бог, но Бог обитает где-то поблизости. Знаете, родители надеялись, что я стану священником. Но я не смог полюбить религию, чей главный символ — человеческое тело, прибитое гвоздями над алтарем. Нет, я выбираю "Танец"!

Пора идти. Герда Небенблау берется за сумочку. Но Перри Дитт продолжает:

— Потому-то я и сказал вам, совершенно как на духу: эта девица оскверняет то, что я почитаю свя-

щенным. Что с нею делать? Я тоже не хочу, чтобы она наказала нас всех, наложив на себя руки, но я не готов потакать оскорблениям, лености…

Герде Небенблау вдруг представляется бледное, как очищенная картошка, лицо Пегги Ноллетт. Она сидит в белой комнате, набрякшие веки едва раздвинуты, и сквозь щели злобно и хитро пялятся маленькие глазки. А еще Герда Небенблау видит золотые апельсины, розовые руки и ноги, изгиб синего чехла от скрипки, и все это — в черной комнате. Надо сделать выбор. И любой выбор — предательство. Но что бы она ни выбрала, эти яркие формы будут по-прежнему сиять в темноте.

— Есть очень простое решение. Пегги нужен — и всегда был нужен, просто этому сопротивлялось факультетское начальство, — так вот, ей нужен научный руководитель такого же толка, сходных взглядов, так же политизированный, допустим Трейси Авизон, которая…

— …позволит ей получить диплом да еще благословит на дальнейшее творчество в том же духе. Это полное поражение.

— Да, поражение. Вопрос в том, насколько это вообще важно. Для вас. Для меня. Для факультета. Да и для Пегги Ноллетт.

— Важно. И одновременно — никому не нужно. Но вдруг девица все же прозреет? — говорит Перри Дитт.

Из ресторана они выходят вместе. Перри Дитт поблагодарит доктора Небенблау за угощение и компанию. Ее же снедает беспокойство. Что-то случилось с ее белой комнатой, с ее ледяной глыбой, но что именно — пока непонятно. Перри Дитт останавливается у стеклянного футляра с омаром, крабами и гребешками. Последние уже решительно умерли и подернулись жемчужной пеленой грядущего распада. Омар — или все-таки омариха? — с крабами еще живы, только им все дается труднее, медленнее, хотя они еще дышат — с бульканьем и свистом, — пошевеливают лапками и клешнями и пучат глаза. Под собственными ребрами, в собственной черепной коробке Герда Небенблау вдруг ощущает боль этой чужой, вышедшей из моря плоти. Плоть эта корчится под панцирями, которые уже не блестят, не лоснятся, а тускнеют и блекнут на глазах.

— Отвратительное зрелище, — произносит Перри Дитт. — И в то же время, заметьте, в то же самое время мне это абсолютно безразлично. Понимаете?

— Понимаю.

Она правда понимает. Жестоко, недостижимо, чувственно. Снова звучит музыка. "Как утро прекрасно! Я словно лечу! Я верю — все будет, как я захочу!"

Приподнявшись на цыпочки, она делает что-то неслыханное: целует Перри Дитта в мягкую щеку.

— Спасибо, — говорит она. — За все.

— Берегите себя, — отвечает он.

— Да… Хорошо. Обещаю.